

индекс 84471

**ЯЗЫК
ЗНАМЯ**

ISSN 0130-1616

4/2015
апрель



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

У нас праздник. Поэтому и номер, который сейчас перед вами, на другие не похож. У него десятки авторов, объединенных лишь верностью журналу и тем, что все они, начиная с 1993 года, становились лауреатами традиционных «знаменских» премий.

Не станем гадать, войдут ли их произведения, открытые «Знаменем», в историю русской литературы, в хронику дней российского общества так же, как и «Василий Теркин» А. Твардовского, «Пушкин» Ю. Тынянова, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Стихи из романа» Б. Пастернака, «Июль 41 года» Г. Бакланова, «Отблеск костра» Ю. Трифонова, иные замечательные публикации, ушедшие в национальную классику со страниц первой тысячи номеров нашего журнала.

Время само подведет итоги. Нам же настал черед открывать вторую тысячу. С тревогой о будущем России и русской литературы. Но и с надеждой – на наших любимых авторов, на лучших в мире «знаменских» читателей.

«Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля...»

Сергей Чупринин
Наталья Иванова
Елена Холмогорова
Евгения Вежлян

Ольга Ермолаева
Анна Кузнецова
Карен Степанян
Ольга Трунова



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

В Ы Х О Д И Т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а

с о д е р ж а н и е

4/2015 апрель

- 4 Мария Степанова. К Новому году
- 6 Михаил Шишкин. Клякса Набокова
- 13 Марк Липовецкий. Возвращение литературоцентризма:
 стим-панк наяву
- 17 Анатолий Курчаткин. Синописис романа
- 22 Тимур Кибиров. Уж вечер...
- 25 Владимир Войнович. О вере, сакральности, сомнениях,
 насмешках и карикатурах
- 29 Эргали Гер. Каждому писателю нужен журнал
- 31 Денис Драгунский. Телефонкен
- 34 Анатолий Королев. Имя Розы
- 39 Михаил Кураев. Всплывший камень
- 44 Валерий Попов. Как встретил я Год Литературы
- 48 Сергей Гандлевский. Стихотворение и эссе
- 53 Юрий Буйда. Вечер на заброшенной фабрике
- 56 Светлана Кекова. Музыка Рождества
- 58 Марина Вишневецкая. Из цикла «О природе вещей»
- 62 Евгений Рейн. Посёлок
- 63 Вячеслав Пьецух. Полковник и гармонист
- 65 Геннадий Русаков. Моих ночёвок траурные норы
- 67 Андрей Волос. Принцип Микеланджело
- 71 Семен Файбисович. Ода вольности — даром что в сети
- 75 Владимир Маканин. Не стреляй
- 77 Евгений Попов. Вокруг Пизанской башни
- 81 Владимир Шаров. Моя компания
- 83 Сергей Юрский. Три недели

- 86 Шамшад Абдуллаев. Блеск артезианской воды
- 88 Владимир Березин. День шахтера
- 91 Александр Кабаков. Дачная местность, зимний пейзаж
- 95 Андрей Турков. Накануне «праздника со слезами на глазах»...
- 98 Леонид Зорин. Две строки
- 100 Михаил Айзенберг. Вековые ели
- 103 Владимир Рецептер. Гоголь-моголь
- 106 Роман Сенчин. Гоу датч
- 110 Олег Чухонцев. Сквозняк
- 112 Нина Горланова. О Варламе Шаламове. О памятниках
- 116 Илья Кочергин. На пониженной
- 119 Олеся Николаева. Без обиды
- 122 Майя Кучерская. Дорожные сны
- 126 Дмитрий Орешкин. Философия города
- 130 Алексей Слаповский. Диаложки
- 135 Александр Архангельский. Ближняя дача
- 139 Ольга Славникова. Одинокий той-терьер
- 142 Максим Осипов. Риголетто (трагедия вежливости)
- 145 Маргарита Хемлин. Щедрый вечер
- 148 Елена Фанайлова. По канве Сергея Жадана «Огнестрельные и ножевые»
- 154 Всеволод Бенигсен. «На трибунах становится тише»
- 158 Руслан Киреев. «Я была вам хорошим товарищем»
- 161 Мария Рыбакова. Врата Осириса
- 165 Людмила Улицкая. Семейная сага
- 168 Олег Павлов. Лекция о литературном мастерстве
- 171 Владимир Тучков. Бабочка 3.0
- 174 Стефано Гардзонио. Двенадцатый год
- 177 Александр Иличевский. ДНК и книга
- 181 Ольга Бугославская. «Волк не похож на бабушку», или Почему люди не читают?
- 184 Ирина Ясина. Мой отец Евгений Ясин
- 186 Евгений Бунимович. раз два три четыре
- 188 Наталья Громова. Заметки на полях архивной и музейной жизни
- 191 Георгий Давыдов. Девица, грызущая карандаши

- 194 Алексей Макушинский. **Молчание**
- 197 Александр Подрабинек. **Наша кампания за амнистию**
- 202 Алексей Конаков. **Сугубо личная теория зауми**
- 208 Сергей Боровиков. **Бессонница**
- 212 Григорий Кружков. **Революция снизу**
- 215 Екатерина Кюне. **Соседка**
- 220 Саша Филипенко. **Травля**

н е п р о ш е д ш е е

- 223 Из речей, произнесенных на церемониях вручения премий «Знамени»

Григорий Бакланов, Георгий Владимов, Борис Дубин, Петр Вайль, Эмма Герштейн, В. Кардин, Лев Лосев, Татьяна Бек, Юрий Давыдов, Александр Агеев, Александр Чудаков, Инна Лиснянская, Феликс Светов, Асар Эппель, Борис Иванов, Елена Шварц, Юрий Карякин

- 234 Наши лауреаты



в ы х о д и т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а

с о д е р ж а н и е

4/2015 апрель

Мария Степанова

К Новому году

(с немецкого)

Маятник радости
Ходит на воле —
В давеча, в после,
Встарь и сейчас
Сеет подарками
Старыми-новыми,
Всё, что умеет, доверчиво кажет,
Вдаль и подальше
Даёт заглянуть.
Как бедовали, туда не смотри:
В тёмной давяльне
Точили по капле,
Выжимали
Из немощи верность,
Нежность из похоти и стыда.
Как на аркане,
Нас тащит надежда:
Только вперёд! Только вперёд!
Ясные песни, что там вы вьёте,
Грудь мне тесня?
Что потонуло, кануло, несть,
Память просушит,
Она баловница,
Вот так диковина,
Вот так рассказец —
Старые крепки
Встали на место,
В старом конверте
Новенький мир.

Да не обманут нас складки скатерти:
Вот, как ребёнок, дичась, от матери,
Старую пору прячут под стол.
Выберем время, зажжём светильники,
Чтобы любовь на свету сияла,
Тайный жар согрел в темноте,

Чтобы застали новое новыми,
Новое — новых нас.

Как на катке на голые лезвия
Встали с тобой разойтись и свидеться,
В сквози и швы, проёмы и вырезы
То провалиться, то помелькать, —
Пальцем настойчивым, равнодушным,
И постоянным землебиеньем,
И неуклонным слабым наклоном
Тянет и пятит, кренит и клонит
В новый нас год.

Примечание: это очень вольное переложение Гёте.

Михаил Шишкин

Клякса Набокова

Ничего не надо выдумывать.

Я стоял в зале прилета аэропорта Клотен, держал табличку с фамилией КО-ВАЛЕВ и чувствовал себя счастливым.

Нашему сыну еще не было и года. Жена сидела с ним дома, я никак не мог найти постоянную работу. Экономил на всем, но моих случайных заработков не хватало даже на оплату квартиры. А тогда еще приближались сразу два дня рождения — сперва сына, потом жены. Мне во что бы то ни стало нужно было найти деньги им на подарки. И тут подвалило счастье: я получил заказ из одной фирмы, которая иногда мне подбрасывала переводы! Нужно было встретить клиента в аэропорту, отвезти в отель, потом в банк, потом в Монтре.

Я стоял с табличкой в толпе встречающих и радовался жизни. А помимо заработка, что еще больше возбуждало, предстояла поездка к Набокову. Клиент заказал себе тот самый номер в «Монтре-Паласе», в котором жил писатель, так что и для меня появлялась возможность оказаться в этом сакральном месте. Я стоял с табличкой в ожидании запаздывающего рейса и мечтал, как сяду за тот самый стол, открою выдвижной ящик и увижу знаменитую кляксу, о которой столько раз читал. Клякса Набокова! Можно будет дотронуться до нее пальцем!

Тут я увидел Ковалева. Я узнал его сразу. А он меня, конечно, нет. Мне и в голову не могло прийти, что это может быть тот самый Ковалев! Мало ли на свете Ковалевых?

Первым моим порывом было вручить ему табличку, развернуться и уйти.

Но с ним были его жена и дочка. Девочке было лет пять, она мне улыбнулась и протянула пингвина, мягкую игрушку, с которой не расставалась и в самолете. Я не знал, что с ним делать, но, оказалось, просто нужно было познакомиться. Пингвина звали Пинга.

И вот вместо того чтобы уйти, я подал Ковалеву руку и стал говорить все, что положено в таком случае: «Добро пожаловать в Цюрих! Как долетели?».

Мы поехали в гостиницу, они остановились в Бор-о-Лаке, самом дорогом отеле города.

В машине Ковалев без конца решал какие-то срочные вопросы по двум мобильным сразу, а в короткие перерывы вступал в разговоры со мной. Суждения его по любому поводу были безапелляционными:

— Swissair совсем опустился! И опоздали, и обслуживание ужасное!

Или:

— Ну, подумаешь, Альпы. Вот у нас на Алтае такие места есть!

Или:

— Швейцарцы такие порядочные только потому, что их двести лет никто за жопу не брал!

Я был лишь сопровождающим переводчиком и не спорил. Мне платили по часам.

Я помнил Ковалева белобрысым худым юношей с комсомольским значком, который, кроме него, никто не носил, и который он сам снимал, выходя из института. Столько лет прошло, и вот он снова влез в мою жизнь — в дорогом костюме, со статусным животом и ранней залысиной.

Мы когда-то учились вместе в нашем Московском педагогическом институте имени Ленина. Я на немецком отделении, а он на английском, курса на два меня старше. Он был комсомольским функционером и выступал с трибуны с речами на факультетских и общеинститутских собраниях. В ректорате Ковалева любили, потому что он поставленным голосом доносил до нас решения партийного съезда, как радостные откровения, а мы его за это же презирали. После окончания института он остался по комсомольской линии в столичном райкоме. Было ясно — такой в той жизни далеко пойдет.

А теперь была совсем другая жизнь, но Ковалев и в ней оказался наверху. А я внизу.

Моими услугами переводчика Ковалев и не думал пользоваться — в гостинице он сам объяснился на беглом английском, потом отправился в банк на переговоры, а меня отправил с женой и дочкой гулять по Цюриху. Бывший однокашник сразу дал мне понять, что платит за услуги лакея, а не переводчика.

Жену Ковалева звали Ирина. Такая жена тоже полагалась Ковалеву по статусу — молодая, красивая и, разумеется, блондинка. И прогулка по Цюриху тоже соответствовала ее статусу — она скупала что было подороже в бутиках на Банхофштрассе. Яночке, дочке, в магазинах было скучно, и я развлекал ее разговорами про пингвинов.

— А ты знаешь, — спросила она, — что пингвины так любят своих детей, что ничего не едят по полгода, пока греют яйцо с ребеночком, чтобы оно не замерзло?

— Да, что-то такое видел по телевизору, — ответил я. — И кажется, яйцо у пингвинов высидивает именно папа.

— Правда? — удивилась Яночка. Кажется, это придало ей гордости за ее собственного отца. — А папа мне все-все покупает, что я захочу! И еще он обещал мне покататься на пони!

Ирина, похоже, уже не один раз была раньше в Цюрихе, потому что в конце концов не я водил ее по магазинам, а она меня. Я обреченно следовал за ней с покупками. Потом мы сидели в кафе Sprüngli, и Ирина рассказала, что она — бывшая спортсменка, занималась художественной гимнастикой. Это было видно по фигуре. Похоже, ей хотелось с кем-то поболтать. Ее мечтой было работать тренером, но муж хочет, чтобы она сидела дома с ребенком. И тут мне пришлось выслушивать, какой Ковалев хороший отец, как он любит Яночку, души в ней не чает!

Я смотрел на Ирину и пытался понять: она его действительно любит или просто выгодно вышла замуж? Она не производила впечатление глупой блондинки. И казалось, действительно любит Ковалева.

— На самом деле я терпеть не могу ходить по магазинам, — вдруг призналась она. — Просто нужно купить подарки знакомым и родственникам, и вот все время боюсь кого-нибудь забыть.

На прощание даже рассказала анекдот:

— Встречаются два новых русских в Цюрихе на Банхофштрассе. Один показывает другому галстук: «Смотри! Вот в том бутике купил за две тысячи франков!» А другой говорит: «Какой же ты осел! Я видел точно такой же вот в том бутике за три тысячи!»

Она рассмеялась звонким легким смехом. Почему-то все мои клиенты, которых приходилось водить по Цюриху, рассказывали мне эту же шутку.

Пинга помахал мне крылом. Или плавником. Мы расстались до утра — на завтра я должен был поехать с ними в Монтре.

Ночью наш ребенок долго не спал, плакал, у него поднялась температура, моя жена пела ему колыбельную, которую ей пела ее мама.

Schlaf, Chindli, schlaf
De Vater huetet d Schaaf
D Mueter schuetlet s Boimeli
Da falled abe Troimeli
Schlaf, Chindli, schlaf

В этой песенке сны падают с дерева, если потрясти ветки.

Я тоже никак не мог заснуть. Слушал ее колыбельную и сопение сына. Это были два самых дорогих мне человека. И мне очень нужна была работа, мне очень нужны были деньги для них. А денег не было, и я все никак не мог найти настоящую работу, перебивался только вот такими заработками. И еще я боялся, что моя жена тайком от меня берет деньги у своих родителей. Мне было стыдно.

Ребенок успокоился, жена легла, прижалась ко мне, а я все не мог сомкнуть глаз. Она сказала:

— Ну, скажи, что? Я же чувствую, что тебя что-то мучает. Любимый, скажи мне! Ведь мы вместе!

Я рассказал ей про Ковалева, про то, как тогда, много лет назад, он был лакеем и я его презирал.

— Если бы мы где-то встретились, я бы руки ему не подал. А тут он приехал, у него куча денег — и я его лакей.

— Ты не лакей. Ты зарабатываешь деньги. Ты делаешь честно свою работу, вот и все. Любую работу можно делать с достоинством.

— Понимаешь, — я попытался ей объяснить, — деньги везде пахнут, но в разных странах у них все-таки разный запах. В Швейцарии деньги себе под мышками мажут дезодорантом. А в России от них идет вонь. От маленьких денег несет потом и нищетой, а от больших...

Она закрыла мне рот рукой:

— Любимый! Я все понимаю. Откажись. Не надо. Черт с ними, с деньгами! А сейчас спи, уже поздно!

Я хотел еще что-то объяснить про Ковалева. Вот откуда у Ковалева все это? Вот он приезжает сюда с мешком денег. И мне что-то перепадает. И я честным трудом лакея получаю его вонючие деньги. И должен делать это с достоинством!

Я ничего ей больше не сказал, опять проснулся ребенок и стал плакать.

На следующий день я отправился с моими клиентами в Монтре.

По дороге Ковалев снова делился своими суждениями:

— Вот поставили себе радаров на автобане и боятся. Вы же здесь не живете, а боитесь! Трясется от страха прокатиться с ветерком. Трясется от страха жить!

Или:

— Вот зачем Швейцарии армия? Сколько миллиардов за пару самолетов, чтобы кто-то мог полетать над Альпами в свое удовольствие? С жиру вы тут беситесь!

Или:

— Вот Набоков — гений! А все эти сегодняшние — говно!

Пристрастие моего старого знакомого к Набокову никак не вязалось ни с его комсомольским прошлым, ни с его бизнес-настоящим. Но спросить я не решился. Да и что за дурацкий вопрос — почему человек восхищается Набоковым?

И все-таки это было странно. Тогда, в молодости, Набокова тайком передавали друг другу. И мы чувствовали себя преследуемой варварами сектой, а его книги — нашим сокровенным богатством. По Набокову тогда проходила граница: свой — чужой. Ковалев был чужим. А теперь он вез меня в Монтре. Так все странно...

Девочку в машине укачало, и нам пришлось несколько раз остановиться. Ковалев пересел к дочери на заднее сиденье и стал отвлекать ее разными историями. Он придумывал сказки, в которых главной героиней всегда была Яночка, которая попадала без конца то в руки бандитов, то к драконам, и ей нужно было с ними сражаться. Сказочная Яночка всегда побеждала. Девочка слушала внимательно, не улыбаясь.

Был февраль, в Москве еще метелило, а в Монтре уже наступила весна, солнце жгло и с неба, и с зеркального озера, чайки делали жизнь озорной и легкой. На знаменитой набережной тогда еще не было черно от мусульманских бурок — там прогуливались ухоженные старушки в мехах и солнечных очках. Ковалев распахнул пальто и прищурился в сторону Савойских Альп, растущих из Лемана:

— Вот, я все себе так и представлял!

Я должен был без конца фотографировать его с женой и ребенком на каждом углу.

При регистрации в «Монтре-Паласе» он недоверчиво переспросил у девушки за стойкой, действительно ли ему дали номер, в котором жил Набоков. Утвердительный ответ его не удовлетворил, и он еще раз спросил у бородатого лифт-боя, который катил чемоданы в номер. Тот тоже уверил, что все без обмана. Лифт-бой оказался родом из Сербии. В Югославии совсем недавно лилась кровь, американцы бомбили Белград, и серб, услышав русскую речь, из благодарности к России за ее поддержку отказался брать чаевые — и сразу же получил денег вдвое больше. Ковалев и лифт-бой даже обнялись.

Набоковской комнатой Ковалев оказался разочарован. Я объяснил ему, что после смерти Веры там все перестроили, разделили писательские покои на отдельные номера, но его возмутили скошенные низкие потолки, узенькие окошки и крошечный балкончик.

— Как он мог тут жить?

В комнате на стенах висели старые набоковские фотографии, и Ковалев хотел повторить каждую. По телефону он попросил принести в номер шахматы и устроился с Ириной за столиком на балконе — как Набоков со своей Верой. Я должен был делать много дублей.

Еще Ковалев обязательно хотел сфотографироваться за письменным столом. Впервые я подумал: как хорошо, что Набоков умер.

Когда Ковалев с женой снова вышли на балкон, я открыл заветный ящик — мемориальная клякса, о которой я когда-то читал и дотронуться до которой я столько лет мечтал, была на месте. Я прикоснулся к ней пальцем. Не знаю, что я хотел испытать. Но что-то испытать мне помешала Яночка, она подбежала и заглянула в ящик.

— Что там? Покажи?

— Вот, смотри! — сказал я. — Клякса.

Она удивилась и явно была разочарована.

— Клякса...

Ковалев заявил, что этот номер слишком маленький, и они остановились в другом, огромном.

Меня на два дня поселили в гостинице рядом с вокзалом.

Первым делом в Монтре мне пришлось заняться поисками пони. Ковалев с женой остались в номере отеля, а мы с Яночкой отправились кататься. Лошадка была грустная и сильно пахла мочой и потом.

Яночка почему-то привязалась ко мне, не хотела расставаться, и Ковалевы пригласили меня на ужин. За столом Ковалев то восторгался красотами Лемана, швейцарской чистотой и порядком, то выражал недовольство: в сауне отеля недостаточно натоплено, у входа нет никакой охраны — заходи всяк кому не лень, а главное — на каждом шагу попадаются русские! Почему-то именно обилие соотечественников раздражало его больше всего.

Меня поразило, что Ирина смотрела на мужа совершенно влюбленными глазами. Такие влюбленные глаза нельзя сыграть.

Загадка Евы Браун. Как могут женщины искренне любить преступников, мерзавцев, пошляков? Кто-нибудь когда-нибудь объяснит?

За десертом Ковалев заявил:

— Как ты можешь тут жить? Тут же тоска! Разве вы тут живете? Вы киснете! Я ел за его счет и со всем соглашался.

— Тут, на Западе, — излагал он, смачно жуя, — люди жадные от скупости, все откладывают на завтрашний день. А у нас в России люди жадные до жизни. Потому, если сейчас от жизни чего-то не возьмешь, завтра уже может ничего не быть!

Он все делал жадно — жадно ел, жадно смеялся, жадно втягивал в ноздри ветер с озера. Даже фотографировался жадно, все ему было мало.

Но больше всего Ковалев любил фотографироваться с дочкой. Он называл ее Зайкой. Мне это было неприятно, потому что мы так называли нашего сына — Зайка.

Ночью я ворочался в своей кровати в номере привокзальной гостинички. Я не мог заснуть от презрения к самому себе. Неужели я ему завидую? Почему в набоковском номере останавливаюсь не я, а он? Ведь это я люблю Набокова, ведь это меня спасали когда-то его книги. Мне почему-то всегда казалось, что, если я дотронусь до той заветной кляксы, я что-то пойму очень важное, что-то сокровенное. И вот теперь дотронулся — и что я понял? Что мне открылось?

Лежал, слушал, как проходят редкие поздние поезда, и в голову опять лезли все те же подлые мысли: ну почему Ковалев может баловать свою жену и дочку, а я должен исполнять роль слуги в богатом семействе, чтобы этот самодовольный тип дал мне денег на подарки моему сыну, моей жене? Кто он? В той рвотной жизни, когда можно было сделать выбор между маленькой подлостью — молчать, и большой — выступать с трибуны, он добровольно выбрал большую. Всегда, в любое время, в любой стране есть прожиточный минимум подлости. Но можно ведь им и ограничиться. Или нельзя, если хочешь чего-то в этой жизни добиться? Вот как, какой подлостью он сделал столько денег? Я вдруг представил себе, что завтра утром скажу ему прямо в лицо все, что о нем думаю, и уеду, хлопнув дверью. И только тогда заснул.

А утром я повез их на экскурсию в Шильонский замок и был приветлив, словоохотлив, предупредителен. Я тогда собирал материалы для моей «Русской Швейцарии». Наверно, я был неплохим гидом — рассказывал про русскую вековую толкучку в Шильоне, сыпал забавными цитатами.

Я себя ненавидел. Но я знал, ради чего я все это делаю.

В тот вечер у нас случился «вагонный» разговор.

Ирина пошла укладывать дочку, а мы с Ковалевым сидели в баре отеля, и он взял бутылку самого дорогого коньяка. Вряд ли я интересовал его как собеседник, скорее всего, ему просто нужен был свидетель для той небрежности, с которой он заказал бутылку стоимостью в месячную зарплату кассирши в швейцарском супермаркете.

Мы выпили. Коньяк действительно был замечательный.

Помню, что я рассказал про то, как не встретились в «Монтре-Паласе» Набоков с Солженицыным. Забавная история. Они списались, договорились о встрече. Набоков записал в дневнике: «6 октября, 11.00 Солженицын с женой». Оче-

видно, Солженицын ждал ответного подтверждения. Он приехал со своей Натальей в Монтре, подошел к отелю, но решил ехать дальше, думая, что Набоков болен или по какой-то причине не хочет их видеть. В это время Набоковы просидели целый час в ожидании гостей — был заказан в ресторане ланч — не понимая, почему тех нет. Больше они так и не встретились.

Ковалев пожал плечами. Кажется, история вовсе не показалась ему забавной.

Потом мы выпили еще, и он вдруг ухмыльнулся:

— Что-то мне лицо твое сразу знакомым показалось, только никак не мог вспомнить, где и что. Мы с тобой нигде не пересекались?

Я уверил его, что нет.

Позвонила Ирина и сказала, что останется в комнате с Яночкой.

Ковалев стал расспрашивать меня про то, как я оказался в Швейцарии, про мою жену-швейцарку.

— Не скучно тебе среди этих цветочков и шоколада?

Он пил быстрее меня и больше и быстро хмелел. Ни с того ни с сего принялся рассказывать, какая у него первая жена была стерва и как он счастлив был, когда с ней развелся:

— Вышел из здания суда — и чувствую, что лечу! Зарекся — никогда больше не женюсь. Пять лет держался. А тут Иринка! Иринку мою люблю, как сумасшедший! Да и как такую не любить! Ты ее фигуру видел? Скажи, видел?

У него была отвратительная манера хлопать собеседника то по колену, то по плечу.

— А Яночку мою так люблю, что все ради нее сделаю! Веришь?

Я все время кивал. Ему этого было достаточно.

Мы сидели долго, во всяком случае, одной бутылки не хватило, и он стал заказывать себе еще рюмочки.

Ковалев рассказывал что-то невнятное про свой бизнес, про мерзавцев, с которыми ему приходится иметь дело, про то, как ему противно заниматься всей этой грязью, и что делает он это только из-за Ирины и Яночки.

— Понимаешь, — кричал он так, что все в баре на нас оборачивались, — у меня дороже моей Яночки ничего на свете нет! Я за нее любого убью! Пусть только кто ее пальцем тронет! Я для нее все буду делать! Сам мерзавцем стану! Говно буду жрать! Но это ради нее, понимаешь, ради моей Зайки!

Еще доверительно на ухо сообщил, что обеспечил жене и дочке будущее в Швейцарии, если что-то с ним произойдет.

— Мало ли что, — объяснял он. — Всякое ведь может случиться. А я все так сделал, что Яночка тут вырастет. У вас. Среди цветочков и шоколада. Все обеспечено!

Совсем пьяным он стал признаваться, что его хотят убить.

— Понимаешь, меня заказали! И я это знаю! И знаю кто!

Кажется, он уже не очень понимал, где находится и с кем говорит, только пьяно рычал:

— А я им так просто не дам! Зубами буду за жизнь хвататься, понял? Зубами! Мы вышли с ним из бара на улицу проветриться и спустились к озеру.

Стояли на набережной, гор не было видно в тумане, и казалось, что мы стоим на берегу моря.

Ковалев орал на весь ночной Леман:

— Заказали?! Кого? Меня?! Да я сам кого хочешь закажу!

Он даже порывался искупаться. Я пытался его урезонить, мол, искупаться в озере и завтра можно.

Ковалев ревел в ответ:

— Да, может, твоего озера завтра уже не будет!

Я усмехнулся:

— Да куда ж оно денется?

Он махнул на меня рукой:

— Ни хрена ты не понимаешь! — и побрел нетвердыми шагами к отелю.

А я еще какое-то время ходил по набережной. Чувствовал, что пьян, что разговариваю сам с собой. Редкие поздние прохожие на меня оборачивались. Я говорил себе:

— А если с тобой что-то случится? Вот он обеспечил свою жену и ребенка, а ты — нет. Ты его презираешь, а чем ты лучше его?

И вдруг я очень остро почувствовал, что завтра озера может не быть.

Мы прощались на следующий день утром, я пришел в «Монтре-Палас» после завтрака. Ковалев выглядел помятым, с красными мутными глазами. Посмотрел на меня тяжелым неприятным взглядом.

— Я, может, вчера сболтнул что-то лишнее — забудь! Ясно?

Я кивнул.

Чаевые, которые я получил от Ковалева, были королевскими. В хорошем кино я должен был бы оставить деньги ему на столе и гордо уйти. Но мы были не в кино.

С Ириной мы попрощались почти по-дружески, а Яночка просто повисла на мне и не хотела отпускать.

Больше мы не виделись.

На день рождения моя жена разворачивала коробки с подарками, и мне было очень нужно слышать ее счастливый смех и видеть, как улыбается в кроватке наш сын.

Важно ведь лишь то, что у тебя есть самые дорогие люди на свете, а все остальное не имеет никакого значения.

Пару месяцев спустя я, как обычно, утром сел за компьютер и в новостях наткнулся на знакомую фамилию. Сообщалось, что одного из руководителей известного банка Ковалева застрелили на улице прямо у его дома. Обычные московские новости того времени. Проверил, выскочила его фотография.

Запомнилось, что киллер поджидал у подъезда и еще сделал контрольный выстрел в голову — это увидели соседи в окно.

Не знаю, что стало с его женой и дочкой. Столько лет прошло. Яночка теперь, должно быть, уже совсем большая. Интересно, что с ней сейчас? Кем стала? Как сложилась ее жизнь после гибели отца? Ведь она выросла где-то здесь, в Швейцарии.

А вдруг, Яночка, ты сейчас читаешь эти строчки? Чего ведь только в жизни не бывает...

Интересно, что у тебя осталось в памяти от той нашей поездки? Может, вообще стерлось все, кроме пони? Как там Пинга? Его, наверно, давным-давно нет на свете.

И что ты помнишь об отце?

Он бы тебе сам потом рассказал про наш институт и про все остальное. И почему его заказали. Или не рассказал бы.

Ты знаешь, важно лишь то, что был человек, для которого ты являлась самым дорогим существом на свете. Все остальное неважно.

А еще скажи, ты помнишь ту кляксу?

Марк Липовецкий

Возвращение литературоцентризма: стим-панк наяву

Почти наугад три новостных заголовка:

- На рассмотрение Государственной думы РФ внесен проект закона «Об охране граждан от последствий потребления чеснока».
- В Москве обсуждается финансовая система на основе православных ценностей.
- Петербургские казаки потребовали вернуть Аляску и Калифорнию.

Какой из них — чистая выдумка? Правильно, первый, про чеснок. Этот материал был опубликован на сайте РБК давным-давно — еще 1 апреля 2013 года.

В какой-то момент я поймал себя на том, что не могу отличить настоящую новость из России от, как сейчас говорят, фейковой. Насчет новости про чеснок у нас с женой даже возникла дискуссия, а немало наших знакомых приняли это сообщение за чистую монету. Возможно, конечно, что избыточное чтение российских новостей вообще понижает способность к критическому мышлению. Однако нельзя не заметить, что эта старая шутка (время от времени вновь возникая в новостной ленте Фейсбука) совершенно не выпадает из нынешнего контекста «реальных» новостей (разве что своей невинностью). Слишком многие из них еще год назад показались бы «фейком». Неподдельным гротеском веет не только от официальных российских сообщений о финансовой системе на основе православных ценностей и «петербургских казаках», требующих вернуть Аляску и Калифорнию, но и о письмах от Волконских и Пушкиных в защиту Путина; всего, касающегося Милонова и Мизулиной, не говоря уж о Жириновском, как, впрочем, и о других депутатах... Особую концентрацию этот эффект приобретает в зоне новостей про «украинскую хунту», малайзийский лайнер, Новороссию и покорение Крыма... Хочу оговориться: говорю не о событиях, трагических и драматичных, а об их репрезентации, которая, как кажется, скорее подчиняется литературным (фантазмагорическим), нежели журналистским (фактологическим) принципам.

Разумеется, все это не сегодня началось и давно назревало. Приведу небольшой пример. В декабре 2012 года известный в Британии интеллектуальный журналист Рейчел Полонски писала о полете Путина с журавлями: «Его микрополет летом 2012 года, посвященный обучению журавлей искусству миграции, был “фантастической” постановкой, соединившей шаманизм с фольклорным сим-

волизмом»¹. Однако, в этот же момент в британском издательстве Routledge вышел научный сборник (естественно, готовившийся к печати более года) «Путин как знаменитость и культурная икона» (под редакцией Х. Гошило)², в котором уже была напечатана статья Т. Михайловой, пришедшей к сходному выводу на примере многочисленных путинских поцелуев — детей, животных, даже рыб. По мнению этой исследовательницы, в созданной в 2000-е годы модели российской власти замещение нации животным миром предполагает политическое зрелище вместо политики, постмодернистскую сказку в качестве реальности. Недаром та же Полонски на конференции о постсоветской литературе в Оксфорде в апреле 2013-го сравнивала путинский полет с романами Пелевина. А ошеломительное сходство происходящего в России 2013–2014 годов с «Днем опричника» Сорокина давно уже стало общим местом в российской журналистике и блогосфере. Однако наиболее очевидным подтверждением этой логики стали события последнего года, когда спектакли Олимпиады в Сочи плавно перешли в покорение Крыма, а затем в проект «Новороссия» — правда, со всевозрастающими потерями — финансовыми, моральными, человеческими... И в самом деле, что такое эта «Новороссия», если не торжество постмодернистской «альтернативной истории», правда, замешанной на реальной крови? (Недаром в правительство ДНР входил писатель-фантаст Ф. Березин, а Гиркин-Стрелков увлекался реконструкциями былых сражений³...)

По-видимому, за размыванием границы между реальными и фейковыми новостями встает более серьезная проблема. Это симптом новой картины мира, в которой исчезла предсказуемость, осыпалась рациональность, нерелевантным оказался весь предыдущий (казалось бы, весьма богатый) опыт последних десятилетий. А раз нет критериев для различения действительного и фейка, значит, в принципе — *возможно все*: полная невесомость, никаких тормозов. По крайней мере в восприятии участников российской современности.

Такой эффект, как правило, возникает в революционные эпохи. Помнящие перестройку легко восстановят это пьянящее чувство. Но ведь то, что происходит в России примерно с 2012 года, меньше всего напоминает революцию. Напротив, неоимперскому повороту во внешней политике предшествовало массированное «подмораживание» России, в точном соответствии с советами К. Леонтьева. Логика подмораживания не имела, надо сказать, ничего общего с постмодернизмом, а, наоборот, была направлена против всего, что могло ассоциироваться с ним. Суд, а затем и посадка Pussy Riot недвусмысленно обозначили именно этот вектор. Добавьте гомофобию, возведенную в официальный статус и поддержанную наступлением церкви на мораль, политику, культуру и образование. Не забудьте согласующуюся с клерикализацией общества сакрализацию советской и, особенно, военной истории (достаточно вспомнить причину атаки на «Дождь»), а также создание образа «Гейропы», чьи «европейские ценности» якобы разрушены либералами. Учтите попытки создания интернационала ультраконсервативных сил; снисходительные рассуждения о провале мультикультурализма; откровенный национализм под увещевания о вековых «кодах русской цивилизации». Все это в сопровождении яростной атаки на современные гуманитарные дисциплины, подменяемые, с одной стороны, Дугиными, Медин-

1 Polonsky Rachel. *Fantasy and Authority in Putin's Russia* // [http://www.memoryatwar.org/ newsletter-Dec-2012.pdf](http://www.memoryatwar.org/newsletter-Dec-2012.pdf)

2 *Putin as Celebrity and Cultural Icon*, ed. by Helena Goscilo. London: Routledge, 2013.

3 См. подробнее: Eliot Borenstein. *Russia, Ukraine, and the Fantasies of War* // <http://jordanrussiacenter.org/news/russia-ukraine-fantasies-war/#.VJ20Z14DXs>

скими, Кургинянами, а с другой — всякого рода «единицами учебниками»... Нео-консервативный дискурс «духовных скреп» был «свиньей» против морального и культурного релятивизма. Он выдвигал на первый план и агрессивно продвигал «вечное» и «незыблемое», «кровь и почву» — и именно поэтому, казалось бы, получил широкую поддержку даже в среде интеллигенции, не желающей терять достижения стабильных 2000-х. Как же так произошло, что этот «стабилизирующий тренд» породил сугубо пелевинские и сорокинские эффекты? Как «подмораживание» обернулось скольжением без тормозов?

Разумеется, во всем виноват постмодернизм, о смерти которого так долго и так радостно писали в начале 2000-х, особенно после 9/11. Попробую объяснить, о чем идет речь.

Во-первых, «негативная революция» 2012–2013-х годов была, по сути дела, первым со времен перестройки системным вторжением государства в область символического — в область, находящуюся в ведении культуры, а в России, по преимуществу, литературы. И тут выяснилось, что в этой области сегодня не действует логика «нового» или еще какого-нибудь «православного» реализма. Оказалось, что в современной русской культуре эффективна только и исключительно постмодернистская логика перформанса, логика спектакля. Это та самая логика, которую Ж.-Ф. Лиотар описал в своем знаменитом манифесте «Состояние постмодерна» (1979): постмодернистское знание легитимизирует себя парадоксами и катастрофами, паралогией, а не логикой. Разумеется, когда это происходит в политике (вдруг озабопившейся историей крещения Руси и прочими «культурными кодами»), ничего отрадного из этого получиться не может. «Духовные скрепы» оборачиваются катастрофическим перформансом и не только ничего не «скрепляют», но и создают атмосферу игры без правил: anything goes.

Несмотря на сугубо консервативную повестку, при вторжении в культурную среду — повторюсь: ставшую политикой — государственная имитация империи XIX века, империи до Сталина с Гитлером и до Холокоста, превращается в эдакий постмодернистский стим-панк. Если в «Машине различий» (1990) Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга, классическом романе стим-панка, судьба мира радикально меняется оттого, что в викторианской Англии изобретают механический компьютер, то путинский стим-панк основан на обратном принципе: страна с компьютерами и Интернетом вдруг воображается викторианской империей⁴. Однако главный прием стим-панка все же сохраняется: навязанные «духовные скрепы» и политические повороты 2014-го года, подобно компьютеру во времена Диккенса, функционируют как цитаты из другой эпохи, вызывая вокруг себя, как и в «Машине различий», турбулентные завихрения времени, создавая зону непредсказуемости. Литературоведы увидели в жанре стим-панка проявление постмодернистского понимания истории как сконструированного нарратива, fiction особого рода. В российском стим-панке то же мироощущение перенесено со страниц романов на страницы газет и телеэкраны. Правда, кровь в российском стим-панке льется не fictional, а самая настоящая.

Во-вторых, общеизвестно, что постмодернизм, как и авангард, возникает именно как критический дискурс. Критическая составляющая постмодернизма связана, с одной стороны, с подрывом культурной гегемонии, а с другой — с легитимизацией Другого: расового, этнического, сексуального, гендерного и т.п. Нельзя сказать, что проблематика Другого отсутствует в русском постмодерниз-

4 Как отметил в устном выступлении И. Кукулин, неслучайно стим-панк стал важнейшим жанром консервативной научной фантастики 2000–2010-х годов.

ме, однако сейчас видно, что довольно долго она была заслонена первым аспектом — деконструкцией оснований культурной гегемонии: сначала советской (в андеграунде), потом постсоветской. Эта слабость русского постмодернизма, возможно, ответственна — хотя, конечно, не в нем одно дело — за слабое сопротивление общества неоконсервативным идеологиям. Но что происходит с постмодернизмом, когда он не только «берется на вооружение» властью, но и исключает всякую критику по отношению к себе? Когда постмодернистское легитимирование Другого подменяется его демонизацией, да еще и по соцреалистическим рецептам? Он не только вырождается в голый демонстративный цинизм — собственно, демонстративность политического цинизма и размывает границу между возможным и невозможным, между фактом и фейком. Кроме того, происходит нечто подобное тому, что — если верить Борису Гройсу — случилось в 1930-е годы, когда авангард был «огосударствен» советской культурно-идеологической машиной. Гройс назвал возникшее образование «Gesamtkunstwerk Сталин» — увидев в сталинской тотальной идеологии воплощение мечты Вагнера о тотальном произведении искусств, мечты, вдохновлявшей и русских символистов, и русских авангардистов.

Значит ли это, что писатель вновь становится, по выражению Сталина, «инженером человеческих душ»? Что расстояние между литературной фантазией и политической реальностью минимизировалось? Что мы опять живем в пространстве литературы, поглотившей все другие логики? Если да, то не забудем и о том, что как раз в такие времена за литературу убивают, а писатель, получив власть над реальностью, воспринимается номинальными властями как прямая угроза.

Однако Путин не Сталин, да и постмодернизм не авангард. Современная, то есть постмодерная, культура не может быть подчинена одному центру власти — в ней этих центров множество. Такой полицентризм логически предполагает сценарий, уже описанный Сорокиным: «День опричника» ведет к «Теллурии». Будем надеяться, что этот сценарий не единственный. Хотя, как уже сказано: возможно все.

Декабрь 2014 г.

Анатолий Курчаткин

Синопис романа

Не открытие, что жизнь устроена так, что у каждого человека есть словно бы «пара». В которой он отражается как в зеркале. Только это отражение не прямое, а как бы искривленное, часто гротескное, и там, где у реального человека нос, у отражения — глаз, а бывает, что и пятка с ягодицей, как на картинах Пикассо. Но в отличие от зеркального мира жизненное отражение вполне вещественно, и если смотреть с его стороны, то отражением будет уже тот, другой из пары. И свою пятку с ягодицей на месте носа этот «вещественный» будет полагать вполне естественно расположенными, а нос посередине лица у «отражения» несомненным его уродством.

Я влюбилась в его затылок, говорила потом подругам Наталья (так получилось, что при знакомстве она увидела его сначала с затылка — еще и не зная, кому затылок принадлежит). Николаю от нее это тоже было известно, и он даже несколько раз в жизни после очередного похода в парикмахерскую, вернувшись домой, становился к большому зеркалу в прихожей спиной и, взяв в руки маленькое настольное зеркало с ножкой, смотрел на свой затылок: что в нем такого привлекательного? Затылок был как затылок, только линия волос на шее после ножниц и бритвы исключительно четка и ровна — что после стрижки было естественно. Нет, у тебя изумительный затылок, говорила ему Наталья. А тогда еще и какая-то необыкновенная была стрижка, я просто упала. Ага, упала, саркастически хмыкал Николай. Потому что до того, как она упала, ему пришлось еще порядком поплясать вокруг нее.

Они оба были тогда, естественно, молоды, но уже не юны. Ей двадцать семь, ему на год меньше. Она уже вволю хлебнула своей профессии геолога, натаскалась по экспедициям с тридцатикилограммовым рюкзаком за плечами и начала мечтать о каком-нибудь спокойном месте в какой-нибудь тихой конторе, а он, в свою очередь, незадолго перед их знакомством как раз потерпел первое в своей жизни крупное крушение: он хотел стать разведчиком-нелегалом, закончил Институт стали и сплавов, чтобы была реальная профессия, отец, крупный партийный работник из международного отдела ЦК единственной в стране коммунистической партии, помог ему попасть в школу, готовившую этих самых нелегалов, но по окончании школы, хотя Николай и сдал все выпускные экзамены (в том числе и по языкам,) на «отлично», его кандидатура как будущего разведчика была забракована: из-за горячности натуры, из-за любви к тому, что называется правдой-маткой, — слишком *заметен*, было вынесено заключение, и высокая должность отца не помогла осуществлению его романтической мечты.

Это был конец 60-х годов, только несколько лет назад Гагарин впервые облетел вокруг Земли на космическом корабле «Восток».

Они жили с его родителями, в доме на Кутузовском проспекте, том самом, где в соседнем подъезде была и квартира самого Генерального секретаря партии, и это их безумно тяготило. Хотелось жить в обычном доме, среди обычных людей — так, чтобы никто не топтался на межмаршевых площадках лестниц, чтобы не проходить под взглядами консьержей, отмечающих, когда ты ушел, когда пришел и кого привел к себе. Однако это оставалось мечтой: квартира у родителей Николая была большой, и по закону невозможно было встать в очередь даже на кооперативную квартиру — за свои деньги. Использовать свое положение отец Николая отказался. Соображения его были не столько принципиальные, сколько практические: представляешь хоть, какая телега на меня покатит, только я куда позвоню с этим, рывкнул он в ответ, когда Николай подступил к нему со своей просьбой особо настойчиво. В очередь на кооператив удалось встать лишь три года спустя, когда младший брат тоже женился, жена его прописалась в родительской квартире, и теперь отец уже с полным правом включил все рычаги. Вскоре Николай с Натальей въехали в собственную квартиру, малюсенькую, вся, как полторы комнаты отцовской хоромины, и на самой окраине Москвы, но, главное — отдельное жилье, а все остальное для Николая с Натальей было не важно.

Николай к тому времени был уже начальником цеха на одном «ящике», и никакой протекции отца для того не потребовалось, карьерный рост — это была полностью его заслуга. Казалось, в нем свернута не знающая сноса пружина, что побуждает его, взявшись за дело, непременно, какие бы препятствия ни встретились, довести его до конца, достичь нужного результата — пусть цена этому результату две копейки. При этом он не был склонен, как часто случается с людьми подобного рода, пускать свою энергию на подчинение других, требовалось — и самолично «подносил патроны». За пределами работы он тоже был такой. Широкая натура, шумный, компанейский, любил гостей, любил помогать друзьям — от покупки какой-нибудь вещи до ремонта в квартире, — ему нравилось так жить, ощущая себя нужным и способным этой нужности соответствовать, любил чисто мужские, грубые удовольствия: поехать поохотиться, попариться потом в баньке, посидеть, если летом, с котелком у костра. Ему несвойственно было предъявлять к жизни претензии — что чего-то недополучил, мог бы иметь больше, а не удалось, — он удовлетворялся тем, что давала жизнь, не требуя от нее и не претендуя на большее.

Наталья же открыла в себе талант рукоделия: бралась расписать-отлакировать какие-нибудь полочки-карнизы для кухни — и у нее это замечательно получалось, взялась за шитье, хотя прежде никогда ничего не шила, — и оказалось, после двух-трех неудачных попыток, что может раскрыть, состроичить на машинке хоть блузку, хоть юбку, хоть брюки. Ей удалось оставить геологию, подруга устроила ее работать в Библиотеку иностранной литературы имени Рудомино, место оказалось отнюдь не самое спокойное, но таскать тридцатикилограммовые рюкзаки на новом месте работы нужды не возникало.

Все, если со стороны, выглядело замечательно в их жизни. Да они ее такой и считали. Им нравилось даже то, что имена их начинаются с одной буквы — Николаю с Натальей чудился в этом некий скрытый сакральный смысл.

Однако же невольные выяснилось, что Наталья не может иметь детей. Вскоре, как перебрались в собственную квартиру на окраине, она благополучно забеременела, благополучно доносила ребенка, и вообще все обстояло благополучно до самых родов. А при родах что-то пошло неблагополучно — она так никогда и не узнала доподлинно что, — ребенка ей достали по частям, а ей самой занесли инфекцию, и недели полторы она обреталась между этим светом и тем. И вот когда окончательно вернулась на этот свет, тут и оказалось, что она не просто потеряла ребенка при родах, а утратила и саму возможность родить вновь.

Глядя со стороны, все казалось прежним. Николай с Натальей работали, он безотказно бросался через всю Москву по просьбе друга ему на помощь и, когда удавалось, ездил на охоту, она продолжала рукомесленничать дома и шила подругам по добываемым ими неведомыми путями выкройкам «французские» платья-сарафаны-штаны. Но нельзя остаться прежними после того, что случилось с ними. Память об утраченном ребенке жгла Наталью нестерпимой болью, ее можно было утишить только другим ребенком, и откуда этот другой ребенок мог взяться? Кроме как из детдома, взяться ему было неоткуда. Исползволь, шаг за шагом, Наталья принялась готовить Николая к этой мысли. И подготовила так, что в один прекрасный день он сам предложил ей сделать это.

Ребенок, которого она лишилась, был мальчиком, и Наталья хотела только мальчика. Мальчику, которого им предложили усыновить в детдоме, едва исполнился год, он только научился ходить, но уже все понимал и даже произносил несколько слов — хороший был мальчик, только угрюмоватый, не слишком радовался игрушкам, что привезли Наталья с Николаем, не слишком отзывался на их ласку. Зато ласков был другой мальчик, постарше — полтора года, — сам подбежал к Наталье, взял за палец, обрадованно закидывая к ней лицо, и так жадно схватил протянутого ему медвежонка, так прижал к груди — у Натальи перевернулось сердце. Возьмем этого, сказала она мужу, когда они шли в кабинет директрисы. Директриса, когда они в кабинете объявили ей о своем решении, принялась их отговаривать. Мы вам хорошего малыша даем, хорошего, повторяла и повторяла она. Да чем же тот-то хуже, недоумевала Наталья. Но директриса не отвечала на ее вопрос. Давайте будем оформлять того, которого выбрали, подвел в конце концов черту Николай. Он был начальником цеха — руководителем — и умел сказать с такой непреклонностью, что спорить с ним дальше не хотелось.

Что имела в виду директриса, они поняли много спустя. Когда мальчик пошел в школу, когда отправили к психиатру... плохая наследственность. Да вы же вроде сами нормальные люди, говорил врач, откуда у него такое? К тому времени Николай, и тут нужно честно сказать, не без отцовской помощи, работал в Министерстве приборостроения, в чем внушительном, громадном здании неподалеку от Кремля каждое утро растворялось две тысячи человек, — сначала замначальника отдела, потом начальником, а потом стал и начальником главка, к чему отец, скоростно скончавшись вскоре после смерти бровастого Генерального, руки уже приложить не мог. Николай так вел дело, что подведомственные заводы у него всегда были обеспечены фондами, а взятки не брал, и это было известно всем. Они купили в том же доме трехкомнатную квартиру, перебрались в нее... но мальчик рос тяжелым, устраивал истерики — счастье, что пришло в дом с его появлением, длилось недолго. Случалось, Николай с Натальей говорили на эту тему. Кто сказал, что жизнь дается для счастья? Совсем даже не для счастья человек создан. Как там в Библии говорится? В поте лица добывать хлеб свой. Библия у них в доме появилась после того, что с Натальей произошло в роддоме.

Артем, родившийся более чем на десяток лет позднее Николая с Натальей, о существовании их и не подозревал. Отец его тоже был не из дворников, но таких постов, как отец Николая, не занимал, он был журналистом, а у журналистов бывают должности, а не посты, хотя на самом деле журналистика была лишь одним из его занятий, а вообще он относился к одной из тех организаций, которые называются спецслужбами, семья подолгу жила за границей, и Артем рос среди разговоров о внутренней и международной политике, о тех людях, которые эту политику делают, и часто слышал самую беспощадную критику этих людей — отец и люди, которые вели такие разговоры, знали, как бы надо правильно поступать, но, к сожалению, не в их власти было принимать судьбоносные решения.

Артем был единственным ребенком в семье, мать, дочь известного советского писателя, круто порвавшего со своей досоветской биографией, не работа-

ла и всю себя посвятила воспитанию сына. Ей и трудно было бы работать при профессии мужа, да Артем и рос довольно болезненным ребенком, требовавшим много внимания. Старания ее были вознаграждены: к концу школы сын прочитал раз в десять больше, чем все окружающие сверстники, причем не просто художественных книг, но и биографий исторических личностей, научно-популярных трудов по разнообразным научным дисциплинам, у него был свободный английский, и когда подошла пора поступать в высшую школу, поступил в МГУ на экономический факультет без всяких затруднений, хотя без отцовских звонков, конечно, не обошлось.

Взрослую жизнь Артем начал не без глупостей. Еще в раннем студенчестве его чуть не захомотала взрослая женщина, да еще чужого круга, да еще родила от него ребенка, но он вовремя понял, во что залетел, доверился матери разрешить ситуацию, и ненужная ему женщина вместе с ребенком благополучно исчезла из его жизни. Дальше же все складывалось самым наилучшим образом. По получении диплома его взяли в аспирантуру (кого было брать, как не его?), он защитил кандидатскую диссертацию, получил распределение в экономический НИИ, женился на женщине, которая снова была старше его и даже с ребенком, но она была того же круга, что он, и мать одобрила его брак.

Работая в своем НИИ, Артем довольно быстро выбился в начальники. Он вообще не мог быть рядовым сотрудником, его еще с детского сада внутренне корчило, если приходилось быть вровень со всеми. Быть хоть в чем-то как бы на голову выше других — это ему удавалось и в школе, и в студенчестве, удалось вот и придя в НИИ. Тем более что от деда, от матери, от отца ему перешла страсть к слову, и всякую возникшую в нем мысль он стремился записать, соединить ее с другими, развернуть, обосновать. Для карьеры ученого такая страсть была хорошей основой. Тем более что в стране все ощутимей потягивало ветерком перемен, оставалось только правильно и лучше прочих ловить этот ветер — чтобы он дул именно в твои паруса, а если не только твои, то в твои его попадало бы больше...

После конца СССР министерство Николая ликвидировали, и он остался без работы. Без всякой. Инфляция противу обещания людей, взявшихся осуществить в стране реформы, вместо двадцати-тридцати процентов выросла до нескольких тысяч, и двухмесячного выходного пособия, выданного при увольнении, хватило им с женой и сыном на неделю жизни. Николай перезванивался со своими бывшими товарищами по министерству, с друзьями детства — у всех была подобная ситуация, никто не знал, что делать. За годы работы в министерстве он утратил все свои давние навыки инженера, по сути, он мог теперь быть только администратором — менеджером, появилось такое слово, — но менеджером чего, в какой области? Он не понимал. Кормила семью Наталья — своим рукоделием; на гречку с квашеной капустой хватало, с картошкой уже выходило туже, картошка как-то страшно подорожала, стала просто деликатес.

И все же старые товарищи по министерству не забыли. Когда года полтора спустя началась приватизация промышленности, позвонили ему и предложили во владение заводик по производству пиротехники. Да я же приборщик, вскричал Николай, я ничего не понимаю в пиротехнике, как я буду руководить, в чем не понимаю? Ну, жди тогда, сказали ему, и больше никаких звонков не было — ни через год, ни через два, ни через три, и он наконец осознал, что больше их и не будет.

Он начал пить. К тому подталкивала и домашняя обстановка: из Средней Азии после конца Советского Союза девятым валом хлынули наркотики, и сын оказался усердным и неисправимым их потребителем. Из дома было вынесено уже все, что можно продать, не осталось и телевизора, ели кривыми алюминиевыми ложками и вилками, сбывать которые никому не представлялось возможности. Николай

устроивался то ночным сторожем в детский садик, то грузчиком в ближайший магазин, но нигде не задерживался — кому нужен пьющий сторож, да и грузчик?

Артем в эти годы сумел взлететь на самый верх властной пирамиды. Он хотел власти, и власти большой, такой, чтобы решать, чтобы делалось по его воле, а не так, как было у родителей в его детстве, когда они только могли говорить, как бы следовало сделать, — и он получил такую власть. Одной его подписью приходили в движение тысячи тысяч других людей, отправлялись поезда с товарами за границу, перемещались миллионные массы денег... он чувствовал себя стоящим не на голову выше других, не на две, а на недостижимой высоте. Институт, который он заблаговременно организовал для себя, чтобы в случае неудачи во власти было куда *пересесть*, занял то самое здание Министерства приборостроения в самом центре Москвы, в котором работал когда-то Николай. Словно бы для того и было ликвидировано министерство, чтобы было куда въехать институту.

Судьбе было угодно сделать так, чтобы, рожденные с разрывом в десяток лет, даже чуть больше, они ушли из жизни одновременно. Николай умер после операции рака прямой кишки в коридоре переполненной городской больницы. Это была его вторая операция. Первую сделали за два года до того, следовало ходить регулярно проверяться у проктолога, нет ли рецидива, но чтобы взять направление к проктологу в районной поликлинике, следовало занять очередь в шесть утра, а потом и не получить номерка по причине их нехватки, после нескольких попыток попасть к проктологу он перестал ходить в поликлинику и пропустил появление метастазов. Артем скончался в своем загородном родовом доме, куда приехала «скорая помощь» из «кремлевки», к которой он был прикреплен. Однако причина его смерти для широкой публики осталась загадкой — неофициальную версию официально никто не подтвердил. Ходили слухи, что, подобно своим отцу и деду, он любил расслабиться, употребляя высокоградусные напитки, и запорол печень.

Новодевичье кладбище стало последней точкой пересечения их жизней.

На Новодевичьем Николая должны были похоронить по праву, если так можно выразиться, рождения. У него там лежал отец, устраивавший революции в Латинской Америке, его мать, которая никаких революций не устраивала, но прожила жизнь с человеком, что был специалистом по ним, а детям таких родителей новая российская власть сохранила право быть похороненными рядом с родителями. Но еще за несколько недель до смерти, сознавая, что может не оправиться от операции, Николай взял с Натальи слово ни в коем случае на Новодевичьем его не хоронить. Не хочу лежать среди всех этих, сказал он, выразив тем свое возвращенное всей жизнью отношение к сакральному месту советской эпохи. Его похоронили за городом, на Николо-Архангельском.

Артему ложиться на Новодевичье было некуда. Не было там его родных могил. И после отставки с высокого государственного поста согласно тайному, не оглашаемому публично закону главное номенклатурное кладбище страны также было ему «не по чину». Однако окружение Артема не мыслило для него другого места для погребения. Разрешение на Новодевичье, пусть с запозданием, так что пришлось перенести похороны на день, было получено. Информационный шум в СМИ и Интернете по этому поводу был такой, словно бы главной целью и смыслом жизни Артема было это: лечь на кладбище высшей номенклатуры страны, и нигде больше.

Странна, загадочна судьба нашей птицы-тройки: только среди правящих ее полетом подрастут птенцы, за облик и поведение которых не стыдно перед другими народами и государствами, так непременно до вожжей доберутся те, что, гикнув да свистнув, направят ее все тем же путем, что и прошлые возницы.

Тимур Кибиров

Уж вечер...

* * *

Чо-то всё барахлит, не фурычит,
Не стыкуется и дребезжит...
Гамаюн ли над Волгой курлычет,
MTV ли над Обью визжит?

Неужели уже доигрались?
Мы ведь только входили во вкус,
Отрывались. И вот оторвались.
Нет контакта. Свободны от уз.

Чо-то всё зависает и глохнет
И разваливается по частям...
Знать, читали Инструкции плохо.
Да они и не писаны нам.

Гамаюн ли подводит итоги,
НТВ ли берёт нас на понт...
Знать, прошли гарантийные сроки.
Нам придётся платить за ремонт.

* * *

*В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простёр совиные крыла.
А.А. Блок*

По пустыне ледяной
Бродит человек лихой.

Обер-прокурор Синода
Распростёр над ним крыла,
Чтоб масонская свобода
Лихача не завлекла.

Потому что на осинке
Не родятся апельсинки.

Так что, брат, не обессудь —
Под совиным строгим взором,
Под надзором прокурора
Обновляй на дровнях путь.

Но с душою геттингенской
Вдруг откуда ни возьмись
Выскочил интеллигентик,
Прогрессист-экономист!

Он безбожник и ботаник
Тщится с цифрами в руках
Обеспечить процветанье
На ледовых площадях.

Наши вечные мерзлоты
Он берётся растопить,
Непогоды, недороды
В одночасье прекратить.

«Тары-бары растабары,
Изотермы, изобары!
Просвещайте тёмный лес!
Ледовито наше море
Из-за обер-прокурора —
Солнце застит мракобес!

Коль Сове подрежем крылья,
Воцарится изобилье!
Уродится апельсин
На ветвях родных осин!

И во обществе гражданском
Лиходей наш будет рад
Пить, занюхав флёр-д-оранжем,
Вместо водки оранжад!

Лихолетье наше минет!
Лихоимство запретят!..» —
Так над ледяной пустыней
Век за веком голосят.

Во местах не столь далёких,
Во последних временах
Продолжают, дурни, склоку
На отеческих гробах.

Два властителя лукавых —
Книжник versus фарисей.
Пощади Ты, Боже правый,
Нас, лихих Твоих людей!

Длится, длится спор постылый...
Полюбуйтесь, каковы —
И сова давно без крыльев,
И ботан без головы!

* * *

Ах, песенки Шуберта, вальсы Шопена,
Ах, арии Фауста и Папагено!
О! даже канкан из «Орфея в аду»!
И даже романс «Отцвели уж в саду...»

Ах, все эти тексты и все эти звуки,
Журчанье клавира, бряцание лир,
Ах, оды, эподы, секвенции, фуги,
Ах, весь этот Дант, Кантемир и Омир!

Увы, оказался совсем не бессмертным
Игрушечный, праздничный, призрачный мир,
Заученный вхруст и затёртый до дыр,
Где пел Серафим и прокудили черти.

Уж вечер, Василий Андреич. Последний
Уж луч догорел, Пётр Ильич, навсегда.
Помянем, не чокаясь, рыцарей бедных!
Последний парад наступил, господа.

И мёртвый горнист заиграл в Ронсевале —
Вставай-подымайся, бесплотная рать!
Не стоит сдаваться, мой верный товарищ, —
Князь века скомандовал пленных не брать.

Не зря ж на щите своём Ave Regina
Ты клюквенной кровью успел начертать!
Ведь с музыкой велено нам помирать.
Час пробил. И музыка нас не покинет.

Владимир Войнович

О вере, сакральности, сомнениях, насмешках и карикатурах

С неким человеком у меня был такой разговор. Он спросил меня, осуждаю ли я художников «Шарли» за их карикатуры на Магомета. Я сказал: нет. Но сам стал бы их рисовать, если бы умел? Не стал бы. Почему? Есть много вещей, которые я сам бы не делал, но не осуждаю других. Я бы не стал рисовать карикатуры на чьих бы то ни было святых, потому что мне это неинтересно и к тому же не имею желания обижать других людей без причины. Например, я говорил раньше «на Украине», но с тех пор, как узнал, что каким-то украинцам это кажется обидным, поменял предлог «на» на «в». Причина для обиды не кажется мне серьезной, но раз она есть, я готов с ней считаться. Есть русские, которых обижает то, что часть речи «русский», в отличие от всех других определенно существительных (немец, француз, украинец и т.д.) выглядит как прилагательное. Солженицын сердился на «русофобов», называвших собак русскими именами (Фома, Антон, Кеша), хотя мог бы заметить, что исконно русские люди испокон веков называли котов Васьками, кабанов Борьками, коз Машками и т.д.

Вообще национально или религиозно обидчивых людей развелось слишком много, и чем дальше, тем они чувствительней и агрессивней. В одном месте женщину могут убить за то, что она не закрывает лицо, в другом могут побить (но все же не убить) за то, что закрывает. Радикальные исповедники ислама авторов карикатур расстреляли. Некоторых воинствующих православных от подобных расправ удерживает только уголовный кодекс и неготовность за свою веру самим умирать.

В городе Туттингене, недалеко от Мюнхена, есть Евангелическая академия. В холле главного здания висит картина, на которой изображены двенадцать едоков с вилками и ножами, поедающих лежащего на столе мертвого человека. Картина очень реалистическая: куски мяса насажены на вилки, часть ребер уже обглодана. Поедаемый человек — это Иисус Христос, а поедающие — апостолы. Это, напоминая, висит не в каком-нибудь богохульном притоне, а во вполне религиозном учреждении. Насколько я понимаю содержание картины, это насмешка над католиками, вкушающими при определенных обрядах хлеб как тело Христово и пьющими вино как Христову кровь. Картина висит, католики не обижаются и никого не громят. Насмешка над святынями омерзительна, если выражается какими-нибудь варварскими физическими действиями, наносящими реальный вред предметам поклонения. Большевики смертельно оскорбляли верующих, когда рубили иконы, сбивали с колоколен кресты, а церкви превращали в свинарники или картофелехранилища. Но словесная или изобразительная

насмешка над религиозными верованиями — дело морально вполне допустимое и даже естественное. Атеист, имеющий научное представление о происхождении Вселенной, не может относиться всерьез к библейской версии сотворения мира. Он имеет право не верить в непорочное зачатие, в хождение Христа по воде «яко посуху» и воспринимать подобные рассказы юмористически. Так же, как верующий человек имеет право смеяться над теорией эволюции, происхождением человека от обезьяны и вообще над неверием, что, например, сделал Булгаков в «Мастере и Маргарите». Так вот мое мнение: сомневаться в любой вере и относиться к ней иронически можно, а к неизменным спутниками веры — ханжеству и лицемерию — тем более. Но тут важна цель. Целью может быть сомнение в данной вере, что допустимо, или намеренное оскорбление верующих, чего, я считаю, делать не стоит.

Здравому подходу к этой проблеме мешают фанатики разных вер, истинные или изображающие таковых. Эти люди, когда есть возможность использовать определенную ситуацию, стараются захватить площадку пошире и все больше людей, предметов и символов объявляют священными, неприкосновенными, защищенными от критики и от шуток. А вера может быть вовсе не религиозная, а даже наоборот. У нас еще совсем недавно Ленин, законченный безбожник, был, а для кого-то, может быть, и остался фигурой религиозного поклонения. Ему приписывались немыслимые качества, и многие люди не могли себе представить, что ему, как Марксу, было не чуждо кое-что человеческое. Помню, мама моя говорила своей подруге, что она не может себе представить, что Ленин ходил в уборную. И подруга призналась, что она тоже не может себе представить. И миллионы людей не смели даже помыслить, что Сталин (но здесь речь не о нем) может когда-нибудь умереть. Я хорошо помню время (мои детство, юность, молодые годы), когда никакая критика Ленина не допускалась, а первые фривольные шутки о нем воспринимались людьми как ужасное кощунство. И не только о нем. Один известный поэт уже в девяностые годы, когда время обольщения «героями революции» в обществе давно прошло, гордясь своей преданностью устаревшим идеалам, писал, что в молодости готов был дать в морду любому, кто позволит себе рассказать анекдот о Чапаеве.

Кто читал мои работы, тот, может быть, заметил, что я немало сил и времени потратил на феномен, который называется культом личности, на попытки понять, как этот культ возникает, развивается и закрепляется в умах людей. И как он в некоторых случаях безнадежно рушится. Как какая-нибудь неприметная личность вдруг становится предметом массового обожания, как миллионы людей начинают наделять ее достоинствами, которые в ней имеются в скромных пропорциях или вовсе отсутствуют. Ну, необязательно неприметная, бывает, что обращающая на себя внимание, но имеющая качества, противоположные приписываемым. Например, тот же Ленин. Будучи молодым и недостаточно образованным человеком, я встретил большое количество людей, которые, в отличие от меня, имели по несколько высших образований и ученые степени и прочли много толстых книг, в том числе все собрание сочинений Владимира Ильича. Они ленинские тома не только прочитали от корки до корки, а проштудировали с карандашиком в руках, что-то там подчеркивали, ставили на полях восклицательные знаки. Прочитанные фразы или абзацы оценивали как зд. отл. вел. ген., что значило здорово, отлично, великолепно, гениально. Я уже достаточно скептически относился ко всем уверениям казенной советской пропаганды и с отвращением к личности Сталина. О нем я имел свое представление. А вот Ленин... Он мне тоже чем-то не нравился. Но эти люди, которые были о нем столь высокого мнения... У меня не было оснований не доверять им, сомневаться в их компетентности, подозревать в нечестности, в корысти, предвзятости.

Они меня страстно уверяли в сверхчеловеческих интеллектуальных способностях Владимира Ильича, в том, что он действительно гений, какие рождаются, может быть, раз в тысячу лет, а и в тысячу лет не рождаются. Помню такой разговор. Некий врач, доктор наук, профессор, рассказывал мне о Владимире Хавкине, бактериологе, который изобрел вакцины от холеры и чумы, ту и другую испытал на себе, и в Индии спас от смерти миллионы людей. Я, тогда уже начавший сомневаться в Ленине, сказал профессору, что заслуги людей оцениваются несправедливо. Вот можно ли сравнить достижения Ленина и Хавкина? Хавкин спас от чумы миллионы людей, а Ленин? Мне мой вопрос казался вполне невинным, но профессор воспринял его как чудовищное кощунство. Он вскочил на ноги, замахал руками, засверкал глазами. «Хавкин, — закричал он, — спас миллионы людей, а Ленин избавил от чумы все человечество!»

Другие люди, пытавшиеся меня просветить, говорили, что Ленин величайший гений всех времен и народов. В его трудах есть настолько исчерпывающие ответы на все вопросы, что, освоив эти труды, ничего другого можно уже и не читать. Он предсказал развитие человечества на много десятилетий или даже столетий вперед.

Мнение этих людей меня сильно смущало. Оно противоречило тому, о чем мне говорило мое собственное, но некомпетентное представление о предмете. Но кому я должен был поверить, самому себе, не прошедшему полностью даже среднюю школу, или им, много прожившим, много чего испытавшим, прочитавшим и заучившим все его многотомные сочинения наизусть? Я спрашивал, как же так? Неужели он все предвидел? Предвидел сталинскую диктатуру, колхозы, концентрационные лагеря, террор тридцать седьмого года? Некоторые выходили из положения так: он предвидел все, но вот перерождения партии представить себе не мог. То есть, если бы партия не переродилась, было бы все, как он предсказывал. Или не ожидал, что крестьянство окажется таким консервативным, а городская среда столь мещанской. Но, спрашивал я этих людей, если он не представлял, не предусмотрел и не ожидал, в чем же тогда его гениальность? Ведь гений — это человек, который представляет, предвидит и предусматривает. В конце концов эти большеголовые люди останавливались и, не зная, что мне ответить, или сердились, или прекращали разговор и смотрели на меня с сожалением и насмешкой, как на человека, не способного усвоить очевидное, и советовали мне читать Ленина, вникнуть в Ленина, тогда истина откроется мне во всем своем ослепительном блеске и мне не придется задавать те наивные вопросы которые я задаю теперь.

Мой старший друг Игорь Александрович Сац завидовал мне, что мне еще предстоит открыть для себя Ленина и испытать то величайшее счастье первооткрытия, которое он, Игорь Александрович, уже испытал. Я спрашивал его: а сейчас, читая Ленина, разве вы не испытываете того же чувства? Он объяснял мне доходчиво, что когда человек в тысячный раз занимается сексом, он испытывает удовольствие, но оно несравнимо с восторгом первого раза. Разумеется, Сац так же, как и его единомышленники, был уверен, что Ленин был человек добрый, по словам Маяковского «самый человечный из всех прошедших по земле людей». Это поддерживалось и официальной пропагандой.

Дальнейшее знакомство с делами и словами вождя, как его называли, мировой революции привело меня к открытию, что Владимир Ильич не только не был гением, но и миф о доброте его был неизвестно на чем основан. Нет, не добрым и не самым человечным был этот человек, а холодным и жестоким массовым убийцей, что ни от кого не скрывалось и подтверждено его опубликованными многими записками насчет необходимости беспощадного красного террора, указаниями разным функционерам новой России расстрелять белогвардейцев,

кулаков, попов, проституток и прочих. Именно не привлечь к ответственности, не судить, а расстрелять и без проволочек таких-то и таких-то с уточнениями вроде «чем больше, тем лучше», с определением приблизительного числа: «пятьдесят или сто», то есть скопом. И ведь все это было напечатано во всех его собраниях сочинений, и все это те самые образованные лениноведы читали, подчеркивали, заучивали — и что? Они не понимали смысла этих записок?

Когда было (не полностью, но в значительной степени) покончено со сталинским произволом, когда стали говорить о гуманизме и справедливости, это называлось возвращением к ленинским нормам. Считалось, что теперь наказывать человека по ленинским нормам, это значит — за реальные преступления, по закону и в соответствии со статьями уголовного кодекса. Но как раз именно при Ленине нормой стало абсолютное беззаконие, когда велено было какую-то категорию людей расстреливать скопом без всякого персонального разбирательства, когда судьям велено было руководствоваться своим революционным правосознанием. А теперь я выскажу самое мое кощунственное мнение: Ленин был не только не гением, но и ума не слишком большого. Ума ему хватило только на интриги по захвату и удержанию власти, но не на то, чтобы понять или поверить более умным людям, что насилие родит насилие и зло порождает зло. Что насилием ничего похожего на общество свободы, равенства, братства, справедливости и изобилия построить нельзя. Можно было создать только общество, где процветали страх, ложь, лицемерие, ханжество, воровство, стукачество, недоверие людей друг к другу и неверие ни во что. Что и было создано в результате семидесятилетнего насилия над большим народом. Если и оставались в этом обществе относительно честные и гуманные люди, то только вопреки, а не благодаря системе, все-таки не сумевшей за семьдесят лет окончательно вытравить в людях все человеческое. Так я еще раз самого себя спрашиваю: как могло случиться, что десятки лет миллионы людей поклонялись этому чудовищу и считали его уникальным носителем всех человеческих добродетелей? Ну, допустим, ладно, так называемые простые люди, сами ничего не зная, доверяли более образованным и более, как они думали, умным. Но образованные и умные читали труды своего кумира, в которых черным по белому было написано: повесить, расстрелять, поставить к стенке. Почему они читали одно, а прочитывали другое? А вот как раз потому, что людям был доступен только один взгляд на эту личность (как и на личность Сталина). Сомневаться в достоинствах, критиковать ее, а тем более подвергать насмешкам в анекдотах и карикатурах считалось ужас каким кощунством.

Феномен кумиротворения меня занимает давно. Стремление возвести ту или иную личность в ранг культовой кажется мне нашей главной бедой, родом национальной болезни, от которой мы не можем никак излечиться и отчего наше общество в целом остается безнадежно невзрослым. Оно всегда ищет и, в конце концов, находит очередного дядю, который все знает, все видит, все предвидит, в ком нельзя сомневаться и над кем, как над священной коровой, нельзя шутить. И чем больше нельзя, тем более он, не библейский пророк, а живой человек, достоин непочтительной критики, насмешек, анекдотов и карикатур. Кстати, карикатура — это один из важных индикаторов состояния общества.

Если в обществе есть один человек, которого нельзя изображать карикатурно, значит, в этом обществе что-то не так.

Эргали Гер

Каждому писателю нужен журнал

В 1974 году, когда я поступил в Литинститут, редакция журнала «Знамя» располагалась в красивом двухэтажном особняке, примыкавшем к усадьбе Яковлева. Дубовая парадная дверь с надраенной медной ручкой распаивалась на Тверской бульвар. Безалаберные студенты, мы косились на эту дверь, как в трюм адмиральского катера, и бежали по своим делам мимо. Другие двери в ста метрах от «Знамени» — в уютнейшую на свете шашлычную «Эльбрус» — были желаннее и милее.

Парадный советский стиль, парадная литература — это был явно не мой журнал. Я мечтал напечататься в «Новом мире», в тогдашней «Юности», а в «Знамени» не хотел. Там правил Вадим Кожевников, ставший главным редактором задолго до моего рождения. Когда, через восемь лет, я окончил наконец институт, он все еще там сидел. Было что-то незбылемое в этой надраенной меди (привет от Всеволода Вишневского). А вот шашлычную жалко — стоило отлучиться на два года в армию, как «Эльбрус» снесли подчистую. Камня на камне не оставили от «Эльбруса».

Вовнутрь особняка я попал под занавес перестройки, когда там обосновалось кооперативное издательство «ПиК». Разочарование было чувствительным. Выбитый паркет, обшарпанные переходы, скрипучие лестницы. Пахло в особняке не боевым крейсером, а жэковской конторой. Там же Александр Евсеевич Рекемчук выдал мне первый в жизни по-настоящему крупный гонорар — четыре тысячи павловских, павлиньих рублей. Таких нарядных, таких радужных, словно их Глазунов рисовал. Кооперативное издательство заплатило мне, автору-дебютанту, по пятьсот рублей за лист — по ставке лауреата Ленинской премии. В общем, я застал конец эпохи большого стиля.

«Знаменем» в те годы руководил Григорий Яковлевич Бакланов. Это уже было другое «Знамя» — с другими авторами, с тиражом под миллион. Крепко проспиртованный водкой — даже мне, со всеми моими талантами и друзьями, пропить четыре тысячи рублей в 91-м году оказалось непросто — я пришел на улицу 25 Октября, куда переехала редакция «Знамени», и на голубом глазу предложил отделу прозы рассказ из книги, которая должна была выйти в издательстве Рекемчука.

Хорошо, что я не пошел напрямую к Григорию Яковлевичу, который когда-то принимал меня в Литинститут, а потом, когда меня исключали, добился восстановления. Все-таки даже в 91-м году четыре тысячи рублей были не такие большие деньги, чтобы окончательно пропить разум.

Через месяц мне позвонили и сказали, что рассказ понравился. Гонорар к тому времени уже весь вышел, я был трезв как стеклышко. И честно признался,

что подсунил рассказ из книги, которая вот-вот выйдет. «Вообще-то так не делается», — сказали мне укоризненно. Дальше не помню.

Самое смешное, что книжка так и не вышла. Набежало столько бурных событий, что она утонула вместе с издательством. Столько бурных событий, что даже пожалеть ее было некому, да и некогда.

Свой роман со «Знаменем» я отсчитываю с 94-го года — хотя, как видите, кое-что и до этого было.

Между прочим, если кто не понял, я тут вполне о серьезных вещах рассказываю. Писатели, они ведь сплошь бирюки. Другой такой работы, замыкающей на себя, обрекающей человека на одиночество, я просто не знаю. Сапожники, часовщики, композиторы по сравнению с нами — публичные люди. До тридцати лет еще так-сяк, а ближе к сорока — пиши пропало. Писал, писал — и пропал. В том смысле, что ушел в себя окончательно. Работа зажевала.

Потому каждому писателю нужен журнал — дырка в конце тоннеля, через которую он время от времени выглядывает на свет. Сообщество близких по духу людей, с которыми можно даже не разговаривать, потому что они и так про тебя все понимают. И в каждом настоящем писателе с юности включается некий такой приборчик слежения-опознавания, реагирующий на сигналы «свой — чужой». Писатель определяется со своим ближним кругом (журналом, сайтом). Славянофилы, патриоты, западники, либералы, модернисты, постмодернисты — каждому дерьму своя гавань, как говорила одна знакомая. Так это делается в России. Литературные журналы подобны мощным магнитам, не только удерживающим, но и структурирующим плазму литературной жизни. Именно они перерабатывают мыслящую протоплазму в новое состояние материи.

За те двадцать лет, что я сотрудничаю с редакцией «Знамени», я сам изменился куда сильнее, чем журнал. И то, что меня до сих пор привлекают там, свидетельствует о том, что либерализм мы понимаем примерно одинаково — как широту взглядов прежде всего. Во как я о себе хорошо выразился.

Не могу отказать себе в удовольствии поздравить журнал «Знамя» с тысяча первым номером. По этому поводу готов выпить и за Всеволода Вишневского, и даже за Вадима Кожевникова. И уж тем более — за всех последующих знаменосцев.

Денис Драгунский
Телефункен

Перед Новым годом, а именно тридцатого декабря, Сергей Степанович ездил к тете Нине с букетом и коробкой конфет.

Он с утра выходил на маленький рынок, который был совсем рядом с домом, около автобусных остановок, и покупал букет — крепкие хризантемы. Тетя Нина любила такие, они долго стояли. Потом он еще раз выходил из дому, покупал конфеты в соседнем магазине. Потом заказывал такси на два часа дня — и обратно, на четыре тридцать.

Дело в том, что Сергею Степановичу было уже восемьдесят три года, а тете Нине, вы не поверите — сто два! В позапрошлом году юбилей справляли. Скромно, но достойно. В ресторане. Тетю Ниночку везли туда на коляске, потому что ресторан был через два дома, и было лето.

Все по струнке ходили перед тетей Ниной.

Вдова атомного академика, который вдобавок был генералом, она жила в старом — но советской постройки — доме в начале Ленинского проспекта, в пятикомнатной квартире, роскошной и неудобной. Там почти все комнаты были смежные, и тетя Ниночка жила в самой большой, с тремя дверями. Главные двери, стеклянные и двустворчатые, смотрели в холл. Стекло изнутри было закрыто атласными занавесками на красивых латунных прутиках. Как только в холле слышались голоса, а значит, кто-то приходил или уходил — тетя Нина тут же подкатывалась на своей коляске к двери и пальцем отодвигала занавеску. Наблюдала, кивала, шевелила губами.

Другая дверь вела в некую изначально вроде бы гостиную — хотя трудно понять замысел великого советского архитектора Щусева, наворотившего такие анфилады. Там жила совсем дряхлая внучка мужа от первого брака, вдова. Эта дверь была всегда заперта, но ключ был у тети Нины. Слава богу, у этой комнаты была еще одна дверь — тоже стеклянная и тоже занавешенная — выходившая тоже в холл, но под углом к тети-Ниночкиной. А уже из внучкиной комнаты шла дверь в бывший кабинет генерала-академика, там жил правнук с женой, так что им приходилось пробираться мимо мамы.

Третья дверь тети-Ниночкиной комнаты смотрела в коридор; там были еще две двери, за которыми жила праправнучка с мужем. Спальня и еще что-то маленькое, с узким окном, бывшая комната для домработницы.

Тетя Нина всегда держала эту дверь открытой. Для свежего воздуха. Потому что ее окно выходило на Ленинский, там круглые сутки грохот и гарь, а через коридор была кухня с окном в зеленый двор.

Никто не перечил тете Нине. И она никого не боялась. Не боялась, что ее закинут в богадельню, или не вызовут вовремя врача, или еще каким-то способом сживут со свету и завладеют ее имуществом. Она была хитрее всех. В начале шестидесятых, когда умер ее муж, а ей было едва за пятьдесят, она на все его деньги, на все сталинские и ленинские премии, купила десятка три картин художников Фалька, Поповой, Гончаровой и Ларионова — и через знакомого советского разведчика переправила их в город Цюрих, где они были спрятаны в банке. И составила завещание: чем дольше она проживет, тем больше денег от проданных картин достанется наследникам. Сроку она себе положила сто пять лет — вот тогда сто процентов.

То есть оставалось целых три года, но в прошлый раз она призналась Сергею Степановичу, что неважно себя чувствует и на многое не рассчитывает.

Сегодня Сергей Степанович вспомнил этот разговор, потому что тетя Ниночка стала совсем кожаная, почти крокодиловая. Темно-коричневые квадратные рубцы покрывали ее лицо. Глаз почти не было видно — синие точки в глубине складчатых щелочек. Сергей Степанович вздохнул и отвернулся.

На тумбочке стоял большой старинный радиоприемник красного дерева.

— «Телефункен»? — спросил Сергей Степанович.

— Да, — ответила тетя Ниночка. — Там написано.

— Трофейный?

Но это спросил не Сергей Степанович, а Сережа, это было утром, в воскресенье, двадцать пятого сентября сорок девятого года, он приехал к тете Ниночке, она была сводная сестра мамы. Она им помогала. Ее муж, дядя Юра, был генерал-лейтенант, и они получали очень хороший ведомственный паек. Было неприлично положить консервные банки в кошелку и уйти, поэтому он мялся в прихожей, косясь на стеклянные двери, и спрашивал, как дела, как дядя Юра.

— Дядя Юра два месяца в командировке, — сказала тетя Нина. — Чаю выпьешь?

Потом сидели в большой комнате с тремя дверями. Тетя Нина на диване — вот на этом самом, который сейчас! — Сережа в кресле, а рядом, на тумбочке, стоял красивый немецкий радиоприемник.

— Трофейный? — спросил Сережа.

— Нет, — ответила она. — Дядя Юра не был на фронте. Это подарок.

Сережа чуть пожал плечами. Генерал — и не был на фронте?

Тетя Нина засмеялась.

— Сегодня чудесный день! — сказала она, вскочила с дивана, взяла с комода газету и сунула Юре под нос, тыча пальцем в какое-то сообщение ТАСС. — Читай, читай!

Там было что-то очень затейливое и даже ироничное, вроде того, что «атомная бомба уже давно не является секретом» — но смысл понятен, ура, наконец-то!

— Ого! Правда? — обрадовался Юра. — Ура! Ура-ура, у нас есть бомба!

— Дядя Юра станет генерал-полковником, — тихо сказала тетя Нина. — Получит Сталинскую премию первой степени. И орден Ленина, обязательно. Или даже Золотую Звезду Героя Труда...

— А почему вы так грустно вздыхаете?

— Ты еще маленький, тебе не понять.

— Мне семнадцать лет!

— Маленький, маленький... — она обняла его за плечи, прижалась щекой, зашептала в ухо: — У тебя уже есть девушка? Ты понимаешь, о чем я?

— О чем? — Сережа не понял и чуть отстранился, а она обнимала его, прижималась к нему вся и шептала: — Вот я и говорю, совсем маленький, ты меня

должен слушаться. Ну-ка, — она оттолкнула его, вздернула юбку и приказала: — Поцелуй ножку!

Сереже было стыдно, что у него такие большие сатиновые трусы. Папины. И еще стало обидно, когда она потом, ловко извернувшись, вытащила из-под вышитой подушки свежее махровое полотенце. Значит, она заранее всё знала? Готовилась? Но она очень красивая была и сладкая. У него больше никогда не было таких девушек, и женщин таких тоже, во всей его длинной взрослой жизни. Они с тетей Ниночкой еще два раза вот так встречались, в этой комнате, всего, значит, три раза, а в последний раз она пальцем провела ему по губам сверху вниз — плям! Засмеялась и сказала: «Женись, маленький! Но в гости все равно приходи!».

Он женился, конечно же. И в гости приходил, с женой, с женой и сыном, и с внуками, и, честное слово, руку на сердце положи — начисто забыл этот милый и глупый случай.

А вот теперь вдруг вспомнил.

— Тетя Ниночка, — сказал он. — Двадцать пятое августа. Атомная бомба.

Сполз со стула и сел на пол перед ее коляской.

— Чего тебе? — спросила она.

Он поцеловал ей коленку, твердую, как будто железную, у него потемнело в глазах и сильно стиснуло сердце. Он подумал, что это прекрасная смерть, у ног первой и самой любимой женщины, но из последних сил поднял голову, а она снова провела ему пальцем по губам. Плям! Она засмеялась, тьма вдруг отхлынула, стало легче дышать, и он понял, что жизнь все еще продолжается — больно, унижительно, нестерпимо.

Но терпеть оставалось совсем недолго. Минут пять.

Анатолий Королев

Имя Розы

эссе

А)

В своем трактате о человеческих именах Павел Флоренский в частности посвятил одну из главок анализу имени Василий. Мысли Флоренского настолько точны и внезапны, что сумму его размышлений о *Василии* можно вполне прочитать как беглый, но весьма точный *психо-физио-философский* портрет Василия Розанова.

Вкратце анализ имени Василий поставлен на семь краеугольных точек опоры.

1. «Василий значит царственный, царем его делает умение видеть мир сверху. Имеется в виду не банальное достоинство или величие, а «необходимая царю способность охватывать с некоторой высоты широкий кругозор». (Павел Флоренский. «Имена», Москва, 2001, издательство «Фолио», с. 140–146).

Этот кругозор с высоты априори свойствен Розанову и не требует каких-либо других доказательств, как и уточнение Флоренского о том, что

2. Интеллект Василия «быстро схватывает отношение вещей, людей и событий, не теряется в многосложности жизненных отношений».

Но...

Но, по Флоренскому, задачи Василия сосредоточены в основном не в метафизике или в сфере естествознания, а в области культуры. И это уточнение тоже соответствует нашему пониманию Розанова, который в первую очередь не теолог или натуралист по моде того времени, а именно культуролог, если говорить современным языком. Но культуролог в его идеальном высшем смысле, не как исследователь культуры, а как ее порождающее из исторической пены творящее начало, как сам логос в античном прищуре становления бытия. В случае Розанова можно говорить о целом вулканическом материке розановской культуры.

3. Третьим пунктом интеллектуального своеобразия Василия Флоренский считает «хитрость». Он пишет так: «Ум Василия с большой постепенностью переходит в интуицию, угадку, инстинкт, даже хитрость».

Хитрость Флоренский понимает весьма широко — как маневр, как сумму интеллектуальных шагов в деле постижения истины. Это и система тактической гибкости и принорования, это и отрицание прямой линии логики, это и

упование на зигзаги, и равнодушие к правильности путей, это, наконец, способность быстро отступить при встрече с препятствием, это умение идти в обход проблемы, готовность кружить вокруг нее, подобно тому, как охотник скрадывает зверя.

«Сама ее корявость и извилистость ее путей, — пишет Флоренский об умственной деятельности Василия, — дают ощущение жизненной приспособленности, деловитости, а при более высоких достижениях и мудрости».

Этот довесок мысли Флоренского тоже не требует особых доказательств. Всем, кто знаком с Розановым, понятно, что он не будет шагать напрямик к сфинксу и — в остановке вопроса — лицом к лицу требовать ответа от бездны. Нет, Розанов при виде сфинкса ведет себя как охотник, он заходит в тыл вопроса и даже старается подслушать разговоры бездны с новой жертвой, перехитрить высшую мысль, увидеть в сфинксе лицо павиана и уже с этим павианом вступить в общение накоротке.

Это как раз очень по-розановски.

4. Следующий, четвертый луч света Флоренский бросает на понятие должного принципа и выражение личного начала в имени Василий. Тут, пожалуй, мы впервые переживаем чувство внутреннего несогласия с Флоренским. Так, он пишет: «Разум, которым он действует в мире и который есть, по собственно-му его сознанию, его *должность* в мире, как бы царский сан и свои чувства, лично свои и для себя, хранимые нежностью, меланхоличность и субъективная тонкость их не должны отражаться на проявлении личности вовне, на целесообразном ходе всей деятельности».

Ну уж нет!

Это отсутствие личного «вовне» никак не приложить к Розанову, как раз наоборот, он, может быть, единственный из русских мыслителей, который как раз брюхом личного пишет, через страстное выражение мельчайших брызг личного чувства охватывает предмет мысли так, как окатывает голову в парикмахерской душ пульверизатора.

Прежде всего Розанов интересен как переживание мысли, как вывернутый желудок философии, а уж потом следует все остальное.

Но и не доверять гению Флоренского в анализе имени, в его глубоком чувстве сакрального было бы слишком самонадеянно.

И все-таки выход есть.

Пожалуй, разрешение проблемы в том, что у Розанова не одно имя Василий а два, ведь он Василий Васильевич. В этом противостоянии двух царей, возможно, и скрыта разгадка. Ясно, что между ними борьба, ясно, что Василий-отец, порождая Василия-сына, относится к нему, с одной стороны, как к наследнику и первенцу, а с другой стороны, — до поры до времени отказывает ему в праве на царский престол и ущемляет в правах. Это ущемление идет как раз за счет изъятия личного права, за счет умаления должности царского сына, опускание его царственности в состояние безличного, в фазу ожидания престола.

Это сравнимо с положением наследника Павла при царственной матери Екатерине. Мать надолго стреножила ожидания сына. Нависшее отторжение от трона взвинтило психику Павла до состояния этической паники. Вот почему, придя к власти, он сделал империю выражением и продолжением собственных фобий... Что ж, в известном смысле культурная империя Розанова тот же результат персональной взвинченности, пылкое месторасположение обид, продолжение и обетование его личных страстей.

В зоре между двумя Василиями собственное имя — Розанов — стушевано, стреножено, вот тут-то опечатанная меланхолия — пробкой шампанского — и вырывается вовне.

5. Следующее замечание Флоренского выглядит весьма неожиданно, философ пишет, что «Василий — синий». И расшифровывает свои слова таким образом, что только лишь увеличивает густоту мысли:

«Он облачается синею маской суровости и жестокости, стараясь сокрыть себя от себя тяжеловесной монументальностью, порою даже жестокостью. Шипы этой суровости направлены, однако, внутрь не менее, чем наружу, они колют при нажиме на внешний мир и самого колющего».

Здесь Флоренским угадано до самой дрожи и опоры.

В этом колебании шипов и уколов чувствительности — сам творческий дух Розанова и его розановское понимание жизни как распятия, распятия на проблеме, на чувстве. Отсюда его православная жизнь как подражание Христу, но не в том средневековом повседневном смысле, о котором писал Фома Кемпийский, а в подражании Христу в миг его ранения, экстатически, в миг скорбного восклицания: Боже, зачем ты оставил меня?

Если сравнить христианство с телом Христовым, то место России, скорее всего, именно в области раны от римского копья, да, да, тяжелая участь, но без раны никакой Христос невозможен. Так вот Розанов — в сакральном ключе — как раз философ этой вот раны.

Но как понимать слово «синий»?

Флоренский шифрует: «В Василии легко может развиваться мрачность, мрачное ощущение обреченности всего заветного и полная фатализма бездейственность в отношении другого».

Действительно так. Вдумываясь в эту развертку понятия «синий», мы можем согласиться с тем, что — да! — часто Розанов впадает в полное отчаяние и взвинченность почти что эсхатологическую. Не отсюда ли его мрачные видения будущего или, например, такой безнадежный трактат, как «Апокалипсис нашего времени»? Он как никто чувствовал обреченность русской истории. Больше того, скажем, что, в момент мрачного взлета философ предчувствует даже обреченность христианства и переживает страстные сомнения в Спасителе.

Он синий, как грозовое облако на фоне лазурного неба, это синее уже почти что чернеет. Из какой же душевной топки синего пламени могли вырваться, например, такие слова:

«Христос не посадил дерева, не вырастил из себя травки, и вообще он без зерна мира, без — ядер, без — икры, в сущности, не бытие, а почти призрак, и тень, каким-то чудом пронесшаяся по земле. Тенистость, тенность, пустынность Его, небытийственность сущность Его. Как будто только Имя, “рассказ”». (Василий Розанов. «Уединенное», Москва, 1990, Политиздат, «Апокалипсис нашего времени», с. 400).

За такие слова наше православное священство, в прежние годы, могло и от церкви отлучить. Хотя тут видна еще и полемическая искренность, что свойственна Розанову, — умение заострить мысль до святотатства, почти до кощунства, чтобы потом сильнее ее же отвергнуть. Но не всегда удается зачеркнуть перунам свою же молнию. Не всегда.

Но и то ясно, что Василий в русском космосе цветет ярко-синим огнем, цветом, взятым взаймы от василька во ржи, колоритом из сини резного сапфира на стебле, их рифма «Василий/василек» только синяя, ультрамариновая, а уж никак не желтая или черная. Тут византийский Василевс-царь, как лев сновиденья или как птица сирий из сказки, попадает в тенета полевых цветов, в силки душистого горошка, в клей клевера.

6. Шестым шагом анализа Флоренский отмечает самую низкую телесную точку, скрытую в имени Василий, а конкретно — тяготение к вину, «но это не

есть просто склонность к веселью, хотя бы искусственному, не поиски вкусовых ощущений; Василий хочет опьяняться, ищет чрезвычайной встряски и под конец забвения, — чтобы можно было, не думая о невыразимости невыразимого, — все же выразить его».

С этим прозрением Флоренского, полагаю, будут согласны все знатоки Розанова. В этом ракурсе Розанов самый запойный русский пьяница мировой истины, он второе издание Омара Хайяма, который считал лишь опьянение единственно чистой молитвой.

А днищем этого интеллектуального пьянства от опьянения истиной, действительно, становится забвение, даже смерть, гробница, могила, откуда Розанов поднимается в судорогах воскресшего тела из пещеры, как Лазарь на оклик Христа: Лазарь, иди ко мне.

И последняя точка Флоренского.

7. Василий «отменяет со властью обязательное для других, отменяет норму, запрещает запрет, который только что насаждал».

«Но это не значит, будто Василий не способен грешить. Конечно, нет. Однако его грех совершается им не случайно, а планомерно: этот грех не происходит как случай, но соизволяется как естественное последствие, как необходимость, как неотменимое звено на принятом пути и потому — по-своему разумное и организованное».

Этому прозрению Флоренского можно было бы заплодировать.

Действительно, Розанов меньше всего святоша и девственник мысли, нет, он буйный грешник, для которого впадение в грех, в святотатство даже, в припадок очередной черноты и отрицания света есть всего лишь походка мысли, тактика переигрывания сфинксов, сеть силков, которой птицелов ловит истину, прикидываясь мертвой белой вороной.

В)

Теперь оглянемся на мысли Флоренского уже через чувство самого Розанова, и вот первая неожиданность, он воспринимал свое имя скорее не как Василий, а как Розанов и имя это вызывало в нем чуть ли не проклятия.

Вот что он пишет в «Уединенном» (Василий Розанов, там же, «Уединенное», с. 33).

«Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываю «В. Розанов» под статьями. Хоть бы «Руднев», «Бугаев» что-нибудь. Или обыкновенное русское «Иванов». Иду раз по улице. Поднял голову и прочитал:

Немецкая булочная Розанова.

Ну, так и есть: все булочники Розановы и, следовательно, все Розановы — булочники. Что таким дуракам (с такой глупой фамилией) и делать. Хуже моей фамилии только «Каблуков», это уж совсем позорно.

Потому

СОЧИНЕНИЯ РОЗАНОВА

Меня не манят. Даже смешно.

Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько раз я гимназистом простаивал (когда ученики разойдутся из гимназии) перед большим зеркалом в коридоре — «и сколько тайных слез украдкой я пролил».

Итак, чувства Розанова к «Розанову» обозначены внятно, но никак не понятны. Совершенно непонятно, почему Розанов звучит и смотрится «отвратительно»? Заглянем в словарь... «розан — та же роза», только в устаревшей форме. То есть имя читается в контексте легендарного цветка, розы, озарено ее красотой... почему же тогда отвращение?

Может быть, дело в сленге? Ведь одно из значений и отражений имени розы, это «влепить розанчик», то есть поцеловать. Тут разом колетса усатая тень от гусарской щетины. Может быть, Розанову в этой фамилии мерещится «поцелуй», «Поцелуйчиков»?

Василий Поцелуйчиков. М-да... действительно противно.

Но это скорее догадки.

Пожалуй, все строже и проще, Розанову в восприятии своего имени неприятна именно соотнесенность себя с красотой, символом которой издревле выступает именно *роза*, и уже как отдача — взгляд на свое собственное лицо, на свой мизерабельный вид, на внешнюю непривлекательность.

В этом контексте имя Розанов для Розанова может читаться как развернутое отрицание: «Вот тот, кто носит имя красоты, но имеет внешность сатира и не достоин такой опеки сакрального имени».

Согласимся с этим чувством гимназиста, но и тут же заступимся за Розанова «не гимназиста».

С синей высоты эфира «имя Розы» имеет совсем другой вид.

Перед нами на колючих кустах судьбы, на терниях, на частоколе терновника (тут уже рдеют и капли страстей Христовых) раскрывается роза, женское начало любви, приманка, ловушка нектара, половой орган цветка. В мужском имени Розанов открывается воронка женского имени, причем древнего, возможней всего, иудейского имени и уж точно восточного, а не северного — РОЗА. Эта роза делает феномен Розанова парадоксальным слиянием, соитием, эмблемой женского и мужского начала. Оно увеличивает во сто крат всеохватность этого имени. Роза окольцовывает пространство. Роза — вход в тайну. Роза даже может читаться как путь в матку истины, в святая святых.

Эта ужаленность Василия женским именем Роза и создает тот поразительный эффект спиритуальной половой манкости и энергии розановской мысли. Возможно, в этой ранке гнездится увлечение Розанова иудаизмом, не отсюда ли его крик: Все! Ухожу в еврейство.

Итак, синее имя Василий в соотнесении с алостью Розы порождает из точки творящего имени феномен радужной розановской мысли, на цвет, запах и крик которой вот уже который год летят медоносные пчелы читателей и почитателей Василия Розанова, сине-розового херувима отечественной культуры.

Михаил Кураев

Всплывший камень

рождественская быль

Чувство родового сиротства, невозможности толком разглядеть фамильные корни хотя бы на три-четыре поколения, преследует всю жизнь. Обе бабушки погибли в Ленинграде во время блокады, а оба деда и до войны не дожили. Особенно остро чувствуешь это сейчас, когда уже не стало тех, кто мог бы вспомнить, рассказать, объяснить... Пока были живы родители, тетушки, казалось, что калитка в прошлое так всегда и будет открытой. Ан нет! Занавес опущен, и за него не заглянешь.

Верующим людям проще, они уповают на встречи по ту сторону земной жизни, открывающие массу возможностей, в том числе и пополнения знаний о своих предках. Только много ли нынче наберется верящих в такие чудеса.

Написал и подумал — неплохое начало для рассказа о чуде.

Хорошая вещь — e-mail, получил письмо, тут же ответил, и тебе ответят... Получаю весточку из Москвы, коллеги из Союза российских писателей спрашивают, можно ли дать мой адрес обратившемуся к ним неведомому человеку. Неведомый этот человек готов поделиться со мной сведениями о моем прадеде. Отвечаю в ту же минуту. И еще через десять минут, ну, может быть, двадцать, получаю письмо, автор которого сообщает о том, что разыскал меня благодаря опубликованной в свое время в журнале «Знамя» документальной повести «Жребий № 241». Да, это была попытка, пусть только в воображении, пожить немного при живых бабушке и дедушке. Жребий № 241 был вытянут моим дедом, Николаем Никандровичем, при определении на воинскую службу. И когда в 1904 году грянула злосчастная война с Японией, деду, в ту пору земскому врачу, выпало из Воскресенска, нынешней Истры, отправиться врачом в 3-й Верхнеудинский казачий полк и уже вместе с полком в Манчжурию. Повесть же родилась из писем деда с войны к своей невесте, ставшей по окончании войны его женой, а еще позднее моей бабушкой. Из обширной переписки жениха и невесты, на два года разлученных войной, сохранилось немного, писем сорок, и только письма деда. Был в повести упомянут и мой прадед, Никандр Акимович, о котором имел скудные и не очень достоверные сведения.

Среда, 24 июля 2013

Уважаемый Сергей Мамаев! Извините, отчества не знаю. Буду Вам крайне признателен, если сообщите всё, что Вам известно о моем прадеде и источниках Ваших сведений. Увы, мои сведения крайне скудны.

*С уважением
Михаил Кураев*

Много лет смотрит на меня Никандр Акимович с единственной сохранившейся фотографии. Судя по тому, как сидит и как смотрит, — человек твердого нрава. Судя по письмам, унаследовал нестигаемый характер и его младший сын, мой дед. В твердости нрава моего отца имел возможность убедиться многократно. Никандр Акимович снят с сыновьями. Легко догадаться, что фотограф молодым людям четко разъяснил, как надо сидеть, стоять и смотреть. Так они и сделали. Младшему, Николаю, выпало сидеть на венском стуле, к спинке не прислоняясь, правую руку велено положить на круглый цветочный столик с белой кружевной салфеткой и кисть руки с края столика опустить вниз. Смотреть — прямо. Его старший брат, Сергей Никандрович, стоит позади столика, левой рукой касается кружевной салфетки, а в правой держит поставленную на ребро книгу. Рослый, стройный юноша с одухотворенным лицом. Слегка развернут влево, и смотреть велено влево. Так мимо нас и смотрит. А вот как сидеть Никандру Акимовичу, едва ли подсказал фотограф. Плотно сидит на стуле мой прадед, ноги расставил, руки на груди скрестил, смотрит в упор. Усы и борода коротко стрижены. И хоть волос над высоким лбом всего ничего, лыс, а лицо молодое. Сколько им, моим предкам, в жизни со мной разминувшимся, на этой фотографии? Приходится гадать. Николаю Никандровичу, моему деду, здесь лет тринадцать. Должно быть, семинарист. Сергею Никандровичу лет восемнадцать-девятнадцать, еще не студент, но уже под белым воротником рубашки черная полоска галстука. Вот и усы пробиваются. Лик юноши серьезного, целеустремленного. Никандру Акимовичу здесь едва ли лет сорок. Фотография исполнена дома, поскольку на стене три домашних фотографии в рамах. Этот ряд с едва различимыми лицами — тот горизонт, за который уже не заглянуть и не узнать, кем же приходится мне дама с высокой прической. Где на групповом снимке, по-видимому, выпускников или коллег моя родня? И что за бородач сидит в уличном кресле, и кто эта дама в белом, что стоит рядом и держит за руку девушку лет четырех-пяти, тоже по-летнему в белом. Все они — мои, наши, но кто?

Дед мой на фотографии чуть щурится, что придает лицу *монголинку*. Ловлю себя на том, что юные Сергей Никандрович и Николай Никандрович похожи на Александра и Владимира Ульяновых на юношеских фотографиях, особенно похожи старшие. И жизнь дяди Сережи окажется тоже короткой. Умрет на последнем курсе Юрьевского университета накануне очередного экзамена, прилег, как говорится, вздремнуть и не проснулся, остановилось сердце. Вот и прадеду, Никандру Акимовичу, выпали огорчительно краткие годы жизни, хотя успел увидеть своего младшего сына, окончившего медицинский факультет Харьковского университета, полноправным врачом...

Среда, 24 июля 2013

Здравствуйте, Михаил! О том, что Никандр Акимович Ваш прадед, я узнал из Вашей книги «Жребий № 241». А с Никандром Акимовичем меня связывает проект «Утраченный Божий Дом», которым я со своим коллегой сейчас занимаюсь в рамках своей краеведческой деятельности. Целью проекта является нахождение мест нахождения уничтоженных в годы советской власти православных церквей и часовен на территории Истринского района Московской области (здесь я и проживаю).

Теперь ближе к делу. Одним из объектов нашего исследования является утраченный Успенский храм в селе Ивановское. Далее самое интересное. На месте, где стоял этот храм, сохранились до сих пор два дореволюционных надгробия. На одном из них надписей никаких нет, а на втором выбито: «Никандр Акимович Кураев 1852–1898. Трудолюбивому и просвещенному служащему благодарная администрация фабрики». Все сходится — это ваш прадед, который трудился

как раз на Ивановской суконной фабрике, от которой на данный момент сохранилось лишь несколько построек (историю фабрики можно найти в вышедшей в 2010 году книге «Суконщики Поповы. Истории о московской жизни и не только»). Судя по всему, Ваш прадед был похоронен не на общем кладбище, которое в сотне метров от места бывшего храма, а в церковной ограде, что говорит о его особом статусе при Ивановской фабрике.

Если Вы захотите побывать на месте захоронения своего прадеда, готов Вас встретить и провести экскурсию по селу Ивановскому, показать и фабрику, и больницу, и место бывшей церкви, и надгробие Вашего прадеда. Пока же прилагая к письму фотографию креста с памятником и крупно надпись на том самом памятнике. Еще фото есть на нашем сайте в учетной карточке храма.

Если есть какие-то вопросы, пишите. Готов ответить.

С уважением, Сергей Мамаев

Вот так! Надгробие с именем прадеда, а рядом воздвигнут четырехметровый крест в память об исчезнувшем храме. Фабрика не сохранилась. На месте храма — поляна. На месте погоста при храме валяются лишь два надгробия, еще не погребенные культурным слоем. Вот одно из них, некогда беломраморное, с лункой для креста, ныне исчезнувшего, всплыло из небытия, пришло, как письмо от прадеда!

«Никандр Акимович КУРАЕВ.

Октябрь 1852 — 24 сентября 1898 г.»

А на обратной стороне постамента ясно читается:

«Трудолюбивому и просвещенному служащему благодарная администрация фабрики».

24 июля 2013

Здравствуйте во веки веков, дорогой Сергей! Мне сейчас невозможно ни понять, ни описать словами, что значит подаренная Вами встреча с прадедом. Невозможно и найти достойные слова благодарности Вам. Я бывал в Воскресенске (Истре), последний раз был в Новом Иерусалиме во время работы над сценарием фильма «Раскол». Вспоминая рассказы отца, всякий раз пытался «нюхом» найти следы предков. Смотрел на больницу, перед которой заваливался назад бюст Чехова на пьедестале, думал, что там же работал и Николай Никандрович. Конечно, я обязательно воспользуюсь Вашей щедростью, Вашей готовностью быть моим провожатым к могиле Никандра Акимовича. Я ведь даже не знал дат его жизни!

О встрече. Вот уже 11 лет я езжу в Ясную Поляну на писательские встречи, проведение которых приурочено к 9 сентября, к дню рождения Л.Н.Т. Ясная для меня вдвойне притягательна, поскольку в Туле похоронен Николай Никандрович, и уже никто, кроме меня, на его могилу не приходит. Если ничего чрезвычайного не случится, я, скорее всего, на обратном пути из Ясной в Питер нагряду на Вас.

Низко Вам кланяюсь. Доброго здоровья Вам и Вашим близким.

Ваш Михаил Кураев

Семейные предания говорили о ранней смерти прадеда, о том, что оставшихся без родителей сыновей опекал дядя, Владимир Акимович. Из тех же преданий я знал, что деда, окончившего духовную семинарию и не собиравшегося служить колокольному делу, не принимали в университет. Официально запрета для семинаристов на поступление в университет не было, но препятствия чини-

лись неукоснительно. Именно поэтому дед, отвергнутый столичными университетами, отправился в Томск. Значит, не мифический дядя Володя, а сам Никандр Акимович, отец, бил в бюрократическую стену прошениями, жалобами, требованиями. И сына после двух лет учебы в Томске перевели в Харьковский университет уже на третий курс. Видно, прадед не умел отступать и уже прошением на Высочайшее имя добился права на перевод сына в Московский университет. Только дед запоздалой милостью помазанника Божьего не воспользовался, решив завершить учебу в Харькове, благо медицинская кафедра была там сильной. На единственной сохранившейся фотографии, где прадед снят с сыновьями, я вижу человека твердого нрава, что унаследовал и его младший сын, мой дед, и его внук, ставший моим отцом.

Одни только даты жизни Никандра Акимовича сразу же наводили порядок, разгоняли мифический туман с «Воскресенских глав» в истории нашей семьи. Раз прадед служил на Ивановской фабрике суконщика Попова, крупного магната в своей отрасли, понятно, почему по окончании университета дед отправился служить в земскую больницу Воскресенска. Ивановское и Воскресенск в семи верстах. Здесь же, на Ивановской фабрике, служил красильным мастером второй мой прадед, Вильгельм Францевич Шмиц, дочь которого стала моей бабушкой. Ясно, и почему дед в 1912 году принял должность заведующего больницей при Ивановской фабрике, откуда и отправился в 1914 году на вторую свою войну.

Тринадцатого сентября 2013 года, проскочив на электричке станцию Снегири, где меня ждал добрейший Сергей Мамаев, вышел на станции Дедовск. Встречавший меня на машине Сергей отнесся к недоразумению спокойно. Оказалось, что от Дедовска до села Ивановского, до погоста при исчезнувшем Успенском храме, даже ближе. Волнение от предстоящей встречи с местом упокоения прадеда, да еще путаница со станциями, понятное чувство вины вдруг разом ушли, растворились в спокойной благорасположенности моего нового знакомого. Так чувствуют себя люди, хорошо знающие свое дело. Они не тратят ни малейших усилий на то, чтобы себя показать, а вот показать землю, по которой мы передвигались, он мог в любой исторической перспективе.

Наивно было бы предполагать, что надгробный камень стоит над прахом моего предка. Но дорожащие памятью своей земли ивановцы воздвигли крест на краю бугристой поляны, рядом с единственным свидетельством прежнего назначения этого места.

Я смотрел на измызганный временем некогда белый надгробный постамент и видел прадеда, прочно сидящего, скрестившего по-наполеоновски руки и расставившего ноги. Нет, таких бесследно с земли не скovyрнешь!

Тряпкой, что нашлась в машине, да водой для обмыва стекол принялся отмывать и оттирать постамент. Сергей посмотрел на мои старания и спокойно произнес: «Мы отмоем». Кто мы?

Сергей рассказал, что он работает в православной школе в селе Рождественно и уже обещал привезти меня в эту школу и познакомить с настоятелем Рождественского храма отцом Александром, он же хозяин школы. Ждет и директор школы, Валерия Феликсовна. Да, школа частная. Сначала молодой выпускник духовной академии отец Александр из полуразрушенной церкви выселил совхозный склад химикатов, и церковь предстала в своей первозданной красе, хотя росписи по штукатурке трижды осыпались с внутренних стен храма, изъеденных химией. Рядом с храмом был одноэтажный каменный приют. Теперь это просторный двухэтажный каменный особняк в духе классических усадебных построек прежних времен. Отец Александр, священник и яхтсмен (!), возродив храм, учредил при храме и школу со всеми правами среднего учебного заведе-

ния. Начинали чуть не с двадцати учеников, сейчас две сотни. Школа платная, для тех, кто может платить, для тех, кто не может, — бесплатная. Сергей Мамаев, выпускник авиаинститута, ведет в школе компьютерной техникой и заведует им же и учрежденным школьным музеем. Пишет краеведческие книги. Для тех, кто посмотрелся и наслушался суровой правды о современной школе, трудно будет поверить, что и сегодня мальчики и девочки могут жить и учиться по-человечески, как люди, а не злые несчастные зверушки или барчата нового призыва.

Самая, по-моему, маленькая, да еще и со скошенным потолком комната в школе, изобилующей просторными классами и кабинетами для учебы и творчества, — это кабинет директора. Валерия Феликсовна встретила меня как родного. Я поспешил признаться, что небесам было угодно сделать меня неверующим. Валерия Феликсовна от души рассмеялась. «“Петя по дороге в Царствие Небесное” ваша картина?» — «Моя». — «“Раскол” ваш?» — «Отчасти мой». Валерия Феликсовна посчитала продолжение разговора излишним.

Я решил быть корыстным. 24 сентября, правда, по старому стилю, день памяти Никандра Акимовича, вот хорошо бы хоть через сто пятнадцать лет...

25 сентября Сергей Мамаев прислал мне фотографии «субботника». Старшеклассники отмыли постамент до лебединой белизны. Валерия Феликсовна рассказала о «трудолюбивом и просвещенном» земляке, отслужили литию...

Очень хотелось, чтобы помнили Никандра Акимовича, помнили и таких, как он. А мы едва ли сможем хотя бы раз в год появляться в селе Ивановском Звенигородского района. Я решил, что в Рождественской школе должна быть учреждена стипендия имени Никандра Акимовича Кураева. Девиз ее очевиден: «Трудолюбивому и просвещенному». Стало быть, для старшеклассников, да и зачем малышам деньги. Две стипендии, мальчику и девочке. Тысяча целковых в месяц каждому. Семье нашей это под силу.

Сообща с Сергеем Мамаевым, благо электронная почта все упрощает, сочинили в стиле ретро «Похвальный лист» с надлежащим текстом: «В праздник Рождества Христова за достойные успехи и благоразумное поведение ученик — имя рек — поощряется сим Листом и денежным вознаграждением в память о трудолюбивом и просвещенном гражданине города Воскресенска Никандре Акимовиче Кураеве». В нынешнее Рождество стипендии и «Листы» будут вручать во второй раз.

Вот так вот всплыл из небытия камень. Приплыл в добрые руки.

Прав Гоголь Николай Васильевич: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают».

Валерий Попов

Как встретил я Год Литературы

Три четверти века, прожитых в свое удовольствие — уже успех. Но — какой итог? Моя верная подруга-помощница, согласившаяся после моего семидесятилетия проволочь меня по Европе, в новогоднюю ночь загнала меня в ванную, поскольку хотела встретить Новый год со своим женихом, хотя бы по скайпу.

— Не высовывайся, пока я тебя не позову!

— Блокнот хоть дай, на тумбочке лежит! — прохрипел я. — Не ожидал!

Ноутбук ее уже издавал какие-то хлюпающие звуки, и в последний момент она успела швырнуть мне в мое убогое помещение блокнот с пришпиленной ручкой, а также мои тяжелые уличные ботинки, чтобы не маячили в кадре, компрометируя ее.

Хоть часы на руке! Глянул — без двух двенадцать! Успел налить из крана холодной воды — не горячей же! — и чокнуться со своим отражением в зеркале, поздравляя сам себя. Вот он, итог жизни! Встречать Новый год (быть может, последний) — в ванной... если не сказать большего. Заслужил! Сколько ты ее мучил — пока она не нашла себе жениха? И вот итог. Другой бы повесился — и был бы, кстати, абсолютно прав, вызвал бы всеобщее восхищение: хотя бы закончил свою жизнь достойно! И может, мой герой так и поступит! Но наша задача другая... Налил до краев и хлопнул второй стакан — за успехи в Новом году и тут же сообразил — а ведь все это большая удача! Отличный финал для моей все никак не заканчивающейся любовной повести — «Ты забыла свое крыло». Новой год в сортире! Заслуженный итог! Блестяще! Я жадно потер ручонки и схватил блокнот.

Эпизод разбухал. Ведь я не только в этом замкнутом помещении — я еще в Будапеште, где почти полвека назад был сильно счастлив. Ура!

Один мой друг назвал меня «пластичным», а другой, услышав это, сказал, что за «пластичность» можно и в морду дать. Смотря как это понимать. В моей версии это так: никогда не будучи ярым комсомольцем, более того — даже будучи исключенным в институте из комсомола (правда, исключение мое не утвердил райком), я оказался, едва написав первые рассказы, в молодежной делегации, посланной в Венгрию. Боюсь, что тут все определяло не комсомольство, а любовь и дружба. Группа была прелестная. Особенно одна часть ее — высокая, молчаливая Галя, почти не смотревшая в глаза и вдруг — глянувшая в упор, еще в Ленинграде...

Потом мы — многие впервые — на поезде пересекали границу. На берегу узкой пограничной речки горел костер, и все застилало дымом.

— Поддерживают дым отечества! — пошутил кто-то, и все засмеялись, хотя и волновались, переживая столь важный момент.

До этого нас — три дня из восьми — промурыжили во Львове (лихорадочно, а точнее, довольно лениво «накачивали» напоследок, водили на какие-то лекции). Но, ей-богу, не помню. Мне и во Львове уже сильно нравилось — в городе был безусловный западный колорит, как мы его понимали... а главное — была уже жаркая, сухая весна. Помню, как мы с вновь обретенным другом Лешей, кстати, руководителем нашей делегации, жарким сияющим утром выскочили из гостиницы на соседний угол — «залить zenки», как он говорил. Явно западный — по нашим понятиям, сервис, большое стеклянное окно — шириной метров пять! — и острое утреннее счастье... никогда прежде не пил с утра! Вот она — свобода!

И тут на солнечном углу появились наши девушки... Увидели нас, помахали. И снова — ее взгляд, прямо в душу! Что делать? Пришлось выпить еще! Они прошли прямо перед окном, и вдруг Галя что-то сказала, и они засмеялись.

Потом я ее пытал:

— Неужели так все почувствовалось сразу?

Минуту подумав, она кивнула.

— А что ты сказала тогда?

— Наши мальчики уже завтракают!

— Ну правильно! — я кивнул.

И на границе я особенно нервничал — и вовсе не только из-за проверки багажа. Поезд вез несколько сотен молодежных активистов и активисток из всех городов — большой подарок для наших венгерских друзей! — но ее в поезде не оказалось. И главное — не спросить... даже у друга Лехи: с похмелья он был мрачен и идейно суров — уже сделал нам пару замечаний о недостойном поведении при пересечении границы.

Будапешт мне показался похожим на Львов... но без нее! «Невыездная», как бы сказали теперь? Поездка теряла смысл: что я буду делать почти неделю с этими духовно чужими, в сущности, людьми? Весь первый день прошел в каком-то дворце, с лозунгами и речами... Приехал!

На второй день сосед по номеру, молодой скульптор Дима, поделился со мной своей тайной... Что их всех тянет со мной делиться? Леха тоже со мной поделился, что хочет развестись. Дима поделился еще более сокровенным: райком, посылая его, наградил поручением... не подумайте самого плохого: всего лишь вручить венгерским коллегам-скульпторам посмертную маску Ленина...

— А кто же ее тут возьмет?! — вскричал Дима.

После венгерского восстания пятьдесят шестого года прошло тринадцать лет, но по улицам еще патрулировали военные с автоматами — правда, в венгерской форме.

— Да... задача! — посочувствовал я.

— А у тебя — какая задача? — нервно выкрикнул Дима.

— Да такая же, как у тебя, — чуть было не сказал я. — Деньги обменять!

Если любовь сорвалась, то предадимся хотя бы низменным интересам. Рубли мы, конечно, везли, но тайно... Было строжайше запрещено, но откуда-то известно, что их меняют!

— Ну... я к моим коллегам! — солидно произнес Дима.

— Маску не забудь! — сказал я. — Ну хочешь — я с тобой?

Маску, наверное, не возьмут... но наверняка угостят!

— Но... надо сказать начальству! — заволновался он.

— Так скажи! Ты же и есть теперь начальство.

— Ах да! — вспомнил он.

В первый же день на чужбине случилось непредвиденное... или — предвиденное? После завтрака мы все ждали нашего вождя Лешу — к его отлучкам по

утрам все уже привыкли. Под его руководством мы должны были ехать на слет! И вдруг увидели, что его буквально тащат два наших дальнобойщика: что это два наших дальнобойщика, немедленно подтвердилось.

— А мы идем и вдруг смотрим — наш человек! — сообщили они, явно довольные, что помогли соплеменнику. — Ваш?

— ...Наш, — после минуты молчания произнес Дима, который до этого был заместителем, но отныне стал первым. И уже под его руководством мы поехали на слет... с которого почти все наши сразу слиняли. Лишь я как друг был с Димой до конца — и теперь имел право, как казалось мне, на особое доверие.

Мы вышли из гостиницы.

— Подержи! — вдруг почему-то покраснев, он отдал мне в руки маску Ленина (в неприметной дорожной сумке). — Забыл одно... — и, скомкав фразу, он повернул тяжелую вертящуюся дверь.

— Ну вот... всё! — вскоре появился он, как-то странно поправляя одежду. — Идем?

— Да нет. Теперь — я!

— Что — «теперь»? — пробормотал он, побледнев, но сразу отвернулся: конкретного ответа он совсем не хотел.

— Не будем! — сказал я и пошел к гостинице.

— Тебя подождать? — пролепетал он.

— Да нет. Не стоит!

И он, сутулясь, ушел. А я ведь действительно хотел помочь ему с маской — может быть, даже что-то такое спеть, умеренно-революционное... Но деньги, увы, разводят людей! На собрании еще в родном городе они же, комсомольские руководители, говорили нам — не брать наших денег с целью обмена — у кого они обнаружатся, будет немедленно отослан! Между тем — форинты буквально сыпались из Лехи, когда мы его несли! Дальше он выпивал — и обменивал — уже открыто и в сокровенной беседе мне сказал, что никакой он не вождь, а простой рабочий, правда, передовой, и противился, когда его назначали... он же им говорил!!. Однако — подготовился! Я, кстати, тоже — хоть не в таком объеме... Засунул рулончик десяток в зубную пасту, вскрыв ее с заднего конца... веселые были времена! В обменнике, конечно, я пасту уже не вынимал — подготовился накануне.

В первый универмаг я не зашел — там, конечно, безумствовал Дима. Не потерял бы маску!.. Я зашел во второй. На первом этаже веяли ароматы. Духи! Таких запахов я еще не вдыхал. И я, зажмурившись, сладко вдохнул, сколько мог, и даже с запасом — и пошел вверх. И там, в конце анфилады залов, вдруг увидел ее. Она шла задумчиво, глядя в пол, и, столкнувшись со мной плечом, подняла свои серые глаза — и вздрогнула.

— Ты здесь?!

Это я сказал. О своей задержке она скупой сообщила, что ей стало нехорошо, ее отвезли в больницу, но через день отпустили. Мы пошли вместе... и оказались в баре! Я козырял! Вынимал деньги веером! На них были изображены лихие усатые люди в меховых шапках... скакали легко! О, как она смеялась — ни на кого не похоже прислонившись рукой к стене и припав к ней головой — потом выпрямляется, глаза счастливо блестят. Пошли дальше. Будапешт — слепил!.. Особенно после тусклого в те года Ленинграда.

— Ну все! — сказала она, вдруг коснувшись меня плечом (я вздрогнул). — Надо, для приличия, показаться в гостинице!

И мы — показали. Но приличий как-то не обнаружили. Бар — гудел. При чем — нашими голосами. Леха, после его буйного сошествия с престола, обрел себя и, главное, — популярность, был в центре компании, что-то темперамент-

но говорил... Все замахали нам. Я показал пятерню — видимо, это значило — «пять минут»! И мы вошли в лифт...

— Ну? — сказал я.

— Что — «ну»? — улыбнулась Галя. И, пожав мне локоть, ушла.

Диму я застал в номере в глубокой прострации.

— Не взяли! — воскликнул он.

— Надо было идти со мной! — посетовал я. Некоторая степень издевательства над несчастными свойственна чрезмерно счастливым людям.

— Зато они сказали, где здесь стриптиз! — произнес он с вызовом. — Ты пойдешь?

— Ну... ты же руководитель! — я куражился дальше. — Ты и решай!

— Ты прав, — он среагировал вдруг по-доброму. — Надо взять кого-то еще. Кого ты советуешь... кто не продаст?

— Думаю... Галю Киселеву! — сказал я.

Он неожиданно покраснел.

— Ты знаешь ее?

Видно, я нанес ему еще удар, на этот раз неосознанный.

— Она... в номере? — пробормотал он.

— Наверно, — я пожал плечом.

— Ну ладно. Пошли! — решительно сказал он.

Дружба победила любовь... но не окончательно. Ближе к ночи любовь взяла реванш.

— Что вы делаете?! — восклицал Дима на весь стриптиз. — Меня же из комсомола исключат!

— А почему — тебя? — хрипло проговорила Галя, улыбаясь как-то смутно.

Возвращались мы на рассвете, пешком, вдоль могучего, но тихого в этот час Дуная. Наши опять были в баре, и думаю, что не «уже», а «еще». Поднялись втроем. Мы с Галей вышли из лифта. Дима не выходил.

— Пойду утоплюсь! — вдруг сказал он и ухнул вниз.

...Когда мы вернулись в наш город, вышли на платформу, Галя посмотрела мне в глаза. И, сделав быстрое движение рукой, слева направо, сказала: «Сгинь!».

Потом я долго страдал... Но зато написал первый свой крепкий рассказ! А потом — пошло! Сорок с лишним лет — сорок с лишним книг. И вот я опять в Будапеште! Город любви. Да и сейчас, если честно... Заскрипела дверь.

— Ну что? Выходить не собираешься?

А. Да! Но надо еще записать и этот Новый год — печальный финал!

— Счас! Еще полчаса! — взмолился я.

Дверь с грохотом захлопнулась.

Но я все же вышел... где-то через сорок минут. В прекрасном, почему-то, настроении.

— Ладно. Извини меня!

Это, кстати, я сказал.

Сергей Гандлевский

Стихотворение и эссе

СМЕРТЬ В ПАРИЖЕ

Памяти друзей

Эта девушка божилась, что умрёт в Париже.
К своему стыду, не знаю, где её могила.
Вероятно, не в Париже, а гораздо ближе —
если у неё в Кузьминках сердце прихватило.

О, поспешные обеты, нищие обеды!
Много скверного спиртного под мануфактуру.
Пусть прочтут стихи по кругу нервные поэты,
будто здесь у нас — парадный вход в литературу.

Здесь у нас лежат на кухне алкаши-аркадцы,
изнывая от похмеля. Разве нет, Аркаша?
Пастухам к лицу цевница, каждый рад стараться —
да с утра тахикардия, выручай, Наташа!

Через час пришла с мороза горе-парижанка
и сказала, открывая крепкие напитки:
— Или я люблю искусство и поэтов жалко,
или, есть такое мнение, дело в щитовидке...

А покойный друг Аркадий стал ей строить куры
и как записной Ромео взвыл — «О, говори же,
светлый ангел!»

Вновь сгущался чад литературы —
в тот запой и прозвучала мысль про смерть в Париже.

ТАНЦЫ ЗА ПЛУГОМ

Г.Ф. КОМАРОВУ

1. Зачем вообще стихи?

Ей-богу, не знаю. Думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что подавляющее большинство людей прекрасно обходятся без поэзии. И это по-чело-

вечески не говорит о них ни хорошо, ни плохо: они просто не получают от стихов удовольствия.

Английский классик Уистан Оден высказался вполне определенно: «poetry makes nothing happen», что можно перевести как «поэзия ничем не оборачивается или совсем вольно: «поэзия — сотрясение воздуха». И все же, безделица поэзии для восприимчивого к ней человека иногда оборачивается эстетической радостью, даже потрясением.

Когда-то в древности стихами (впрочем, по нынешним понятиям, довольно необычными) писались священные тексты — считается, что для удобства массового запоминания наизусть. Спустя столетия поэзия опростилась и постепенно стала пристрастием и баловством, вроде спорта, коллекционирования всякой всячины или любви к путешествиям. Баловством-то баловством, но с самыми серьезными вещами: с любовью, со смертью, со смыслом или бессмыслицей жизни и т. п.

Не только великий писатель, но и очень умный человек Лев Толстой считал, что сочинять стихи — все равно что танцевать за плугом. Он, вероятно, имел в виду, что думать на главные темы и так непросто, зачем же еще усложнять себе задачу, отвлекаясь на всякие выкрутасы — размер и рифму. Но чуткие к поэзии люди могли бы возразить, что Толстой, в общем и целом, прав, кроме тех случаев, когда он не прав.

Возьмем для примера такое философское суждение: объективный мир и человеческое мышление имеют принципиально разные начала, поэтому все попытки осмыслить устройство мироздания тщетны. Суждение как суждение — глубокое и горькое, его можно принять к сведению. Но вот как высказался на ту же тему Тютчев:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Для чувствительного читателя эти четыре строки тотчас делают отвлеченное философское предположение личным переживанием, дают возможность испытать *собственную и сиюминутную* эмоцию от старинной выкладки ума. А знать какую-либо точку зрения на предмет и испытать по поводу того же предмета собственное чувство — качественно разные вещи.

Зачем мы посещаем памятные для себя места — двор детства или окрестности дачи, где жили когда-то? Мы разве не знаем заранее, что нас там больше нет, что нет в живых многих людей, с памятью о которых связаны эти пейзажи? Или для нас новость, что время безвозвратно проходит? Всё мы прекрасно знаем, но хотим *пережить* этот опыт вновь, понарошку воскресить прошлое, убедиться в собственной причастности к печали и радости жизни.

Что-то такое представляет собой и поэзия в сложившемся за последние два с половиной столетия понимании. Ее можно сравнить со снадобьем, под воздействием которого разыгрывается воображение, и человек на время оказывается под обаянием какого-либо авторского настроения или хода мысли, но при этом все-таки отдает себе отчет, чем вызван неожиданный прилив определенных мыслей и чувств. Нечто вроде полусна на заказ.

Вот этот-то, сродни наркотическому, эффект искусства, скорее всего, и раздражал моралиста Толстого. И он имел право на раздражение, поскольку как мало кто знал, с чем имеет дело.

Но здесь — перекресток. Если мир и человеческая жизнь в нем — урок с более или менее известным ответом, то поэзия, конечно же, помеха, потому что рассеи-

вает внимание и отвлекает от «учебы». При таком раскладе поэзия может пригодиться лишь в качестве наглядного пособия или мнемонического подспорья.

Но если допустить, что мир возник и существует по мановению непостижимой — личной или безличной — творческой стихии, то искусству, включая и такое бесполезное, как поэтическое, нечего стесняться: соразмерность и равновесие его шедевров пребывают, как кажется, в согласии с загадочными законами и пропорциями мироустройства.

Хочется думать, что именно это имел в виду Пушкин, когда сказал: «Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело».

Получается, что я так и не ответил на вынесенный в подзаголовок вопрос «Зачем нужны стихи?». Но это, в конце-то концов, даже утешительно: значит, поэзия — из ряда главных явлений человеческого бытия, смысл которых так и останется вечной головоломкой.

II. Все или ничего

Выше я пытался возражать толстовскому сравнению поэзии с танцем за плугом; сейчас я собираюсь Толстому поддакивать.

Со времен романтизма поэзия добилась права не приносить ощутимой пользы, но это послабление усложнило стихотворцам задачу. Освобожденные от обязанности поставлять читателям какие-либо положительные сведения, лирики обрекли себя на максималистский режим эстетической оценки и самооценки: либо пан — либо пропал.

В помянутом четверостишии Тютчева («Природа — сфинкс. И тем она верней...») содержится философская мысль, но это вовсе не правило лирического жанра, просто Тютчев — автор с таким складом ума и таланта. Можно привести примеры немалого числа шедевров самой скромной, на равнодушный взгляд, содержательности при неэкономном расходовании слов — мастером на такие опусы был Георгий Иванов:

Если бы я мог забыться,
Если бы, что так устало,
Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало,

Наконец — утомонилось,
Навсегда окаменело,
Но — как Лермонтову снилось —
Чтобы где-то жизнь звенела...

...Что любил, что не допето,
Что уже не видно взглядом,
Чтобы было близко где-то,
Где-то близко было рядом...

Вот уж и впрямь не стихи, а какое-то камлание. В них нельзя убавить ни слова, хотя, казалось бы, такую скудную информацию можно было бы передать куда короче.

Но поэзия — «иное дело», и информация у нее иная — передать состояние души, а в случае полной удачи — *стать* на какой-то срок состоянием души другого человека.

Вот, скажем. Кому не случалось слышать в просвещенном разговоре сентенцию «Не сравнивай — живущий несравним...», или чего доброго щегольнуть ею самому? А между тем в разговорном употреблении эта цитата приобретает чуть ли не восточно-назидательную интонацию, вроде «Что ты спрятал, то пропало. Что ты отдал, то — твое!», и вводит в заблуждение насчет пафоса мандельштамовского стихотворения. Да и здравая мысль о хромоте сравнений не бог весть как оригинальна. Но, открывая стихотворение, это высказывание звучит психологически достоверно и поэтому проникновенно: мы тотчас получаем «ключ» к настроению лирического героя — человека, выбитого из колеи, озирающегося на новом месте, уговаривающего себя смириться с положением вещей и погруженного во внутренний монолог, начала которого мы не застали: «Не сравнивай — живущий несравним...». И именно таким мгновенным включением в бормотание на ходу и достигается эффект присутствия, почти перевоплощения. И чуткий читатель, даже не зная, что стихи написаны ссыльным, услышит ноту неприкаянности и неблагополучия.

«Прямой эфир» душевного состояния, имитация репортажа о переживании — хлеб лирики, поэтому ей, в отличие от прочих жанров литературы, позволительно говорить от авторского лица что Бог на душу положит, если, конечно, эти речи характерны для данного настроения. Примеров не счесть: «Я знаю — гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете!» (В. Маяковский); «На свете смерти нет. Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят...» (А. Тарковский). И только сухарь и зануда придержится к психологически оправданным гиперболам: «Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим...» (А. Пушкин), или — «А вот у поэта всемирный запой и мало ему конституций...» (А. Блок). Искушенный читатель не мерит стихи на аршин бытовой этики — он ищет достоверности переживания, его эссенции: любовь — так Любовь, скука — так Скука и т. п. Привилегия лирики — снять сливки с драматической ситуации, сказать о следствиях, не вдаваясь в причины.

Но за льготы «бессодержательности», «безответственности» и «верхоглядства» приходится, с чего я и начал, платить высокую цену: трудиться по двухбалльной системе — *все или ничего*.

«Крепкая проза» — снисходительный, но комплимент; «крепкие стихи» — уничижительный отзыв. Профессиональная, не хватающая звезд с неба проза способна обогатить нас новыми знаниями, чужим опытом и непривычным взглядом на вещи; наконец, просто поможет скоротать дорогу или час-другой ожидания. Средней руки картина оживит стену в квартире, гостиничном номере и т. п. Но прилежное чтение чего бы то ни было «крепкого» и «профессионального», записанного «в столбик», — занятие, достойное чичиковского слуги Петрушки.

«Стихи не читают — стихи почитывают», — поправила подростка Александра Жолковского его интеллигентная мать, когда тот перечислял свои каникулярные достижения.

Ну, хорошо, поэзии больше, чем какому-нибудь другому роду литературы, противопоставлено быть всего лишь «литературой». Но ведь и буквальная «неслыханная простота» для нее не выход. Эпитет «безыскусный» бывает похвалой применительно к прозе, но не к поэзии, которая и существует исключительно за счет диковинных технических ухищрений. Пройти какую-либо дистанцию пешком — одно, но для того, чтобы покрыть ее на лыжах или на велосипеде, нужен навык; иначе эти вспомогательные приспособления будут лишь обузой и посмешищем. Как и большинство вкривь и вкось зарифмованных тостов, школьных утренников, капустников, песен, рекламных призывов и проч. Но показательно и справедливо неистребимое людское убеждение, что праздник и поэзия — явления одного порядка!

Стихов pop-fiction не существует в природе. Стихотворная речь как таковая — всегда притязание на художество.

А с художества — и только художества — и спрос другой. И слова поэта Алексея Цветкова, что «стихи должны поражать», не кажутся преувеличением. Именно что должны.

Но уцелеть в такой борьбе за выживание очень непросто, и статистически Толстой, выходит, прав: что за странная доблесть — говорить куплетами? Атракцион такой, что ли?

Поэзия, конечно, роскошь, но для ценителей — крайне насущная. Я бы сравнил впечатление от шедевров лирики с воздействием утреннего крепкого вручную сваренного кофе. Голод уже утолен. Впереди будничные дела. Но в считанные минуты, пока неспешно обжигаясь этой сладкой горечью, ты чувствуешь, что твой уровень и отвес на месте, и ненадолго совпадаешь с самим собой.

Юрий Буйда

Вечер на заброшенной фабрике

Она открыла глаза, села, уронила голову на грудь и снова закрыла глаза. Она находилась в комнатке с низким потолком, с зарешеченным окном, сидела на тахте, которая покоилась на автомобильных покрышках, положенных одна на другую, здесь пахло машинным маслом и табаком, а утром она пособачилась с матерью и сестрами — Светкой и Танькой, надела ошейник с шипами, юбку-резинку и отправилась гулять, выпила пива с Ленкой, потом джин-тоник с Хохлом, с которым потом немножко потрахалась, потом всей компанией жарили шашлыки на прудах и пили водку, после чего она оказалась на заброшенной фабрике — краснокирпичные корпуса с выбитыми окнами, горы мусора, расстрескавшийся бетон между цехами, лопухи и бузина — и выпила черт знает чего с тем рыжим парнем, как его там, и этот рыжий повалил ее, она ударила его коленом в живот, но ему хоть бы хны, он содрал с нее юбку, навалился, рыча и плюясь, и тогда появился огромный мужчина, и вот теперь она сидит на тахте, голая, даже без трусов, только ошейник с шипами на месте, а напротив сидит огромный мужчина, на нем клетчатая рубашка навыпуск, брезентовые штаны, босой, в комнатке пахнет машинным маслом и табаком, солнце в зарешеченном окне, голова болит и кружится, спина исцарапана, мужчина неподвижен, от такого не спрячешься и не сбежишь...

— Ты бы оделась, — сказал мужчина, протягивая ей юбку и рубашку. — Как тебя звать?

— Кузнецова, — сказала она, не поднимая головы. — Верка.

— Лифчика не нашел, — сказал мужчина. — Ты бы оделась.

— Не было лифчика, — сказала она, расправляя на коленях юбку. — Хреново-то как...

Он протянул ей фляжку, она глотнула, потом еще раз.

— А сумка?

Он протянул ей сумочку.

Она вытряхнула на тахту пачку сигарет, зажигалку, закурила.

— Мне сегодня шестнадцать, — сказала она. — День рождения. Вот блин.

— Ничего не случилось, — сказал он. — Не переживай.

Под окном — столик со стопкой книг, чайником и фотографией — на ней две белокурые девочки-близняшки лет пяти-шести.

— Твои? — спросила она.

Он не ответил.

— А как тебя зовут?

— Михаил.

— Живешь тут, что ли?

Он промолчал.

— Жена выгнала, что ли? Бабы — суки.

— Они уехали, — сказал он. — Все уехали.

— Куда? — Не дождавшись ответа, глотнула из фляжки. — Самогон, что ли? Сам гонишь?

— Ты бы оделась, — сказал он. — Туфли твои тут.

— Мне и так хорошо, — сказала она. — Без туфель. И лифчик я не ношу. Без лифчика прикольно.

— Поздно уже, — сказал он, забирая у нее фляжку. — Тебе пора.

— Ты мне не отец, — сказала она. — А ты знаешь, кто мой отец?

Он качнул головой: нет.

— И я не знаю. — Она засмеялась. — Я не знаю, от кого я. И Светка с Танькой не знают, от кого они. А что с этим... ну, который рыжий... с которым я...

— Живой, — сказал мужчина. — Я тебя провожу, не бойся.

— Сама дойду.

— Есть хочешь?

— Не, не хочу. Выпить хочу.

— Хватит.

— А ты здесь один? Один живешь?

Он кивнул.

— Круто. Одному хорошо. Ну когда совсем один, а не как мать. Моя мать. Она не может без мужиков. Вообще не может одна. Вот дура. А когда мужик появляется, дерется. С ним, с нами — со всеми дерется. Напьется — и в драку. А потом ревет. Говорит, одиночество — это не когда тебя бросили, а когда твое тело из морга забрать некому. Дура. А тебя будет кому из морга забрать, Михаил?

Он пожал плечами.

— Хочешь я с тобой поживу? Не хочешь?

— Тебе пора, — сказал он, протягивая ей туфли.

— Да ладно! — Она снова закурила. — Не бойся. Я не целка. И лифчика не ношу. Зачем лифчик? Тебе тоже не нравятся маленькие сиськи? Маленькие никому не нравятся. Ни сиськи, ни письки и жопа с кулачок — это как раз про меня... всем нравятся большие сиськи... как два ведра... Буду чай тебе заваривать, а носки — нет, носки сам стирай. Дай еще выпить, не жмоться.

— Хватит, — сказал он.

— Хватит... — Она заплакала, попыталась надеть туфлю, бросила. — Все про все знают, а я не знаю... надоело — не знаю как... все надоело... я что вам всем — собака? Собака, да? Я не собака!

— Не собака, — сказал он.

— Откуда тебе знать? Ничего ты не знаешь. Ничего. И какая разница, заберут тебя из морга или нет? Никакой. Мертвому — никакой. — Икнула. — Согласен?

— Нет, — сказал он.

— Ну и зря...

— Ты в Бога веришь?

— Чего?

— В Бога.

— Ну ты и мудила. — Она покачала головой. — Ты веришь, что ли?

— Не знаю. Что-то ворочается внутри... как будто больной старик... ворочается и ворочается, никак не может устроиться...

— Блохи, наверное...

Он промолчал.

Она встала, сунула ногу в трусы, пошатнулась, но устояла. Натянула юбку и рубашку, плюхнулась на тахту.

— Ну как хочешь, — сказала она. — Не хочешь — как хочешь.

— Потанцуй со мной, — сказал он. — Под музыку.

— Чего?

— Под музыку.

— Под какую на хер музыку? Ты что, с дуба рухнул?

Михаил опустил на четвереньки, вытащил из-под тахты проигрыватель, поставил на столик, включил — зазвучал вальс. Взял девочку за руку — она встала.

— А потом что? — спросила она.

— Что — потом?

— Сначала потанцевать, а потом что?

— Просто потанцевать.

— Ну ты и козел... — Она обняла его, уткнулась лбом в грудь, всхлипнула. — Я под такую музыку не умею. Как она называется?

— «Приглашение к танцу».

— Никогда не слыхала.

Михаил промолчал. Двигался он медленно и неуклюже. От его рубашки пахло керосином и кислым потом.

— Ты не умеешь танцевать, — сказала она.

— Ничего.

— Плачешь, что ли?

Он не ответил.

Они молча топтались посреди комнатки, девочке было и страшно, и хорошо, и что-то дрожало внутри, дрожало и дрожало, а когда музыка закончилась, мужчина закрыл проигрыватель и убрал под тахту.

— Темно уже, — сказал он. — Пора.

— А теперь что? — спросила она.

— Что — что?

— Теперь что ты будешь делать?

— Ничего, — сказал он. — Как всегда.

Он проводил ее до ворот фабрики, повернулся и исчез в темноте.

Она вернулась домой и сразу легла спать.

На следующий день она рассказала про случай на фабрике Ленке и Хохлу.

— И это все, что ли? — спросила Ленка. — И больше ничего?

— Ничего.

— Не может быть, — сказал Хохол. — Что было-то?

— Ничего, — сказала она. — Не знаю...

— Ну ладно, — сказала Ленка. — Колись давай.

— Не знаю, — повторила она. — Что-то...

— Так сходи к нему и спроси, — сказал Хохол.

— Не, не пойду.

— Просто не пойдешь?

— Просто.

И не пошла.

Жизнь у нее не задалась. И всякий раз, когда она пыталась покончить с собой, почему-то вспоминался тот вечер, тот огромный мужчина, пахнущий керосином и кислым потом, вспоминались звуки той дурацкой музыки, и она снова оставалась наедине с этими странными воспоминаниями и ощущениями, воровавшимися в ее душе, словно заплутавший больной старик, который пытается устроиться в заброшенном тесном доме и никак не находит себе места, ворочается, стонет, живет, все еще живет...

Светлана Кекова

Музыка Рождества

1.

Есть у шальной метели
с музыкою родство...
В город привозят ели,
близится Рождество.

Сколько небесных скрипок
вступят в неслышный спор!
В сумерках возле Липок
ангельский слышен хор.

Тихо снежинки тают,
светит в ночи луна,
Где-то волхвы читают
звёздные письма.

Как нам — по нашей вере —
звёздный постичь язык?
Знаем мы, что к пещере
ослик идут и бык,

овцы стоят на месте,
ласковы и тихи,
ждут долгожданной вести
старые пастухи,

Ангел в одеждах алых,
воздух, вода и твердь,
а в городских кварталах —
спешка и круговерть.

Спутаны все приметы,
заметены пути,
ветер несёт по свету
лёгкое конфетти.

В призрачном маскараде
вьюгою занесло
Донны Лауры пряди,
кудри Манон Леско.

И, утомлённый пляской,
в праздничной толчее
прячет лицо под маской
сумрачный де Грие.

А из пределов райских
всем нам несут дары —
искры свечей бенгальских,
золото мишуры,

шорохи серпантина,
вечной любви слова,
святочную картину,
музыку Рождества...

2.

Уж не поёт колядки
на праздники народ
на Рождество, на Святки,
на старый Новый год.

Но в жизни монотонной
так сладки эти дни...
В коробочке картонной —
бенгальские огни.

Зажжёшь огонь от спички —
услышишь звук трубы
и смотришь по привычке
«Иронию судьбы».

И Дед Мороз с бородкой,
Снегурочка в колье
закусывают водку
салатом оливье.

А где-то месяц ясный
увидел детский Лик,
и как стоят у яслей
лошадка, ослик, бык,

и как сиянье длится
до первых петухов,
и как светлеют лица
волхвов и пастухов.

.....
.....
.....
.....

Коньяк последний выпит
на старый Новый год...

И долгие пути в Египет
и из него исход.

Марина Вишневецкая

Из цикла «О природе вещей»

О ЦЕЛИ СЛОВ

Один поэт так любил закаты, что каждый называл неповторимым, подходящим только ему образом: эргебунц, вадаам, лёнг-длёнг, фиреенд, онь, горджу-бай — всего пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть наименований. И когда он умер, никто не смог разобрать, что он под этим имел в виду.

А один мальчик сумел выучить в школе только пять букв: «ё», «п», «р», «с» и «т». И, когда вырос, гордился, что ему их по жизни вполне хватало, и, когда подступали чувства, произносил эти буквы подряд, а когда накатывали события — группировал их по обстоятельствам: ёп, сёр, пст, прёт, спёр, трёп... И люди вокруг ценили его за внятность и острословие.

А один мужчина всех своих жен и подруг называл Лапик. И когда они на его поминках про это разговорились, то не все смогли к этому отнестись однозначно, и шесть из них возвратились на кладбище и стали безутешно кричать: «Зая! Масик! Вован! Рыбик! Бяша! Котюн! Как же ты мог?!» — и бились о свеженасыпанный холм. И тогда на голову каждой из них откуда-то сверху упало по еловому лапику. И несчастные женщины в испуге затихли, заплакали и обнялись.

Три вышеописанных случая приводят нас к мысли: слова используют человека как средство вторжения в мир, но их цель до сих пор никому не известна.

КАК СТРАШНО ЖИТЬ

Одна кошка так презирала свою хозяйку, что, когда женщина попыталась ей рассказать о незаслуженном выговоре с удержанием двадцати пяти процентов зарплаты, кошка с пренебрежением отвернулась и стала вылизывать свой и без того белоснежный живот. И женщина не смогла перенести такого к себе отношения и выбросила кошку через окно. А кошка спустя неделю вернулась и по причине неприязненного отношения к женщине снова стала бездушно жить с нею рядом.

А один дворовый кот настолько не любил людей, что забирался в их квартиру через открытую форточку и беспорядочно метил в ней все углы, пока люди не продали эту квартиру и не переехали на другой конец города. Но этот кот поехал в багажнике вместе с ними, и потом этим людям пришлось продать еще и машину.

А одна рыба-клоун до того не уважала хозяина, что стоило ему только сказать: ну что, клоун, выпьешь со мной? — и чокнуться стаканом с аквариумом, как эта рыба начинала метаться, выпрыгивать и вместо воды хватать жабрами воздух. А стоило этому человеку после тяжелого дня задремать, как эта страшная рыба вперивала в него всю свою пучеглазость и пучегубость. И человека душили кошмары, от одного из которых он вывалился из кресла и умер.

Мудрость, к которой подводят нас эти истории, общеизвестна: с кем не живешь, того не знаешь.

ЧТО ЕСТЬ СЧАСТЬЕ

Одна моль всю жизнь прожила в кроличьем тулупе и для своих детей мечтала о норковой шубе, потому что каждое следующее поколение должно жить лучше предыдущего. И когда старый шкаф со всем его содержимым вдруг понесли на помойку, она кричала: историю не повернуть вспять! — и билась о дверцы. И на свалке за городом дверцу все-таки высадила, разлетелась, взвилась — и увидела на пригорке норковое раздолье — воротник, шапку и палантин. И закричала: дети, за мной! И хотя в следующий миг ее проглотил воробей, она уже знала, что жила и мучилась ненапрасно. А ее дети от неожиданности спикировали в синие шерстяные рейтузы спортивного типа и прожили в них весь свой век — долго и счастливо.

А одна курица страстно хотела, чтобы ее дети научились летать. И регулярно сбегала с птичьего двора, чтобы снести свое яйцо в гнездо чибиса или козодоя. За срыв плана по яйценоскости этой курице грозила большая беда. Но сильнее страха была в ней мечта однажды увидеть своих огольцов высоко в небе, как они строятся вместе с другими птицами в клин и прощально ей кукарекают. И даже когда эту курицу потащили на плаху, она успела кудахтнуть, что ни о чем не жалеет и что ее дети будут жить среди баобабов и пальм. Какие дети? — удивились на птицеферме. А однажды в начале зимы на деревьях, растущих вдоль теплотрассы, группа биологов обнаружила гомонливое племя молодых диких кур, перекрикивающихся между собой голосами чибиса и козодоя. «Трудно представить бóльшую идиллию», — записал в блокноте молодой биолог, имея в виду не только красоту куриного пения, но и обустроенность птичьей жизни на ветках и в дуплах. Участок вскоре огородили, назвали заказником, снабдили кормушками и утепленными домиками, а гомонливое племя занесли в Красную книгу.

Две эти истории красноречиво свидетельствуют: счастье — не проект, а здоровая реакция организма на новые обстоятельства.

НЕ ПРО РЕКОРДЫ

Один водолаз был настолько предан своей работе, что однажды не всплыл на поверхность четверо суток. И люди гордились его ударным трудом, пока не узнали, что в конце первого дня у него разгерметизировался костюм, и все остальное время он уже не работал. И на похоронах для этого водолаза ни у кого не нашлось прощальных слов — люди молча стыдились, что приняли за передовика производства обыкновенного, три дня как уже покойного человека.

А один спортсмен в самом деле поставил на соревнованиях за границей бесprecedентный мировой рекорд, и тысячи людей собрались встречать его на Белорусском вокзале. И кричали ему «ура» и «да здравствует», и подбрасывали его вверх, пока по рядам не прокатилось известие, что за границей этот спортсмен не только не подпевал гимну своей страны, но еще и двусмысленно улыбался. И

потрясенные люди широко расступились, так что подброшенный ими спортсмен упал, сломал позвоночник и больше за границу уже не ездил.

А одна женщина-комбайнер двое суток без перерыва проработала за штурвалом комбайна. И люди сначала восхищались ее трудовыми подвигами, а потом от членов ее семьи случайно узнали, что она работала не для того, чтобы собрать невиданный в их области урожай, а ради обещанного за новый рекорд отреза на платье. И сошлись на собрание, и приняли резолюцию: отреза женщине-комбайнеру не выдавать, а выдать его доярке, работавшей не за отрез, а за совесть.

Вывод из этих случаев напрашивается такой: коллективное сознательное есть наш цивилизационный код, а подбрасываемое нам коллективное бессознательное — не наш.

МАЛЬЧИК И МАЛЬЧИК

Один маленький мальчик каждый вечер изводил свою бабушку: почему она зубки на ночь в стакан кладет, а глазки нет? И бабушка наконец не выдержала, взяла шарики для пинг-понга, нарисовала на каждом по глазу и стала их тоже класть на ночь в стакан. А маленький мальчик очень обрадовался, дождался, когда родители уйдут на работу, спрятал стакан с глазками за диван и принялся исполнять все заветное — разобрал пылесос, помыл в стиральной машине посуду, приклеил с помощью разбитых яиц ковер к полу, занавески к окну... А бабушка этого мальчика, не желая причинить ребенку моральных страданий, все это время пролежала с закрытыми веками, пока с работы не пришли ее дочь и зять. И стали кричать на старую женщину: где были ее глаза! А маленький мальчик честно сказал: за моим диваном. Бросился в детскую и принес оттуда стакан с разрисованными шариками для пинг-понга. И мальчику за то, что он сказал правду, не было совсем ничего. А старую женщину в одночасье собрали и отправили жить к ее другой, младшей дочке за семь тысяч километров, в Сибирь. А глазки упаковать забыли. И мальчик три недели безутешно рыдал, пока родители не пошли с ним на почту и не отправили шарики для пинг-понга за бабушкой вслед. А когда этот мальчик вырос, он стал знаменитым на всю страну офтальмологом. И при получении государственной премии первым делом поблагодарил свою бабушку, определившую его жизненный путь.

Во многом аналогичная история произошла с другим мальчиком, жившим в американском штате Висконсин. Его дедушка, прикованный недугом к постели, страдал к тому же базедовой болезнью и потому с легкостью выдавал шарики для пинг-понга за собственные глаза. И мальчик целыми днями носился с этими шариками по всей округе, а вечером просил дедушку рассказать, что он видел и что запомнил лучше всего. И хотя старик рассказывал внуку о хорошенькой девочке в доме напротив, о звездно-полосатых флагах, развевавшихся над лужайками, о повстречавшемся почтальоне и его скрипучем велосипеде, из мальчика, жившего за океаном, вырос серийный убийца.

А наоборот, как вы понимаете, и быть не могло. И единственно правильный вывод заключается именно в этом.

БУДУЩИЕ ЛЮДИ

Одна женщина не пошла на аборт, а решила родить, чтобы удержать возле себя мужа. И на недолгое время у нее это получилось.

Другая женщина решила родить, чтобы наполнить свою жизнь смыслом. И на некоторое время ей это удалось.

Третья женщина решила оставить ребенка, чтобы на старости лет не быть одинокой. Но ребенок, как только выучился, навсегда уехал жить за границу.

Четвертая женщина родила, чтобы было кому всю жизнь восхищаться ее красотой, добротой и умом. Но мальчик вырос и рассудил по-другому.

Пятая женщина родила ребенка с целью досадить своей незамужней подруге, но та и сама родила через год с целью показать, что она не хуже других.

Шестая женщина родила ребенка, чтобы прописаться с ним вместе на жилплощади свекра. Но родители мужа в этом ей отказали.

А седьмая женщина вообще сорок лет не хотела иметь детей и решилась родить только после того, как во сне увидела ангела, пообещавшего, что ее ребенок будет вторым Леонардо да Винчи.

Случаев много, а вывод один: новое поколение, чтобы пробиться на свет, туманит мозг своих матерей всеми известными ему способами.

Евгений Рейн

Посёлок

Сквозь зимние сумерки зыбко
мерещатся церковь и лес,
как своды бродячего цирка,
низина декабрьских небес.

Должно быть, жилось непривычно
в далёкие годы ему,
когда он спешил к электричке,
сминая рассветную тьму.

Война миновала и бедность,
украсились особняки,
но так же играя и пенясь,
бежали в лесу ручейки.

Глумился и шикал народец,
и зимняя стыла жара,
он вышел, как канатоходец
под свод циркового шатра.

В пиджачной отглаженной паре
он в небо вознёсся легко,
свелили за ним пролетарий
и барин — соседи его.

А он уходил по канату
и сделался мал и далёк,
и все понимали — так надо,
когда он пробил потолок,

Упавший софита осколок
был верный свидетель тому.
Ушёл он. И этот посёлок
навек погрузился во тьму.

Вячеслав Пьецух

Полковник и гармонист

фантастический рассказ

В новейшие времена отечественные наука и техника дошли уже до таких крайностей, что стало возможным отправить человека на Марс и окончательно разобраться с вопросом, который так долго будоражил праздномыслящих чудачков: есть жизнь на «красной планете» или же ее нет. Этим человеком оказался полковник Жуков, прежде летавший вокруг Земли, навстречу комете Галлея и на Луну. Он был так горд назначением, что три дня ничего не ел.

Однако были еще и привходящие обстоятельства неприятного свойства, лишавшие его аппетита и навевавшие то гнусное настроение, которое у нас называется — «муторно на душе». Во-первых, полковнику предстояло лететь в одиночку, без товарищей, затем что время, расстояние и вместимость космического корабля позволяли захватить ограниченный запас кислорода, провизии и воды*. Одному лететь было все-таки страшновато, поскольку дорогой могло все что угодно произойти. Случаи были: подполковник Гусев, дылда и здоровяк, внезапно умер на борту от апоплексического удара, и его, по флотскому образцу, пустили вечным пловцом в космический океан.

Во-вторых, с жены и старшей дочери взяли подписку о невыезде, то есть их фактически зачислили в аманаты**, чтобы полковник Жуков чего-нибудь дорогой не учудил. Случаи были: бортинженер Сопелкин отказался возвращаться на Землю, так как после Москвы ему до того приглянулось одиночество и безмолвие, что он летал в межзвездном пространстве, пока не кончился кислород. Капитан Перепенчук водрузил на Луне украинский жовто-блакитный флаг.

Итак, в одно прекрасное утро полковник Жуков вышел из своего подъезда (Комсомольский проспект, дом № 21), чтобы далее проследовать маршрутом Москва — Подпипки — Байконур, и для начала перешел под землей на противоположную сторону магистрали, где он обычно держал свой роскошный автомобиль. В подземном переходе какой-то мужичок в темных очках, в латаном ватнике и сильно потертых брюках играл на гармонике с бубенчиками, так называемой тальянке***, которую воспел еще Сергей Есенин, гениальный подголосок и баламут. У ног мужичка стояла патриархальная жестяная кружка под гонорар.

* В то время установки, регенерирующие воду из мочи, уже вышли из употребления на космических кораблях (прим. автора).

** То есть заложники (прим. ред.).

*** Правильно будет «итальянка», но выговорить лишнюю букровку нашему плебсу лень (прим. автора).

Полковник Жуков, на земной счет, провел в космосе двадцать лет, побывал на Фобосе, Деймосе и, главное, на Марсе, где он не то что жизни не обнаружил, а даже ничего, стоящего внимания, не нашел, если не считать серебряного доллара, который бог знает каким манером туда попал. Времени у полковника было предостаточно, и он дорогой выучил португальский язык, дочитался до того, что решил креститься по возвращении на Землю, и досконально изучил кишечный тракт у трипаномы обыкновенной, которую ему навязали ученые чудаки.

Итак, двадцать лет спустя полковник Жуков вернулся в столицу, припарковал свой автомобиль на правой стороне Комсомольского проспекта и спустился в подземный переход, — мужичок в темных очках, латаном ватнике и сильно потертых брюках играл на итальянской гармошке «Собачий вальс». У его ног стояла та же самая патриархальная жестяная кружка под гонорар.

Геннадий Русаков

Моих ночёвок траурные норы

1. В апреле вдруг произошла весна —
насильственная смена поколений.
Взорвались почки: им была тесна
обёртка — в ней не разогнуть коленей.
Снег умирал в заляпанных бинтах.
К нему гуськом сбегались санитары,
но отходили среди «ох» и «ах»
за неимением подходящей тары.
Менялись даты. Думалось про быт.
И про незавершённость сотворенья.
Был каждый день на клеточки разбит.
Но удивляла дальноркость зренья.
...В апреле вдруг произошла весна —
в России всё внезапно и не к сроку.
Мы так живём. Такие времена.
Я в них вон тот, который третий сбоку...

2. Когда июль другими именами
окликнет птиц, сошедших с высоты
в укрытья гнёзд, построенных над нами,
в надышанные норы и в кусты,
а мотоцикл беспутного соседа
сорвётся в ночь, нещадно тарахтя, —
я с головой уйду в укрытье пледа
и за стеной расплатится дитя.
Темно вокруг, и мир исходно страшен.
Он сам собой. Ему не нужно нас
на этих вёрстах неоглядных пашен
и на пространстве в сорок тысяч глаз.
Там я не сплю в застиранной рубашке,
один в моей немыслимой стране,
где по ночам разгуливают страхи,
особенно по левой стороне.
Где темь черна, а утро бронебойно
в блистаньи вод, хотя возможно — льдов.
И длятся необъявленные войны
на улицах далёких городов.

3. Нет отныне ни слова, ни дела —
лишь качанье небесной воды,
только воздух, уже поредельй...
И мокреть обложила сады.
Дождь идёт. Затоскуем, присядем.
Спать пойдём, чтобы перетерпеть.
А проснёмся — простынки прогладим,
телевизор попросим запеть.
Пусть исполнит мелодий приятных
не о том, что у нас за окном —
там лишь небо в размазанных пятнах
и пробежки в сырой «Гастроном».
Дождь идёт — чтоб ему провалиться! —
на моей половине земли.
Так и будет три месяца длиться.
...И заборы грибком зацвели.

4. Моих скитаний прорвы-города.
Моих ночёвок траурные норы.
Моих дождей бессмертная вода,
со всей земли пролившаяся в Горы.
Когда-нибудь я загрущу о них —
о тех дождях бессрочной разрядки,
которые с дотошностью портних
прострачивали пойменные грядки...
Когда-нибудь... Но только не сейчас:
уж больно много этой скучной влаги.
А я, полжизни по свету мечась
и оставляя меты на бумаге,
тепла хочу в натопленном дому!
И чтобы за окном не моросили...
...Куда пойти согреться и к кому
по всей моей зарёванной России?

5. Моя счастливая жена
весь день — с утра и дотемна —
танцует и хохочет.
А я ей шутки говорю,
а я ей фантики дарю —
пускай себе стрекочет!
У нас такой весёлый век,
что просто должен человек
до слёз нахохотаться.
А то ведь можно не успеть
всё, что положено, пропеть...
И с танцами расстаться.
Вот-вот грядёт пора простуд,
подует стужа там и тут —
и станет не до шуток.
Закрутит в окнах белый прах.
Очнётся в сенцах пришлый страх.
И вечер станет жуток.

Андрей Волос

Принцип Микеланджело

АЛИСА

ВЕРОНИКЕ

Были на юге, мокли в синем море, жарились на солнце, нашли котеночка.

Оглушаемые громовым хрипом тюремного шансона, таскались по шашлычно-чебуречно-вонькому, скаредному базару, каким предстает всякое теплое побережье за границами пляжа. Привыкли, что Алиска ждет во дворе дачки: как ни закрывали окна, двери и форточки, все-таки выскальзывала и встречала нежным мявом с крылечка.

К концу месяца оформилась в стройную кошку. Многие признавали, что похожа на голубую русскую. Кто не знал о существовании таковых, тоже умилялся — плюшевая, с большими зелеными глазами, с вечно ищущим выражением симпатичной острой морды и по-охотничьи подобранными ушами.

Однако уже обратная поездка вышла чудовищной, хотя стремление этого нежного существа к независимости проявилось еще далеко не в полной мере.

Утратив свободу, но неустанно вися на когтях внутри матерчатой сумки ближе к горловине, двадцать шесть железнодорожных часов Алиса беспрестанно вопила, всеми силами доказывая, что громкость издаваемого звука не всегда напрямую соотносится с величиной издающего его организма.

Отчаявшаяся бабушка хотела выбросить ее в окно, в противном же случае грозила выброситься сама. Сосед по купе разделил с ними только половину полагавшегося ему пути — куда исчез, осталось тайной.

Надеялись, что собака Белка — мелкой, но властной породы чи-хуа-хуа — подружится с новоприбывшей и не станет ее обижать. Уже к вечеру несчастная Белка, выведенная на прогулку, решительно не желала возвращаться: упиралась и горестно выла.

К людям Алиса проявляла суровое, лишенное каких-либо сантиментов отношение. Время от времени, подойдя твердым шагом и пронзительно уставившись в самые глаза, грозным мурлыканьем требовала, чтобы ее гладили. Если же кто-нибудь, вопреки ее надобностям, смел проявить инициативу сам, пускала в ход когти: рвала так, будто к ней потянулись не с лаской, а со злым умыслом. И словно имела дело не с живым, орущим от боли и ужаса человеком, а с разделанным куском мяса.

Когда ситуация сделалась невыносимой, Алису отдали Николаю Михайловичу. Он жил в собственном доме и утверждал, что его домочадцы подобного

беспредела не потерпят: ни кот, хозяин территории, десять лет охранявший ее пределы, ни овчарный кобель Рекс, которому пальца в рот не клади. В случае чего, с доброй усмешкой добавлял Николай Михайлович к ужасу прежних хозяев, Рекс таких просто перекусывает: вроде как монтер проволоку.

Однако уже через сутки кот бесследно исчез, почему возлагавшиеся на него надежды следовало признать тщетными. Что касается Рекса, то он перестал вылезать из будки. Время от времени Алиса вспоминала о существовании кобеля, тогда садилась вылизываться возле положенной ему миски с овсянкой и мозговой костью. Рекс просительно скулил из мрака, но на свет не показывался.

Больше всего Николая Михайловича поражало, что Алиса лазит по деревьям, чтобы ловить птиц. Подвыпив, он бранил ее за несносный характер и пугал несомненно заслуженными карами. Алиса слушала с выжидательным любопытством: вероятно, ей хотелось бы узнать, как именно он собирается воплотить свои угрозы в жизнь.

Настоящего врага Алиса нашла в лице жены Николая Михайловича: та не простила пропажи кота и боялась за овчарку. Благодаря ее настояниям Алису сослали совсем уж в глухомань, в дальнюю воронежскую деревню к родственникам.

Там-то и выяснилось, что Алиса умеет душить крыс.

Первым делом она уничтожила всю популяцию в подвале, избавив дом от многолетнего бедствия. Узнав о победе, соседи стали слезно просить Алису к себе, и она с удовольствием пошла, ибо жизнь ее состояла в охоте и приключениях, а риск придавал остроту и настоящий вкус.

Скоро слава Алисы-крысоловки далеко перешагнула границы не только района, но даже, кажется, и области. Валом повалили хозяева из дальних деревень и сел: все они надеялись записаться на котеночка.

Думая о глазастой и беспощадной Алисе, я не могу пересилить умиления. Ее пример доказывает, что, несмотря на кажущуюся никчемность, бессмысленность, а то и зловредность жизни, каждый из нас все-таки может на что-нибудь пригодиться, — и эта мысль вселяет надежду, покой и уверенность в будущем.

ГРЯЗЬ НА ЛОДЫЖКАХ

В глубине души читатель уверен, что автор берется за перо, чтобы рассказать о себе — рассказать так же честно, как если бы давал показания под присягой. И что, не будучи с автором знаком лично, он, читатель, может, тем не менее, составить ясное представление о его характере, склонностях, привычках и стремлениях так же легко и тем же способом, каким достигает этого в отношении других, — то есть с помощью наблюдения и анализа. Разница лишь в том, что в случае с писателем приходится использовать пространство книги, а не жизни.

Разумеется, это не так.

Автор вовсе не желает играть роль афишной тумбы, предлагающей себя на всеобщее обозрение. Как бы искренне он ни толковал, в какие бы саморазоблачения ни пускался, все это расчетливое вранье: якобы искренность и якобы эксгибиционизм.

Автор хитер, предусмотрителен и увертлив. Чтобы сбить с толку тех, кто интересуется его персоной, он совершает замысловатые трюки. В его арсенале масса способов нырнуть в кусты и пустить любопытных по ложному следу: то подсыплет табачку, то и вовсе пройдет задом наперед. Кроме того, автор почти всегда верит, что сам он — другой (как правило — лучше того, что на самом деле), а потому и подсовывает вместо себя этого другого.

Однако читатель тоже не лыком шит: если он искушен и внимателен, его не проведешь.

Как бы автор ни ухищрялся, на сколько персонажей ни пытался расслоиться, какие бы маски на себя ни напяливал, о сколь далеких от собственной судьбы вещах ни толковал, как бы катастрофически, в конце концов, ни заблуждался на свой собственный счет, из написанного им все-таки можно узнать много такого, что является правдивым отражением его личности.

Книга как совокупность представлений и приемов, каждый элемент которых несет на себе отпечаток живого духа, обнажает сущность автора значительно шире, чем может преуспеть он сам в раскрытии души и характера наиболее подробно выписанных им героев.

В романе Уэллса полицейский заметил грязь, висевшую в воздухе, на самом деле она покрывала кожу невидимых голых ног. Эти предательские капли испортили все дело: что невозможно было увидеть, все-таки оказалось обнаруженным.

Так и здесь: каждая новая страница — это еще несколько брызг на теле того, кто, возможно, хотел бы остаться невидимкой.

КНИГА ГОДА

Попросили назвать книгу года.

Я задумался.

Книга года! Это ведь серьезный титул!.. Особенно если учесть, что средний российский мужчина не дотягивает до шестидесяти. Допустим, первую свою книгу я прочел пятилетним... последнюю прочту, допустим (никаких обязательств, это всего лишь допущение!) в шестьдесят пять... и что же? Всего шестьдесят книг! Всего шестьдесят! Каждая — на вес золота. Поневоле оробеешь — не промахнуться бы.

Легче, пожалуй, назвать книгу тысячелетия. А книга года!.. Брякнешь этак, не подумавши, а потом еще год пройдет — и оказывается, что никто уж ничего не помнит об этой книге. Так крепко забыли, будто и года этого никогда не было. Все уж иным озабочены. Что ж, ничего не попишешь: другой год — другая книга...

Но самое главное: человек, берущий на себя смелость назвать книгу года, автоматически подписывается под тем, что в этом году он прочел вообще все. И не только прочел, а еще и понял, и запомнил, и выработал критерии, и верно их применил. Как говаривали древние: и взвесил, и то-то и то-то нашел легким, а то-то и то-то — нет. И, еще раз напоследок прикинув, объявил победителя.

Это каким же читателем надо быть! Каким терпеливым, всеядным и вдумчивым!

Как хотите, а я на такое не способен...

К счастью, я — писатель. У писателя всегда есть своя книга года, собственная, личная — совершенно отдельная от других. Недописанная, недорожденная, страшными кровавыми кусками разбросанная по столу. Ее еще мертвой водой поливать и поливать — чтоб срослась... а потом живой водой брызгать и брызгать — чтоб задышала.

Книга года. Этого именно года, сего. Она же — прошлого года книга... и даже позапрошлого.

Не исключено, что и будущего.

Вот так.

Извините...

ПРИНЦИП МИКЕЛАНДЖЕЛО

Микеланджело утверждал, что изваяние уже существует внутри глыбы, и ему как художнику для извлечения очередного шедевра требуется только отсечь от нее лишнее.

Возможно, не всякий скульптор обладает точностью и глазомером в той же мере, в какой обладал он, чтобы отсекаль, не переходя поставленных себе пределов.

Легко вообразить, как сей мастер, задумав создать скульптуру слона, приступает к глыбе соответствующего размера. Он смело отсекает с одной стороны... с другой... и вдруг осознает, что отсек лишнее — но, к сожалению, не в том смысле, что подразумевал Микеланджело.

Однако зоркий художнический взгляд подсказывает, что еще не все потеряно: в оставшейся части глыбы явно сокрыта фигура быка.

Руководствуясь новым замыслом, скульптор мастерски отсекает от махины что-то лишнее справа... затем слева...

В какой-то момент не остается ничего иного, кроме как снова изменить концепцию: он будет ваять статую барана.

Отсекает тут... отсекает там...

Кошка.

Снова звенит зубило под ударами молотка.

Хватит ли ему материала, чтобы явить зрителю мышь?

Не могу ничего сказать насчет живописи, музыки, пения и прочих областей изящного: возможно, в рамках этих искусств описанный принцип неприменим, и их адепты вынуждены руководствоваться какими-то иными.

Что же касается прозы, то здесь он используется в полной мере. Разве что, в отличие от скульптуры, никакой глыбы изначально нет — ее приходится создавать своими руками.

Набросав огромный, неохватный ворох всего того, что хоть каким-то боком имеет отношение к зыбким очертаниям замысла, автор робко оглядывает этот неряшливый стог, с трепетом понимая, что приступил к созданию чего-то эпического.

И, если ему хватает мужества, начинает работу, вполне соответствующую логике Микеланджело.

Он отсекает лишнее: лишние коллизии, лишние сюжеты, лишние картины.

Лишние мотивы. Лишние соображения.

Лишние дорогие воспоминания. Лишние щемящие образы. Лишние заветные слова.

Главы, абзацы, страницы.

Отсекает, отсекает, отсекает.

Если повезет, у него получится мышь.

Семен Файбисович

Ода вольности — даром что в сети

Давно эссе не писал. И рассказов тоже, повестей, романов — всего, что зовется литературой, печатается в литжурналах или книгах. Бросил в 2007-м. Тогда одновременно возникло две затеи: вернуться к живописи после двенадцатилетнего перерыва — и написать роман, завязка которого приснилась. Принять оба вызова сразу не получалось: живопишу только при естественном свете, так что этому занятию без вариантов отдается первая — светлая половина каждого дня. Литературопись всяких малых форм в силу их малости еще возможно рассовывать туда-сюда во вторые половины дней или небольшие паузы между окончанием одной картины и началом следующей, что необходимы для восстановления арсенала эмоций, а роман, как и живопись, требует размеренного дыхания и первенства в иерархии всех занятий: и все соки высасывает, и забирает большее и лучшее для работы время суток — в моем случае то же, что и живопись. К тому же и живописный проект затеялся рискованный — инновативный, как в арте говорят, и сон был эдакой фабулой романа-утопии, то есть писать предстояло бы фикшн и бестселлер, а ничем таким прежде не занимался — тоже риск будь здоров, согласитесь, тем более когда далеко не молод. В общем либо — либо: так встал вопрос.

Выбирать между живописью и литературой однажды уже пришлось — как раз в молодости после окончания Архитектурного института, когда служба по распределению в проектной организации оставляла время лишь для чего-то одного. Тогда выбрал живопись — и сейчас опять. Теперь сыграло роль, что интерес к моей живописи как раз начал оживать после большого перерыва, а интерес публикаторов к текстам, напротив, практически сошел на нет: в прессе в условиях постепенного и неуклонного удушения свободы слова — перво-наперво в ее некорпоративном, приватном выражении, а в литизданиях — в силу все более выраженного предпочтения старых песен новым. Но главное, что живописным проектом загорелся, а литературным не выходило: сделал кой-какие наброски-наработки сюжета, а мотор воображения толком не заводился, и время показало, что правильно делал: по затее, роман должен был в трагиироническом ключе предложить решение демографических проблем России, которые, тогда казалось, станут главными для нее в обозримом будущем — а вон оно что теперь главным оказалось, и про них уж давно никто не вспоминает.

Возвращение в живопись вышло вполне удачным, и позывы изъясняться словами несколько лет не возникали, пока в конце 11-го года жизнь в России не стала решительно активизироваться, сначала разбудив креативный класс и подарив надежды, а затем бурно устремившись к худшему — вот и потянуло опять вербализировать отношение к происходящему... Начал со статей для пары га-

зет, как раз вспомнивших о моем существовании, но к этому занятию быстро остыл. Скажем, написал нехорошо про Явлинского — а главред к нему относится, оказывается, наоборот, хорошо. Вот и появляется твой текст без про Явлинского: все остальное есть, а его нет. Уж не говоря о «хвостах», что обрубаются в обязательном порядке — будто твой текст такой породы, что без этого никак, — вот он и заканчивается не концом, а его обрубком.

В общем, проехали... Тут подвернулась пара интернет-ресурсов: предложили вести авторские блоги в «Снобе» и на «Эхе Москвы». Бесплатно, зато пиши что хочешь — лишь бы контент привлекал контингент. Ок, денег мне даром не надо, дай только выплеснуть социальный темперамент, так что взялся с энтузиазмом, а атмосфера в стране тем временем накаляется, и при этом все сильнее воняет: Госдума один за другим клепают антиконституционные запретительные законы — в том числе затыкающие рты, — и ресурсы-содержанты начинают по-разному, но одинаково ощутимо реагировать на них. Плюс общий характер комментариев — а он сильно влияет на атмосферу в блоге и настроение автора — эволюционирует таким образом, что каждый следующий текст писать все меньше охоты. Плюс ощутимо смещаются редакционные акценты. Скажем, есть такой снобовский персонаж Громковский — Владимир Владимирович, между прочим, — бывший профессиональный агитатор-коммунист, ставший не менее истовым православным национал-патриотом. Сюжет тривиальный, так что не об этом превращении речь: когда я там только появился, он числился местным шутком гороховым, штучкой «для разнообразия жизни», но эта штучка буквально на глазах, по мере того, как в сердцах россиян разгорался национал-патриотический огонь, начала раздуваться, наливаясь ощущением своей важности, а нынче там и вовсе царит — типа православно-фашистские передовицы кропает...

Сначала бросил эховский блог, потом снобовский, но еще до того завел аккаунт в Фейсбуке — и это, создав альтернативу, помогло бросить все более подцензурные занятия во все более дискомфортном антураже — выражаясь высокопарно, выбрал свободу. И не жалею, и все больше проникаюсь уверенностью, что приватное функционирование в сети — последнее прибежище свободы слова в России, наиболее актуальная и адекватная сегодняшнему дню форма общения людей. Нет, Дума, разумеется, про нас не забыла и приняла закон, стреноживающий популярных блогеров; все больше ресурсов, неугодных власти и неподвластных ей, блокируется Роскомнадзором, да и отключение России от Всемирной паутины давно на повестке дня, но закон о блогерах пока толком не работает — по здешнему обыкновению, единственно положительному в сложившихся условиях, блокировку ресурсов при желании можно обойти, а блокировка Интернета еще не стала реальностью, так что примерно ода сетевой вольности покамест уместна.

На стилистику общения в сетях принято жаловаться: много хамства, в том числе специфически инетовского, большинство участников идиоты или сволочи или не «или»... Но сети бывают разные, так что вполне уместен вопрос: кто кого заставляет обитать в ресурсах, ярко отражающих массовое сознание, бурно выражающих коллективное-бессознательное и имеющих за это репутацию выгребных ям? Нехотя возникает подозрение, что в дерьме плавают те, кто испытывает от этого занятия если не наслаждение, то разного рода удовлетворение — если даже неизъяснимое. В Фейсбуке тоже хватает всего такого, но есть и другое, а управляя легко доступными настройками, можно задавать устраивающие тебя параметры общения, так что пользуюсь исключительно этой сетью — ей и ода.

Со свободой слова понятно: пишешь что хочешь и как хочешь... В литературной среде, сильно подозреваю, модно презирать сети — игнорировать эту форму обращения к читателю как профанацию, деградацию и т.п. Так ведь и к

письму на экране монитора в свое время многие авторы относились в том же роде и подводили под такое отношение очень основательную, импозантную базу — не подкопаешься. А многие сегодня пишут на бумаге? Да, кое-кто остался верен своей упертости и доказал право на нее, но и у пишущих на экране, коих уже давно подавляющее большинство, своя правда и свои ее доказательства. Так же и здесь: многие литераторы, в том числе самые-самые, обитают в ФБ, в том числе ведут тут литературную жизнь. Другое дело, что специфика сетевого общения часто склоняет корректировать формы этой жизни — к примеру, в сторону сжатости или броскости — а что такого? В общем, со свободой слова порядок. Правда, очередной закон запретил использование ненормативной лексики, но этим только подхлестнул желание одних игнорировать запрет, а воображение других — творчески обходить его.

Помимо свободы слова налицо свобода выбора. Во-первых, как выше сказано, общаться возможно с кем хочешь и как хочешь: сам задаешь устраивающие тебя правила и рамки общения и так или иначе, в том числе жестко, можешь отсекаешь тех, кого они не устраивают и кто не устраивает тебя. Во-вторых, предлагать возможно не только вербальный продукт — свой или чужой, но и визуальный — опять же собственного производства или чьего угодно в максимально широком жанровом диапазоне. И что для меня при этом особенно важно — есть возможность отвечать за качество, будь то фотографии или репродукции картин. В печати тоже в принципе можно совмещать литературный и художественный месседжи, но на практике это редко удается в силу множества понятных всем причин, к тому же добиться устраивающего тебя качества картинок — задача практически нерешаемая даже при издании каталогов и альбомов (редкие исключения, как им и положено, подтверждают правило), а тут все в твоих руках. И возможности сочетать эти месседжи самые широкие, какие только можно представить. Да еще не возбраняется генерировать новые.

Такая «комплексность» создает и новые формы креатива, и новые возможности реагировать на него — оперативно, живо реагировать на него всем желающим, так что ветки комментариев, бывает, представляют самостоятельную ценность: драматургическую, юмористическую или еще какую. Иначе говоря, возникает интерактивный онлайн-обмен. Не знаю кому как, а мне всю жизнь не хватало «обратной связи» и с читателем и со зрителем. В силу склонности рефлексировать и сомневаться в себе всегда хотелось подтверждения того, что делаю «то», — получать моральную, эмоциональную и интеллектуальную поддержку, а получалось редко, да и то либо от неширокого ближнего круга, либо от рецензентов, но в последнем случае превалировала не поддержка, а желание уничтожить. А общение в ФБ задействует эту обратную связь на полную катушку. Скажем, только попав сюда, обнаружил, что у моей живописи и прозы много давних поклонников, о существовании которых не подозревал и поддержка которых, проявись она в иные периоды жизни и творчества, облегчила бы жизнь, сделала ее поотрадней...

Прошлого не вернешь, и вообще что было, то было; как было, так и было — но факт, что сегодня непосредственная поддержка «потребителя» очень помогает жить и «выступать», особенно в условиях, в которых нынче приходится заниматься этим. Да еще представление фотографий и картин в хорошем качестве не только привлекает прежних интересантов, но и рекрутирует новых. То же можно сказать и про читателей — в общем, жить стало легче, жить стало веселее. Прозу представлять в ФБ вроде бы не больно «форматно», а, с другой стороны, почему нет (подумалось прямо сейчас)? Не убудет выложить в сеть какой-нибудь рассказик и посмотреть, как он будет воспринят: с одной стороны, налицо ситуация, когда рассчитывать на публикацию своей прозы в обозри-

мом будущем не приходится, с другой — количество друзей и подписчиков на сегодняшний день уже заведомо превосходит тираж любого издания, которое даже если вдруг случится, — и это количество стремительно растет.

При этом существенно, что «человеческий потенциал» сетевого общения — не только количественный, но и душевно-интеллектуальный — сам по себе создает принципиально новое качество этого общения, никак иначе и нигде более не достижимое. В каком-то приближении это ощущение дружеского кухонного застолья советской поры — только большого-пребольшого, — где идет разговор «о главном» в самых разных формах, пропитанный взаимной симпатией и антипатией к этому главному. Или взять дни рождения, когда на тебя обрушивается шквал поздравлений — просто теряешься и растекаешься лужей чувств. Где еще сотни, тысячи людей могут напрямую поздравить кого хотят от всей души и чистого сердца? — ни одному признанному гению, ни одному деспоту во всей человеческой истории не снилась такая обратная связь, что нынче стала реальностью для многих. Да еще в результате возникает ощущение, что тебе каким-то дуриком удалось сплотить людей, что ты им нужен: как-то помогаешь им выживать во все более бесчеловечном мире — а они помогают тебе. Такое ощущение само по себе дорогого стоит, так что (в виде исключения) готов довериться ему, будь даже оно иллюзией.

Здесь встречаются, начинают общаться, проникаются взаимным интересом и расположением люди, которые нипочем не встретились бы иначе — у кого ни шанса пересечься и пообщаться «в жизни»: прежней, сегодняшней, завтрашней; здесь возникает особый пространственно-временной континуум, в котором из небытия всплывают друзья и знакомые из прежних жизней: школьной, студенческой, взрослой. Они появляются и начинают жить в твоей нынешней реальности вперемешку с людьми со всего мира, с которыми ты только здесь и сейчас познакомился — не говоря уже про «невиртуальных» друзей; тут люди, многого достигшие в жизни — и просто хорошие; умные, тонкие — и просто добрые; все на равных и вместе — симфоническое ощущение, что трудно передать словами. Налицо не симулированная демократичность того общения, что никакое на самом деле не виртуальное, а одна из самых позитивных, ощутимых и бодрящих реалий жизни. Ну а тролли и боты, что налетают на твой блог, стоит задеть своим материалом чувствительные души кураторов-чекистов, отдающих команду «фас», только подтверждают, что ты «попал» — следовательно, существуешь. Блокировать (банить) их — что тараканов давить: немножко противно, но больше приятно: вот и этой твари больше нет в моей жизни, и этой, и вот этой... Такая нонстоп гарантированная победа над злом. Единственно жаль, что невсамделишная.

Владимир Маканин

Не стреляй

фрагмент

— Ты сам говорил: «Ночной охр не промахнется». Ты хвалил свой меткий глаз. Ты хвалил даже свой палец на спусковом крючке.

— Я не хвалил. Я говорил, что в пуле я больше уверен.

— Ладно, — сказала она. — Тогда стреляй.

— Не ладно, — возразил он.

— Тогда не стреляй.

— У тебя простенькая проблема — сказать. А у меня проблема — стрельнуть.

— Ну, не стреляй.

— Да или Нет — вот проблема. А если тебе держать ответ по-крупному?

— А-а-а... Еще по-крупному. По-белому. По-честному. Что еще? Ну тогда, конечно, стреляй.

— Но не все в жизни по-честному.

— Тогда не стреляй.

— Нам Поплавко ответил. Шнурком этим на горле нам ответил. Синим шнурком.

— Тогда стреляй. Если все так просто.

— Голову под подушку — и стреляй?..

— Тогда не стреляй.

— Поселок празднует — сдали два дома. Еще часок — и выпьют все разом, по второй, по третьей. И начнется стрельба... И, пьянь, вперед! А небо уже запачкано.

— Я и сказала — тогда стреляй.

— ...И небо все пятнами. Вот с той стороны.

— Ну, не стреляй.

— Ты меня расхолаживаешь. Отлично это знаешь. И опять постелью манишь.

— Ну и не надо. Не стреляй.

— А могу ли я не стрелять?

— Стрельнешь — и в гнездышко, — поддразнила она.

— И никаких угрызений.

— Тогда не стреляй.

Продолжается летучий наброс одежды. Занимали весь угол... Вот принесли пальто — будет тепло. Вот еще свитера. Старые — пышные!..

— И тебе не надо стрелять. С ним, Вова, с Беляком, суд сам разберется.

Под разговор она швыряла, растила кучу.

— Не надо стрелять.

В углу — тряпка за тряпкой — скапливалась старая теплая одежда. Остатки жизни Поплавко. Он не только утешал, но и согревал собранной сносной сношенной одеждой. Свитера... толстенные фуфайки... изредка запоздалая зеле-

ная, с надписью ШИНЕЛКА... или совсем просто для маленьких — с рисунком... Была и обувь.

Стреляй. Не стреляй. — Лиля стоит у ночного открытого окна. Ей скучно в четырех стенах доморощенной засады. Того и гляди Лилия уснет.

Вовка, напротив, мечется, но сдерживается, как перед всяким охранным делом. И монологизирует. Это его черточка. Самоуверенный, он не раз получал от жизни и людей кулаком по носу. Кулаком среднего размера, — любит подшучивать он над собой, заодно давая понять, что он крепок на ногах, а кулак в нос еще не его жизненный финиш.

И сначала главное. «НЕ УБИВАТЬ, НЕ КАЛЕЧИТЬ... Жить ему оставим. Так и быть. Но уж зато своей кровью Дядя Беляк пусть и умоется всласть», — повторял себе Вова, когда шел по известному адресу. Когда поднимался на лифте. Когда поднимался затем на второй, отделенный охраной, начальнический этаж. Мысленно вслед... И когда развернулся лицом... Когда шел, не шаркая. Когда уже ступал по ступенькам. Не убивать, не калечить. Пусть своей и умоется.

Вова повторял и повторял. Вслед за своим старлеем. Который сейчас дослуживал неизвестно где.

Солдату в драке какой-никакой умишко не мешает. В бою, как и в драке, солдатику заносит. Еще как заносит. А солдат без ума и солдат без меры — бандиты. Вот и первая точка. Чтоб не занесло.

Лилия стоит у ночного открытого окна. Ждет. Не дает стрелять. Не дает отмашки платочком. Пока Дядя Беляк, именуемый «жертва», в одном из своих загоровшихся окон еще не вполне проснулся. Но он, конечно, встанет — а встает Беляк рано, раньше многих.

Вова оглянулся. Лилия напоследок трижды махнула ему платочком, что означало отказ. Полный отказ.

Так тому и быть. Вова пробежал мимо грузовых лифтов. И вдруг оглянулся... Опять отмашка. Беляк в одной из комнат натягивал брюки. И опять счет ступенькам...

Назад! И до чего же круто, стремительно и мягко ночные охры проделывают свой обратный путь...

Вова Плетень — ночной охр.

И ведь он вернулся! Еще один вечерний бессильный заход! Еще и с Лилей канителить насчет «стрелять или не стрелять».

Не опираясь и не ударяя, а едва касаясь подошвами обуви, Вова мягко проплыл последнюю ступеньку. Впереди еще малая лестница, но вдруг Вова по ступенькам вниз замечает двух сонных стражей... И?.. И, удерживаясь о стену своими пальцами, пахнущими стройкой, он возвращается в ночную крохотную квартирку... Лилия у окна. У распахнутого... Все, как было.

Но нет. Лилия все-таки продвинулась по подоконнику, освобождая Вовке часть оконного боевого места. Вовка ждал ее голос. Не заснула ли? «Кашляни негромко», — попросил, не видя ее глаз.

Лилия еще помолчала и сказала, как сваливают груз с плеч. Как сваливают с горы. Как произносят последнее:

— Не стреляй.

Вовка положил, бросил без вздоха и звяка винтовку на постель, ушел тихо, без оружия.

Лилия заплакала, когда он, безоружный, замелькал в манящих светлых линиях нового дома, что напротив.

«Не убивать, не калечить...» — держал в голове он.

Евгений Попов

Вокруг Пизанской башни

Из дневников писателя Гдова

«Как пишутся рассказы?» — написал писатель Гдов и задумался над белым листом бумаги, как лыжник перед заснеженным полем. — «Мысль боится белого листа бумаги и не хочет его пересекать», — догадался Гдов, потому что был умный.

...Вот, например, разодетый кудрявый хлопец, смазливую женушку которого пригласили в свой номер «выпить чашку чая» заезжие московские литераторы. Прогрессивный хлопец отпустил супругу, но сам подкрался и подслушивал у двери, время от времени заглядывая в замочную скважину. В зеленой рубашке, желтом галстуке, клетчатых брюках и лакированных ботинках.

— Ты че? — спросили его, застигнув за подслушиванием.

— Та ниче, — смущенно сказал хлопец, отковыривая длинным ногтем штучку.

Или: «Он умер потому, что всем надоел, а вовсе не из-за болезни», — пустился в спор Иван Иванович.

А также — вставить в текст про человека, который выпил три рюмки водки, потом еще одну, потом еще семь, после чего заснул, как дитя. Во сне ему снился Коммунизм. А что это такое, каждый понимал по-своему, как Аркадий Гайдар понимал счастье в рассказе «Чук и Гек»...

О вреде физкультуры. В Берлине он бегал по утрам по гравийным дорожкам Шлосспарка, и ему потом долго лечили коленку. В Будапеште плавал в горячем бассейне и подцепил на ногти грибок. В Москве взялся было ходить пешком с целью уменьшения своего живого веса и вывихнул ступню. «Ну ее к бесу, эту физическую культуру», — решил он, когда в Питере споткнулся и упал вниз лицом, очарованный красотой этого города, построенного Петром Романовым, преобразованного чаяниями царя Николая II, Владимира Ленина, Сергея Кирова, Собчака, Путина, Валентины Матвиенко. А кругом-то враги, троцкисты! «Огурчики да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике», — пел тогда народ, которому, как известно, всегда принадлежит в нашей стране любая власть, что и записано в Конституции черными буквами по белой бумаге.

Безработный Хабаров, этот эстет и любимец стареющих женщин, вдруг тоже заговорил об искусстве.

— Написанный рассказ должен настояться, как правильный борщ, который вкуснее есть на второй день после его изготовления. Текст нельзя сразу отдавать издателю, а то будет пресно, — сказал он, но никто не оценил скрытого изящества этой фразы, потому что все к тому времени были уже пьяные и реагировали только на брутальное, вроде матерщины и скабрзностей полового вопроса. — Хотя что такое нынче женщины? — тем не менее гнул свое Хабаров. — Вот раньше были великие женщины — Клеопатра, Сара Бернар. Да и мужчины от них не отставали, носили шляпы. А теперь что? Одне профурсетки, просморкавшие демократию. Искусство пасует перед пошлостью жизни, девяносто пять процентов так называемой художественной литературы — одноразовая пластмассовая муйня, — горько закончил он, глядя на нас искоса, как милая девушка из песни «Подмосковные вечера», слова М. Матусовского, музыка В. Соловьева-Седого.

Спародировать типичное начало из рассказов Вудхауза, содержание которых столь же далеко от российской жизни, как Луна от Земли. Однако, в отличие от Луны, рассказы Вудхауза греют, но не светят. (Реплика интеллектуала, читающего по-английски со словарем.)

Да Хабаров-то отнюдь не прост. Он почему-то разволновался не на шутку, утверждая, что на церковных колокольнях есть специальные пластины, поставленные с ведома православных властей правительством и его госбезопасностью. С целью зомбирования населения в нужном направлении.

— Я, например, из-за этих пластин с вредоносным излучением иногда испытываю беспричинные страх и отвращение ко всему, когда включаю телевизор и гляжу новости, — собственным примером иллюстрировал эту важную информацию Хабаров.

— А в синагоге нету таких пластин? — выкрикнул кто-то.

Вопрос повис в воздухе. В синем московском воздухе неполиткорректный вопрос, невоспитанный.

План рассказа «Неподкупные друзья»:

1. Любование седой стариной.
2. Минусы седой старины.
3. Минусы «неокрепшей» и любой другой демократии.
4. Хвала социуму, частной жизни, обывателям, цыпленкам, которые «тоже хотят жить».
5. Катарсис и реквием на закуску.

«О, эти яростные споры!..» У меня состоялся характерный разговор с одним приятелем по поводу того, что Россия сошла с ума, долго кружилась по темному лесу, заблудившись в трех соснах рыночной экономики, после чего вернулась обратно в город Н., откуда она вышла в XIX веке, когда ее остроумно описал в своем «Ревизоре» писатель Гоголь, которому поставлены два памятника в Москве.

Я сказал, что это очень даже и хорошо, что — в город Н., а не попала, например, в непонятное. Во французский феодализм, к примеру, или, упаси Бог, к Иосифу Сталину «на зону», или к древним египтянам строить за бесплатно пирамиды, как это практиковал рабовладельческий строй.

— Суди сам, — втолковывал я приятелю, — в «Ревизоре» ведь персонажи отнюдь не кровожадные, а лишь одно ворье да идиоты, от которых нет большого вреда и кровопускания для человеческой личности. Равно как и от нынешнего начальства. Которое, как и в этой гениальной пьесе, написанной Гоголем не по заказу, а по велению сердца, принадлежавшего царю, что может, то и делает, как барон Мюнхгаузен, который вытаскивал себя за волосы, или простолудин

Гулливер, одуревший от собственных приключений. Так что — все в порядке, а вот когда у нас в финале новейшей российской истории тоже появится НАСТОЯЩИЙ РЕВИЗОР, вот тогда-то будет по-настоящему страшно, вот тогда-то мы и засуетимся, как вошь на гребешке.

Приятель вяло протестовал, все толковал про какой-то прогресс. Какой такой прогресс? Где он, спрашивается? Прогресс, покажи личико!

Писатель Гдов, допустим, пишет рассказ. О том, как робкий молодой человек влюбился в красивую девушку, продававшую в ларьке мясо и рыбу. Как он долго не решался объясниться с нею. И сделал это только в помещении районного кожно-венерологического диспансера, где она сдавала анализы, а он лечился от гонореи. И как они прожили долго и умерли в один день, случайно отравившись паленым коньяком «Хеннесси».

Писатель Гдов писал рассказ. Параллельно писатель Гдов варил гороховый суп. Он предварительно замочил горох, чтобы горох размяк. Он притомил на сливочном масле лук и морковку. Он не забыл нарезать картошку кубиками, положить укроп, орегон, лавровый лист и в качестве ноу-хау — модную траву «руккола». Суп вышел такой вкусный, что он съел две или три тарелки. А потом тут же пошел в Кремль на встречу президента с писателями и там обделался во всех смыслах этого беспощадного, безжалостного русского глагола.

«Луч света в темном царстве». Вот все говорят — милиционеры, милиционер! Рожа красная, озверевшая от водки. В левой руке резиновая палка, которой бьют по спине. А меня вот около Белорусского вокзала на мосту спешащий милиционер задел за наплечную сумку, набитую книгами, своей выступающей с правого боку кобурой, после чего обернулся и тихо сказал: «Извините!». Отчего я настолько ошалел, что даже не успел ему ответить: «Пожалуйста».

«Роза есть роза есть роза», — говорила Гертруда Стайн. «Эвенок есть эвенок есть эвенок», — говорили алданские бичи, сыгравшие в моей жизни роль Арины Родионовны. «Баба есть баба есть баба», — часто слышал я в винных очередях, практиковавшихся при позапрошлой власти, которая именovala себя советской. Это я к тому, что НАСТОЯЩИЙ ПИСАТЕЛЬ всегда может писать все, что ему угодно, любую чушь. Конечно же, если это — настоящий писатель. Но ведь любой писатель ОБЯЗАН думать, что именно он и есть настоящий писатель и лучше всех других, иначе он не настоящий писатель. Вот почему настоящий писатель никому не завидует. Ведь он-то точно знает, что он — настоящий писатель, а все остальные его коллеги — в большей или меньшей степени фуфло. За исключением пары-тройки других, по мнению настоящего писателя, настоящих писателей.

Подросток Савенко играет роль писателя Лимонова, а писатель Лимонов — роль тов. Че Гевары.

От третьего лица. Гдов взвесился на весах. Оказалось, что вес его составляет 107,2 кг. Гдов сходил в туалет по своему большому делу и снова взвесился. Оказавшись весом 107,5 кг. Сильно удивился Гдов!

Писатель Гдов сидел за письменным столом и пытался работать. Он хотел создать широкое полотно о нравственных страданиях интеллигенции при тоталитаризме коммунистической партии, плавно перешедшем в дикий капитализм. По радио как раз сказали, что Польша объявила люстрацию, будет гонять своих бывших коммуняк, что сотрудиничали с ихней гэбухой.

Гдову внезапно подумалось, что знаменитый детский писатель В.Б. тоже непременно был осведомителем КГБ, хотя никаких явных признаков этого нигде в природе, кроме как на Лубянке, по всей видимости, не существует.

— Получается ли, что каждый, кто выжил при коммунистах, сотрудничал с ними? — громко спросил Гдов неизвестно кого.

И так разволновался, что больше в этот день уже не мог работать.

Гдов завел будильник на десять утра и хотел лечь спать, но в темноте смахнул будильник рукой. Он хотел спать, но подумал, что, когда будильник зазвонит, он его долго не сможет разыскать под кроватью. Гдов, отвратительно ругаясь, долго искал будильник в темноте. Оказалось, что на будильнике уже была утоплена та самая кнопка, которая обеспечивает пробудку. Гдов снова завел будильник и снова его смахнул. «Чаплин да и только», — уныло думал Гдов, засыпая.

В канувшие времена был такой один начальник коммунистов одной латиноамериканской страны, которого звали в советских газетах тов. Родней Арисменди. Гдов сочинил о нем незаконченные стихи:

Кто на свете родней,
Чем товарищ Родней
Арисменди...

Хотел было зарифмовать Арисменди с Айрис Мэрдок, английской писательницей, да не получилось.

Начальники остались прежние. Но раньше они хотя бы обещали коммунизм, а сейчас прямо говорят — хрен вам всем, еще кому, подходит по одному!

Старик (*запевает*):

...страдает организм.
Когда же, сука, будет коммунизм?

«Здесь холодно, сыро, не с кем выпить, отвратительно работает Интернет, медленнее, чем в Китае или в колхозе. На хрен я сюда приехал, когда в Москве блестящее светское литературное общество собралось сегодня вокруг журнала “Знамя”, чтобы чествовать своих кумиров?

На хрен я вообще родился на белом свете, чтобы на старости лет, в начале якобы продвинутого XXI века, очутиться в мире, полном каннибалов, пидарасов, убийц и дикарей, с трудом скрывающих за микроскопическим НАНОслоем цивилизации и прогресса свою первобытно-общинную звериную сущность», — думал наш герой, стоя у Пизанской башни (Италия).

Внезапно ему вдруг показалось, что башня...

22.01.2015, Пиза, Италия*

* Гдов и Хабаров — два известных персонажа сочинений Евг. Попова, прошедших весь свой скорбный путь «опоздавших шестидесятников» от 5 марта 1953 г. до дикого капитализма и соответствующей ему пенсии. Один из них, подобно Ленину, именует себя литератором, другой пишет в анкетах — «временно не работающий», хотя какая разница, кто у нас в стране есть кто, если все мы до сих пор единый народ?

Владимир Шаров

Моя компания

Тысяча и один номер «Знамени» как-то совсем естественно перекликается с «Тысячью и одной ночью Шахерезады». Очень длинная — если мерить обычной человеческой жизнью, а то и бесконечная цепь историй о людях, живших в разные эпохи и — даже когда в одной — совсем по-разному понимавших себя и других. Добавим, что, как и у Шахерезады, все это не только верное свидетельство времени, но и цельное, на редкость поучительное повествование. Впрочем, может, и так, что с тобой просто «не хотели разделить ложе», оттого и заговаривали зубы.

Конечно, формальности, что существуют испокон века, вынуждали тех, кто делал «Знамя» (правильнее, конечно, держал), разбивать, членить этот «шум времени» на месяцы и годы, часто заглядывать и дальше. Впрочем, последнее по понятным причинам получается уже нечетко, будто в дымке. Авторы по своей природе хаотичны, подвержены бог знает каким влияниям. Оттого такое впередсмотрящее, как прогнозы погоды: если чему-то и подчиняются, то лишь народным приметам.

Все же образ грядущих лет — кем они будут населены, как будут выглядеть, конечно, у редакции есть. Его даже печатают на последней странице обложки и, найдя там свою фамилию, ты знаешь, что на пороге тебя встретит призывный взгляд и, подтверждая, что ты не ошибся, тут же вопрос: «Принес?». Если ты отвечаешь «Нет», следует другой: «Когда?». Здесь начинаешь юлить, вилить хвостом, однако без всякого чувства правоты. Совсем другое дело, если в клюве что-то есть. Тут ты, конечно, первый парень. Но и тогда, хоть «Знамя» твой родной дом, люди, которые в нем квартируют, любимые тобой, вдобавок ты перед ними чист — бог знает сколько лет «не ходил налево» — все равно, пока они читают, места себе не находишь, считаешь часы, минуты. Вдруг им это не придется? Ведь ты душу вложил, а главное, уже смирился, что теперь все пойдет по рукам и у «Знамени» право первой ночи. Конечно, сходишь с ума.

Но вернусь к тому, с чего начал. Улица (не Петербургская) сама собой собирается из домов, возведенных разными архитекторами и в соответствии со вкусами совсем разных заказчиков. Так она может существовать невесть сколько лет, а потом один из домов приходит в ветхость, его сносят и на том же месте возводят новый особняк. И тут выясняется, что другие от него отворачиваются, бойкотируют, да он и сам среди них чувствует себя белой вороной. Впрочем, спустя несколько десятилетий все друг к другу привыкают, приноравливаются,

и уже не скажешь, что когда-то, умей дома ходить, они бы и минуту не остались стоять рядом.

Мне кажется, это похоже на знаменскую историю. Разные редакторы в совсем разные времена подбирали, собирали вокруг себя авторов по своему вкусу. Но, конечно, делая поправку и на моду, и на власть, и на стиль. А все вместе благодаря природным особенностям литературы, умению рассказать о рядовой жизни, о бесконечной изменчивости наших взглядов, симпатий, настроений вдруг оказалось историческим источником, которому цены нет.

Все это касается и вашего покорного слуги. У меня шел в «Знамени» небольшой, на один номер, роман. Публикация несколько раз сдвигалась. Вещь то должна была печататься позже, то раньше, так что я не успевал последний раз по ней пройти. Эти перестановки я связывал лишь с объемом, где, в каком номере роман никого не затолкает, не станет теснить, спокойно ляжет на свое место. Но однажды кто-то обмолвился, что они ищут к моей вещи пару. В романе речь шла о музыке, о хоре, и в товарищи ему подбирались соответствующие соседи.

Помню, что по первому разу мне это показалось странным, но теперь я понимаю редакторскую правоту. Работа, которой мы все занимаемся, одинокая, почти аутичная, а журнал, кроме прочего, сведя нас под одной обложкой, каждому объясняет, что, что бы ты сам о себе ни думал, все вместе мы — улица; у тебя есть собеседники, есть близкие люди. И, что ни говори, это утешает, примиряет с жизнью. Да и вообще после нескольких лет изоляции, почти затвора, составить кому-то компанию — великая штука. За все, и за это тоже, я благодарен «Знамени», без которого, может, и не выжил бы.

Сергей Юрский

Три недели

— Ух, ты! — сказал человек. — Целых три недели!

— Да, — сказали мы. — Надо подлечиться. Мы устали. Мы старые люди.

— А вы часто в санаториях бывали?

— Нет, в первый раз.

— На ароматерапию заходите, пожалуйста, — сказала женщина с добрым, неусталым лицом.

Стояли рядами тяжелые некрасивые кресла. В них можно было сидеть, полужелезничать и даже совсем лежать.

Мы нюхали концентрат укропа, играла очень тихая музыка.

Дни были спланированы плотно. Во всех кабинетах тихие вежливые сестры и хитроумные, приятные для тела приспособления. Одно за другим — на улицу некогда выйти. Только раз сходили к озеру, но там лебеди занесли какую-то отраву, и висели объявления, что можно подхватить нехорошее.

На закате мы стояли на балконе нашего большого номера. Небо было в чистых облаках. Желтое солнце над плотным строем высоких сосен грело лицо. Мы курили. Внизу четырьмя уступами теснились крыши подсобных служб санатория. Слева на траве слегка горбатился большой лист железа. Из-под него вылезла кошка, она осмотрелась, подала знак, и тогда вслед выскочили котят. Один, второй, третий.

— Сколько им, месяц? — сказали мы. — Да нет, две недели от силы.

Котят уже отбегали от матери — под козырек стены и в траву, — но сразу возвращались. Она их учила играть друг с другом.

Ни ветки, ни листья вовсе не шевелились. Совсем тихо.

Легкий стук в дверь. Ответственная за этаж пришла проверить, хорошо ли сделана уборка.

— Видели, котят родились под железом, им две недели, — сказали мы.

— Да? Их тут много, кошек. Как вам отдыхается? Нет ли каких пожеланий?

— Нет, нет! Мы целые дни лечимся.

Некоторое время было тихо.

— А где вы сами живете? — спросили мы. — Тут вблизи нет домов.

— В деревне, это за заповедником, — сказала Ответственная. — У меня там хозяйство... Куры, кабанчик... Сын помогает... А младший утонул прошлым летом.

— Маленький?! Как это? Где?

— На озере.

По дальнему шоссе проехала машина.

— Нет, он уже взрослый был, — сказала Ответственная. — Они с его начальником на лодке поехали. Кататься... Или рыбачить.

— И оба утонули?

— Оба.

— Боже мой! — сказали мы.

— Только странно, сын с трех лет уже хорошо плавал. А потом даже чемпионом был... по водному плаванию.

— Лодка, что ли, перевернулась?

— Не знаю. Оба утонули. Его начальник большой человек здесь был.

— Как же это... Следствие-то было?

— Конечно. Сказали, несчастный случай.

— Странно...

— Странно...

— Может, тут преступление? Утопили... — сказали мы.

— Может быть... Его начальник очень большим человеком был.

Шли процедуры. Булькала минеральная вода в ванне. Песочное время тонкой струйкой текло из колбочки в колбочку.

Нам принесли две пепельницы — забота Ответственной по этажу. До этого мы гасили окурки в блюде. А теперь могли курить даже каждый на своем балконе — у нас две комнаты.

Котята каждый день вырастали. Мать учила их прыгать на дерево и цепляться. К железному листу стали подходить дети. Садились на корточки и смотрели.

— Подумай, какие уже большие! — сказали мы про котят. — А она хорошая мать! — сказали мы про кошку. Надо будет принести ей чего-нибудь мясного с обеда. И им тоже. Мы здесь неделю? — сказали мы. — Значит, им уже три недели. Кошки быстро растут.

Мы нюхали лаванду, и звучала тихая музыка. Глаза слипались.

— Когда будем уезжать, им будет уже пять недель, научатся лазать на дерево, — сказали мы.

Назавтра мы принесли им мяса. Кошка вышла не сразу. Мяукнула, понюхала и стала вяло есть. Шерсть растрепана. Котята не вышли.

Вечером мы курили на балконе. Их никого не было.

Утром тоже.

И как-то сразу испортилась погода. Облака стали серыми и низкими, почти цеплялись за верхушки сосен. Пошли дожди.

— Их, наверно, дети разобрали по номерам. Безобразие! — сказали мы. — Или нет... вряд ли... это кто-нибудь из персонала взял домой... Или... скорее всего... Раз тут много кошек, и все будут плодиться...

С неба полило. Во вмятине железного листа образовалась лужа.

— Нет! — сказали мы. — Котят если топят, то новорожденных, а таких больших — нет! Им же уже три недели.

Заглянула Ответственная по этажу.

— Как вам отдыхается? Нет ли каких претензий?

— Нет, нет! Все хорошо, — сказали мы. — И вам всего хорошего!

Погода совсем переломилась, и стало похоже на осень. Из-под железного листа больше никто не появлялся.

Мы нюхали шалфей. И шли процедуры. У нас путевка на максимальный срок. Три недели. Целая жизнь.

* * *

Небо, солнце, тишина.
Сосны, сколько видит око.
Молчаливая жена,
Погруженная в sudoku.

Вот, Наташа, наш предел:
Ванны, душ — услада тела.
Я вот этого хотел,
Ты-то этого хотела?

Серы гладкие дороги,
Блекло небо, светлы тропы,
Красны сосны-недотроги.
Тихий край — изгой Европы.

Нарочь. Июль 2013

Шамшад Абдуллаев

Блеск артезианской воды

arspoetica

николай николаевич по
фамилии горже-горжевский служил
с твоим отцом в (синьцзяне)
восточном туркестане в кавалерии потом
вместе освобождали прагу решил
в карачарове где ты в июле
семьдесят четвёртого пятнадцатилетний хиппарь
отдыхал познакомиться тебя со своим
добрым давним другом зовут
соколов-микитов ты ведь знаю книгочей
до этого по просьбе отца водил пацана
по китай-городу призраки купцов
коробейников белошвеек в кремль в гум
и даже (ты настоял) сходили на редкий по тем временам
концерт skaldowie конрад ратинский хвалёную бас-гитару
держал как ланселот всамделишный меч
тропа берёзы сосны впереди
встаёт что-то вроде усадьбы возле
калитки дачного домика вас
улыбкой приветчает пожилая хозяйка
самовар чаепитие на террасе спустя 10 минут
богоравный старик слепой в скуфье
мягкий-мягкий голос навеки
сидит в чёрном кресле мягкий-мягкий голос
и вспоминает арктику и алексея толстого
через час возвращается по той же тропе
берёзы сосны ковыль молочай зубровка
примула тимофеевка незабудка
лошадь взяла в галоп где-то на краю леса
и вот вы поднимаетесь на пароход
земля тут нужна чтобы лишь коснуться её
и парить дальше — для марионеток и эльфов —
и плыть без парусов не замочив
гофрированных подошв тупоносых полукед
между тем под вами в каспий шествует итиль
на палубе бабы парни
пляшут оступись гармонь балалайка почему
не танцуете спрашивает мужик

устроился рядом с тобой на скамье
не умею отвечаешь как
цыган (ударение на первый слог) и не умеет
танцевать я не цыган (ударение на второй слог)
говоришь он не цыган (ударение на второй слог) говорит
николай николаевич притулившийся тоже рядом на скамье
а вы кто спрашивает мужик
я... пауза... счетовод в Госснабе
о незнакомец качает головой восхищённый в то время как
в синей бездне в облаках
появляется «победивший дракона» тот самый
кто не требует никаких наград
угрюмый всадник что мчится вдаль на коне
без всякой цели к иному небу
к иному сиянию *полному жаворонков*

Деревья в Фергане

ПАМЯТИ РЕНАТА ТАЗИЕВА

Они спокойны, потому что их —
гармись дует, *саратан*^{*},
золотой джокер лютого лета,
последняя марь твоего
пыльного полдня, дует наш *нот*,
пока ты смотришь на кровельный залом
одноэтажного дома в пустом конце сдвоенных улиц
(вдали, на глиняном подмостке за городским базаром,
в дымке сорного вихря какой-то тип,
уплощённый расстоянием, подносит снизу правую руку
к своей скуле, будто вбивает апперкот
себе в андрогинную челюсть, — на самом деле
закидывает горсть насвая под свой язык;
чичероне обкуренных окраин послал
никому шпанистый салют),
откуда открываются солнечная пропасть
и наклонный выпас, — убьют.

17 июля 2013 г.

Читая «Алжирский дневник»

В нынешней якобы идиллии тоже стоишь
на ступень от чёрного зияния, как в сорок четвёртом,
Сен-Клу, Кампо Оспедале, Сент-Барб, Сиди-Шаами.
Никакой разницы. Тот же вялый поиск
хотя бы тупого покоя в безблагодатном обитании под пустым небом,
как в лагере для военнопленных, Серени.
Медноклювая горлица села на дощатый подоконник —
тотчас отводишь взгляд от птицы,
чтобы не мешать ей, восседающей на поперечной доске,
парить неподвижно в летнем просторе.

* *Саратан* (вост.) — самый жаркий месяц.

Владимир Березин

День шахтера

рассказ

Их спросили, будут ли они смотреть могилы.

Раевский ответил, что да, конечно.

Тогда нанятый на целый день таксист из местных провел их по тропинке между гаражей и хитрым крючком отворил скрипучую калиточку. Так они попали на погост, начинавшийся причудливым склепом. Надгробные камни торчали из травы, будто грибы. Мрамор обтек черными слезами, и имена графов и графинь были едва видны. Биографии угадывались лишь по орденам и званиям.

Спутница его читала стихи на камнях: «До сладостного утра». «В слезах мы ждем прекрасной встречи» — и все такое.

Они сделали круг и вернулись к машине.

— А что за горы там, на горизонте? — спросила женщина.

— Так это ж терриконы, — оживился таксист. — Тут ведь шахтерские места, я и сам шахтер. Тут повсюду — уголь: подмосковный угольный бассейн, Мосбасс. До пятьдесят седьмого, кстати, Московская область.

Он начал рассказывать, но Раевский уже не слушал его.

Подмосковный угольный бассейн — это была жизнь его отца.

Дед не вернулся с войны, он сгорел в пламени Варшавского восстания, спрыгнув на город с парашютом — с непонятным заданием. О нем архивы молчали, *будто набрав крови в рот*, по меткому выражению классика. Всю жизнь Раевский хотел понять, что там случилось, но спросить было некого, разве вызвать молодого человека с капитанскими погонами из серой тьмы последней фотографии. Отец пошел в горный институт, потому что там давали форму и паек. Поэтому всю жизнь он ездил по окраине Московской области, по этим шахтным поселкам. Нет, не рядовым шахтером, конечно, но служба у него была подсудная — случись что с крепезом и прочностью подземных кротовых нор, его, может, и не расстреляли б в потеплевшие уже времена, но сидеть пришлось бы долго.

А уголь тут был дурной, с большой зольностью. Зольность — таково было слово. Уголь кормил электростанции в Суворове и Шатуре, пока его не убил дешевый газ — то, что пришло в трубах с востока, сделало ненужным черное золото. Отец рассказывал, что зольное золото начали копать еще при Екатерине, а бросили совсем недавно. Впрочем, отец про недавнее не рассказывал — до недавнего он не дожил. И теперь уголь остался в этой земле, недобранный, недокопанный. «Московский бассейн» было только название — пласт лежал от Новгорода до Рязани, да только был нынче брошен, как старый колхозный трактор.

С некоторым усилием Раевский вернулся на дорогу, к старой чужой машине.

— И шуточку «даешь стране угля» мы чувствуем на собственных ладонях, да! — закончил уже таксист. — Но я не примазываюсь. Я ведь на шахте только год проработал, а потом в газете. Газета такая была — «Московская кочегарка». Мосбасс, все дела. У нас особая жизнь была: хоть и шахты, но везде — огороды, яблони. Без яблонь тут — никуда. Самые у нас яблоневые места. Ну, и гнали, конечно, как без этого. Вы сейчас в церковь пойдете, а потом я вас еще к истоку Дона свожу. Я знаю, где настоящий исток — вы не верьте тому, что про него пишут. Здесь два места есть — одно парадное, с памятником, куда свадьбы возят, а другое — настоящее. Парадное, конечно, покрасивше будет, да только настоящее — другое. Сами поймете... А сейчас — в церковь. Тут у нас планетарий был.

— Я знаю, — кивнул Раевский.

Он все знал про планетарий. Он знал про него больше многих.

Историю планетария поведал ему отец, еще когда Раевский был школьником. Отец уже тогда тяжело болел, и Раевский вспоминал старый рассказ о горячем камне, что нужно разбить, и жизнь тогда пойдет наново. Только всегда оказывалось, что бить по камню нельзя, а нужно терпеть.

И тогда отец рассказал ему про странного человека, что жил тут в давнее время. Время «до войны» было давним, неисчислимым, почти сказочным. Там отцы носили отглаженные гимнастерки с большими карманами и широкие ремни со звездой на пряжке. Там были живы все их ленинградские родственники, что теперь только смотрели со снимков, выпучив глаза, а их дети надували круглые пока щеки. Там было все по-другому, если не обращать внимания на перегибы. Перегибы, да. Было такое слово. С дедом до войны был какой-то перегиб, очень хотелось его об этом спросить, но опять приходилось терпеть.

Спросить деда было нельзя, а отец ничего не рассказывал — может, не знал и сам.

Так вот, отец поведал Раевскому про странного человека, который всегда найдется в России — гениального механика, что жил среди шахт Мосбасса. Ему был вверен клуб, в который, по традиции тех лет, была превращена церковь.

Шахтеры пили крепкий яблочный самогон на паперти, а потом спускались в заросший парк. Они шли устало, обнимая своих подруг. Лица шахтеров были покрыты черными точками угля, будто татуировками древних племен. Подруги были податливы и добры, потому что век шахтера недолог и нечего ломаться.

Они ложились в августовскую траву между древних могил, и над ними в сумерках горели строки, выбитые на памятниках.

«До радостного утра». «С любовью и скорбью я думаю о тебе, мой друг. Покойся с миром, возлюбленный супруг».

Яблоки глухо били в землю.

Был яблочный праздник, день шахтера, после которого дети появлялись в мае, уже при рождении с угольными точками на лицах.

В этот час в церкви начинал свою работу механик — крутился чудесный аппарат, и на стенах зажигались звезды. Святые, наскоро замазанные белилами, подсматривали за этим в оставшиеся щелочки и не возражали против лишней смены дня и ночи.

Потом «до войны» кончилось и пришло иное время, когда сюда прорвались немецкие мотоциклисты.

Гений механики совершил тогда единственную ошибку в своей жизни — он починил водопровод, из которого пили все — и оставшиеся шахтерские жены, и немцы, конечно. И в тот час, когда мертвые мотоциклисты уже валялись в снегу по обочинам дорог, а мимо них, на запад, прошла красная конница, за ним пришли.

Механик исчез, он превратился в уголь, наверняка — в местный уголь повышенной зольности. Мальчик, слушая отца, твердо знал, что при немцах не нужно было чинить ничего, а только что-нибудь взорвать. Но отец напомнил ему о зиме, и шахтерских женах, что ходили пузатыми в ту зиму. Им нужно было родить тех детей, что были зачаты среди лип старого парка. Верного ответа не было, но по-всякому выходило, что механик правильно разменял свою жизнь на ледяную воду.

Однако планетарий остался, и когда наступило время «после войны», то в клуб пришел другой человек, у которого пустой рукав гимнастерки был заправлен за широкий ремень со звездой на пряжке. На куполе храма зажглись звезды, и дети с угольными метками на лицах смотрели вверх, где яркие точки скользили по скрытым от них лицам святых.

И вот тогда обнаружилось, что если заметить в темноте церковного неба падающую звезду, то можно вернуться в прежнее время, туда, где яблоки еще не упали с веток, и все еще были живы.

— Только помни, — сказал наконец отец, — это можно сделать только один раз, и потом уж не жалуйся. Ведь человек всегда думает, что раньше было лучше, из-за того, что он знает, что было. Вернее, придумал, как было. А на будущее фантазии ни у кого не хватает. Оно никому не известно. Никому, кроме, быть может, тех нарисованных на стенах людей, в которых ты не веришь, но они все равно подглядывают сквозь неровную побелку. Они все еще там и качают головами с надетыми на них странными золотыми кругами.

Но мальчик его уже не слушал, он представлял себе мрак, стусившийся под высокими сводами, будто в шахте, вывернутой наизнанку. Рядом стоит дед, и падает в угольном пространстве электрическая звезда.

Раевский вошел в церковь.

Его спутница осталась снаружи и курила, глядя на то, как на городок наваливается августовская ночь.

Шел пьяный, вычерчивая в пыли одному ему ведомую траекторию, старуха вела козу. Проехал ржавый пикап, в кузове которого были навалены неправдоподобные огромные яблоки.

Раевский уже не видел всего этого.

В церкви было пусто.

Он встал на то место, где раньше стоял планетарный аппарат — о нем напоминали щербинки в гранитном полу. Откуда-то сбоку вышел священник и строго взглянул на него.

Священник все знал, и не нужно было ничего объяснять. Он смотрел на Раевского скорбно, но с пониманием. После паузы он спросил:

— А она?

— Она тут ни при чем.

Батюшка снова твердо посмотрел ему в глаза, будто спрашивая, уверен ли он.

— Уверен, — тихо ответил Раевский на незаданный вопрос.

Погасли свечи. В церкви стусился мрак, и фигуры святых, очищенные от краски, зашевелились.

И вдруг в темноте купола зажглась первая звезда.

За ней — вторая.

И вот их уже был десяток.

И небо, и мир вокруг Раевского начали движение, угольно-черный купол накрыл его, и все исчезло.

Александр Кабаков

Дачная местность, зимний пейзаж

Страшный сон

В ранней молодости я дружил с музыкантами и художниками, а писателей не знал буквально ни одного. Не то что друзей, но и просто знакомых не было. Сторонился, словно предчувствовал будущее взаимное раздражение. А как ему не быть, если теперь всё наоборот: кроме литературных людей, в иной месяц и словом ни с кем не перекинусь... Поначалу человек живет свободно, но с возрастом становится слаб, труслив и укрывается от мира в толпе себе подобных, а потому неприятных.

Впрочем, и в те давние времена молодости мой выбор компании был, теперь можно признаться, подсознательно корыстным.

Дружба с музыкантами давала доступ к захватившей меня еще в отрочестве джазовой музыке — она была полузапретной, американскими пластинками торговали из-под полы, нарываясь на срок, но у музыкантов всегда было что послушать. А уж на редкие концерты отечественных джазовых гениев только с помощью этих гениев и можно было прорваться. К тому же большая часть советских джазменов принадлежала к числу так называемых стилиг — щеголей, носивших западную, желательную американскую, одежду и вообще придерживавшихся американского стиля во всем. Изображать потенциального противника было интересно, поскольку немного рискованно...

Что касается художников, то склонность к общению с ними объяснялась еще более материальными причинами. Кроме искреннего восхищения их ловкостью в ручном труде, которым, пренебрегая духовной составляющей, я считал всякое пластическое искусство, мною руководили соображения прямой пользы: многие художники имели мастерские, частично — и весьма умело — превращенные в жилье, как правило, довольно просторное. Там можно было переночевать и даже пожить месяц-другой, стараясь не путаться у хозяина под ногами, там можно было перехватить чаю с бутербродом, а то и рюмку, туда приходили девушки, тянувшиеся к искусству, особенно к непризнанному... В нищей и бездомной молодости все это было существенно.

Теперь из них, звезд советского андеграунда, остались только несколько старых друзей, чьи телефоны записаны в памяти моего мобильного и уж пребывают там до тех пор, пока не настанет время стирать один за другим — абонент навсегда недоступен, он находится вне досягаемости сети и останется там во веки веков. Аминь.

Среди тех, кому пока еще можно позвонить, есть живописец и график, признанный мэтр, едва ли не классик современного отечественного искусства, чьи

работы очень прилично продаются и на родине, и даже в Европе. Поскольку сочинение это абсолютно документальное, назовем его, чтобы остался неузнанным, N.

Итак, N., многими считающийся порождением новых времен, мне хорошо знаком больше тридцати лет, и все тридцать он менялся непрерывно, каждую минуту становясь новым в полном соответствии с обновлением самого искусства. Когда-то с фотографической точностью переносил на холст все безобразие позднесоветского быта и именовался суровым реалистом, теперь, как положено, изображает нечто, требующее долгих пояснений, — концептуалист... Нет, не новые времена породили его, а он и подобные ему создали эти времена. А его товарищи по цеху и поколению, закосневшие, упершиеся лбами в стену принципов и навыков, бедствовали, подвергались уничтожающим рецензиям новейшей критики после каждой выставки. В результате элементарно не хватало на жизнь... А N. постоянно и почти безоговорочно хвалили. Он и еще с десятков удачников его возраста крутились в галереях, ездили на биеннале (иногда за счет министерства, соответственно, эстетики), продавали работы, строили загородные дома со стеклянными верандами, так что сразу было видно — не просто нувориш живет, а творец, маэстро...

Молодых-то таких было много, сотни. Они давали долгие интервью, непонятно объясняли смысл своих непонятных работ, дразнили власть непочтительностью и просто грубостью, из которых, собственно, эти работы и состояли... Но молодые на то и молодые, чтобы грубить и тем отвоевывать свое место. А N. и ему подобные были возраста вполне академического, и их пребывание среди бойких художественных тинейджеров вызывало презрительное удивление у не столь удачливых ровесников и, конечно, зависть, скрыть которую было невозможно, да завистники и не пытались.

Сказать по чести, я совершенно не интересовался тем, что в последние годы делает N. То есть с меня было достаточно знать, что он далеко не бедствует, жизнью удовлетворен и вроде бы здоров в пределах, как говорят врачи, возрастных норм. В конце концов, это и есть дружба — то, что не зависит от профессиональных успехов и даже от общественного лица. Хотя бы он и негодяй был, а *нет уз святее товарищества*, как писал писатель Гоголь в своей чудовищной повести о сыноубийце.

Да я и сам оказался в числе немногих выживших в своей профессии. Издавали меня легко и безотказно, критика была не восторженная, но почтительная, читали... Ну, читали вроде бы, а в подробности читательского отношения я не вникал. Большинство товарищей по, так сказать, перу *выпало в осадок* — а дружбе очень вредит, когда один в осадке, а другой вполне благополучен. Дружить, как это ни отвратительно звучит, можно только при более или менее равных доходах.

Так что время от времени наезжал я на дачу к N., садились мы в его сплошь стеклянной веранде, где иногда он писал маслом, выпивали в свое удовольствие — он гнал прекрасный самогон, чем очень гордился (и что не мешало пить и дорогие односолодовые сорта виски). Жил N. одиноко, как и подобает старому художнику. На стол подавал его не то приятель, не то слуга, который присаживался тут же, потом незаметно исчезал, когда разговор заходил о тайнах и, так сказать, божественной сущности творчества... Да.

А что именно делает сейчас N. как художник, я никогда не спрашивал. Просто не было интересно.

...В тот раз я приехал довольно поздно, еле продрался сквозь пробки. Оба мы были в плохом настроении. Я, из-за проклятых этих пробок недовольный миром больше обычного, и он, явно чем-то напряженный, нервы натянуты, рот дергается, говорит отрывисто — того и гляди, сорвется в истерику...

За ужином почти не разговаривали. Приживала его не было почему-то, закусывали самостоятельно всякой сухомяткой из пластиковых плоских упаковок. Он торопливо выпил полстакана, налил еще, выпил с такой же жадностью...

— Что случилось? — не выдержал я. — Расскажи, а то ведь лопнешь...

И тут же пожалел о своем легкомысленном тоне.

Он молча сунул мне какой-то журнал, с первого взгляда распознаваемый как культурный глянец — фотографий и описаний дико дорогого барахла в таких журналах бывает поровну с как бы культурологическими и даже политологическими эссе. Журнал был открыт на разворотном тексте под заголовком «Время пустоты. N. и мошенничество как художественный прием». Некоторые и, на мой взгляд, наиболее оскорбительные слова были закрашены красным фломастером. Имя над публикацией стояло знакомое даже мне, совершенно далекому от актуального искусства: автором выступала дама, которую едва ли не первой стали называть культурологом. На мой взгляд, примечательна она была, прежде всего, своими гигантскими формами и, только во вторую очередь, страшно-ватой самоуверенностью — без которой, впрочем, не бывает, да и быть не может никакой художественной критики.

Как писали в древних романах, я погрузился в чтение.

Суть мною прочитанного можно изложить в нескольких фразах — если, конечно, излагающий не культуролог.

Уже много лет известный художник N., некогда скучный, но честный реалист, издевается над культурной общественностью, выдавая свои пустые, ничем не заполненные холсты за произведения в изобретенном им — и только им представленном — стиле «емпти-арт», от английского слова «empty», «пустота». Предполагается активное участие зрительского воображения в создании законченного художественного образа. Между тем никакого художественного образа возникнуть не может, поскольку экспонирование обычных пустых холстов есть лишь ловко придуманное шарлатанство, лишенное какого-либо концептуального наполнения... Что-то было написано вроде этого — если пропустить уличные ругательства и совершенно неизвестные мне слова из культурологического лексикона.

Больше всего меня поразила наглость фигуристой авторши — королева шарлатанства уличала в шарлатанстве одного из ее подданных...

Между тем, пока я читал, мой друг успел сделать многое.

Он повернул к себе пустым, но, очевидно, уже загрунтованным холстом подрамник на мольберте.

Надел клеенчатый фартук.

В несколько минут обозначил углем контуры будущего изображения — само собой разумеющегося: дачный пейзаж с неглубоким снегом и кривыми голыми ветками, увиденный сквозь рассеченное частым переплетом стекла веранды.

Как тоскливо на даче в начале зимы! Боже, как все тоскливо...

К тому времени, как я закончил читать пасквиль, он вовсю писал, роняя с кисти капли то белил, то испанской сажки. Уже проступало будущее изображение — он всегда работал быстро. Именно скучный, но добросовестный реализм.

Бутылка почти опустела, мое участие в опорожнении было незначительным — зачитался.

Все происходило в полной тишине, он так ничего и не ответил на мое предложение излить душу.

И тут я — со мною это бывает, как будто черт за язык дергает — ляпнул еще одну бестактность.

— А почему бы тебе действительно не вернуться от своего пустотизма, или как его, вот к такой нормальной живописи? Она, конечно, нахальная дура, но...

Это мое «но» не прозвучало бы, если б культуроложеские ругательства не были иллюстрированы. Но фотографии пустых выставочных залов с не менее пустыми полотнами на стенах меня, скажу прямо, убедили. Другое дело — кто меня просил вылезать со своей откровенностью?

Я убил бы за такую правду-матку, а N. сдержался.

— Подожди, я закончу, — сказал он. — А пока сходи за новой бутылкой. Там, в гараже, стеллажи...

Я нашел подходящую настроению бутылку, едва не обрушив полки его винного погреба, и принес ее на веранду. Он уже действительно закончил писать и убирал лишнее шпателем. Получалось вполне симпатично — холст вобрал и мое растерянное молчание, и его беззвучную истерику, и общее уныние буднего дня на даче, и даже кисловатый запах виски. Неплохой он живописец, подумал я, неплохой. Был.

Законченную работу он повернул лицом к стене, сам сел в плетеное кресло напротив меня. Вдруг зашел обычный пустой разговор — об окружающем повальном пьянстве, о нашем месте в этом общем деле, о сопутствующих и самостоятельных болезнях, об удручающих новостях из телевизора, о старости вообще и потере сил в частности... И о женщинах, конечно, поголовно глухих к шуму жизни.

Говорил он спокойно, только рот время от времени дергался да рука дрожала — уж не из-за этого ли тремора изобрел он свой эмпти-арт? Руки-то не нужны...

Минут через сорок он перебил сам себя.

— Пора, высохла, — сказал он, — приготовься.

Я не успел спросить, к чему мне надо приготовиться.

Он повернул подрамник холстом наружу.

Холст был пуст, только в том углу, который он записал последним и который еще не совсем высох, проступали тени мазков.

— Ты понял? — спросил он. — И ничего сделать нельзя. Я пробовал.

Я все понял, но не ответил.

...Когда я уезжал, он начинал третью бутылку. Пил он уже полулежа в кресле, при каждом глотке сползая с него.

Не следовало мне ехать — из выпитого литра с лишним граммов триста приходилось на меня.

Но я все понял и уже не мог ждать, пока виски выветрится.

Судьба, как известно, хранит пьяниц и сумасшедших. Я доехал без осложнений.

Почему я никогда не открываю авторские экземпляры, бессмысленно упрекал я себя всю дорогу, почему не прочел ту рецензию, о которой мне говорили нечто странное. Ведь я был неплохим беллетристом, думал я.

Слежавшаяся в стопке книжка захрустела и раскрылась.

Страницы развернулись веером.

Они были...

Андрей Турков

Накануне «праздника со слезами на глазах»...

Вдруг припомнились и «зацепили» строки тридцатилетней давности:

Госпиталь. Юность. Война.
Как они, право, сумели
Вынести это сполна?

Адресовано-то это было Константином Ваншенкиным «девушке в длинной шинели», — может, бывлой однокашнице по Литературному институту Юлии Друниной с ее пронзительным:

На ничейной догорают танки.
Удалось дожить до темноты...
Умоляю — лишние портянки
И белье сдавайте на бинты.
Я стираю их в какой-то луже.
Я о камни их со злостью тру,
Потому, что понимаю: нужно
Мне все это будет поутру...

Но и не обо всем ли нашем поколении сказано, тоже «вынесшем сполна» военное лихо? «Окопы копаю... может быть, могилу», обронил в первые, самые лютые годы Василий Субботин, впоследствии прославившийся стихами о победных боях в Берлине.

А Сергей Орлов, чьи юные жизнерадостные строки еще до войны приметил Корней Чуковский, вошел в литературу реквиемом солдату, которого «зарыли в шар земной... как будто в мавзолей», и другими скорбными стихами:

Год мы этот город штурмом брали.
Над болотом с черною водой
Танки шли, горели, догорали,
Столбики вставляли со звездой.

Сам Сережа выбрался из пылавшей машины полуослепшим и дополз до своих по гусеничному следу.

Но забыть ли о тех, кто до Победы не дожил?! Горько помнится телеграмма, наклеенная на свежий лист стенгазеты: «МОСКВА ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР 25 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ = МОЙ МАЛЬЧИК ЕВГЕНИЙ ПОЛЯКОВ УБИТ = МАМА» — и рядом его стихи:

Если я останусь в живых
И сохраню все, что намечал,
То я от капель дождевых
Спать не буду по ночам.

Но о таких, как этот мальчик, через десятки лет прозвучит в ваншенкинской песне:

Ах, велика ему шинель
И велика ушанка.
Но оказалось, что ему
И жизнь великовата.

Забыть ли и о тех, кто, по горестному выражению Александра Межирова, «заторопились умирать» в первые же мирные годы, как его друг Семен Гудзенко, словно бы «подтвердивший» справедливость сказанного ранее: «Мы не от старости умрем. От старых ран умрем», что поначалу вызвало иронические критические отзывы.

Думая о дальнейших судьбах уцелевших, «счастливиц», нет-нет и вспомнишь строки Сергея Наровчатова:

А лишь окончится война,
Тогда — то, главное, случится!..

И мне, мальчишке, невдомек,
Что ничего не приключится,
Чего б я лучше делать смог.

Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.

Одно ли тут осознание всей значительности испытанного, пережитого на войне? Или еще и пусть смутное сожаление о «не приключившемся», не состоявшемся, заставляющее вспомнить не только предсмертную констатацию другого ветерана-ровесника Бориса Слуцкого: «В ожидании скорого сдвига жизнь как есть напролет прошла», который очень рано ощутил горькую «невысказанность» мыслей, планов, надежд, той «жажды трудной работы», о которой, пусть довольно декларативно, говорилось в стихах Михаила Луконина, и куда конкретней, деловитее, обстоятельнее в появившейся в последние годы войны повести Валентина Овечкина «С фронтовым приветом».

«Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны», — скажет Слуцкий в первые мирные годы. (Много лет спустя человек другого поколения, критик Игорь Дедков, ответит эхом: «Такие люди, как я, им не нужны», — не только на приведенные выше строки, но и на другие: «Таких, как я, хозяева не любят».)

«Вынести сполна» пришлось не только долгое, десятилетиями, противостояние «им» и годы застоя, но и запоздалый «огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля» на рубеже веков, драматически сказавшийся на многих судьбах.

Больно читать отчаянные строки Друниной, не захотевшей «оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире», как сказано в ее предсмертной записке:

Как летит под откос Россия
Не могу, не хочу смотреть...

или стихи из последнего сборника Михаила Дудина:

И ворон простер над пространством крыла.
И — ни огонька в утешенье.
Была ли победа? Была да сплыла.
Осталось одно поражение.

И нет половины России. И нет
Великой и дерзкой отваги.
И мрачен холодный и мутный рассвет.
И выцвели гордые флаги.

Салют отгремел. Захлебнулся горнист.
Молчат корабельные склянки.

(«Прощание “Славянки”»)

Ах, как легко не «расслышать» эту горькую ноту в праздничном гуле приближающегося юбилея Победы, а то и вовсе поторопиться пропустить имя автора в перечне тех, кто «этот день... приближали, как могли». И имели право с законной гордостью и доброй улыбкой сказать о себе, как тот же Дудин:

Пусть не мостом гремящим славой
Времен, речений и речей,
А был я малой переправой
В две жердочки через ручей.

...

И я судьбой своей кому-то
Помог в сегодня перейти.

(«Все точно выразить не смею...»)

Пусть снова прозвучат старые прекрасные слова: «Никто не забыт и ничто не забыто!».

Леонид Зорин

Две строки

По случаю выхода в свет романа Морковин собрал друзей-литераторов на ужин, чтобы совместно отметить это волнующее событие. Атмосфера была приподнятой, благостной, даже в какой-то мере торжественной. Каждый из приглашенных коллег — кто лаконично, а кто развернуто, в меру своего темперамента, — когда доходил до него черед, приветствовал и поздравлял хозяина.

— Да, брат, — сказал беллетрист Анатолев, почтительно взвешивая на ладонях увесистый морковинский том, — полтыщи страниц — не хухры-мухры. Это тебе не какой-то рассказик на два листочка, тут не шути, тут семь потов с тебя сойдет.

— Пять лет, — со вздохом сказал Морковин, — пять лет не видел божьего света, горбатился с утра до полуночи. Жена бывало разводом грозила, сын вырос, уже меня перерос, дочь замуж вышла, а я, как в тумане, поздравить толком ее не успел. Полжизни отняла эта книжица.

— Зато появился кирпич так кирпич, — веско сказал Феофилакт, — говорю это как романист романисту. Иной напишет тебе рассказик, а ходит гоголем, хвост распустил. Но нетушки, Гоголь — другая птица. «Мертвые души» за день не слепишь — это, дружок, не чай с вареньем. Недаром так скоро отдал концы.

— А Чехов? — запальчиво возразил почувствовавший себя уязвленным обидчивый новеллист Зарайский, — две-три странички, а между тем каждый такой «рассказик» — жемчужина.

— Пусть так, — усмехнулся Феофилакт. — Но потому что таких жемчужин скопилось на три десятка томов. Количество проявило качество. Иначе и Антону бы Павловичу несдобровать — пучина, забвение и водоем под названием Лета. Вспомните, что сказал Ренар. Неглупый был, между прочим, малый. «Гении — это волю. Садятся и пишут сто, двести, триста страниц».

Поднятая Анатолевым тема задела гостей, возникла дискуссия. Похоже, что он ненароком попал в особую болевую точку.

Один лишь фельетонист Гурий Нильский, тощий флегматик почтенных лет, многозначительно помалкивал. Когда-то за его ядовитость коллеги прозвали фельетониста нильским крокодилом. Но сам он на это прозвище не обиделся, больше того, был даже польщен. После чего эта характеристика была окончательно легализована — она прижилась и с течением времени вытеснила его имя-отчество.

Поэтесса и переводчица Лапкина, в недавнем прошлом весьма привлекательная, кокетливая уютная дама, недоуменно проворковала:

— Крокодайл, почему вы безмолвствуете? Ваше молчание интригует.

Нильский сказал:

— Если вам любопытно, могу поделиться одним неожиданным, но не случайным воспоминанием. Сам не пойму, отчего оно выплыло.

— Делитесь, — кисло сказал Морковин.

— Помните вы такое двустиише — «Легкой жизни я просил у Бога, Легкой смерти надо бы просить»?

— Кто же не помнит? — сказал Анатолев.

— А не подскажите, кто его автор? — осведомился фельетонист.

Гости задумались. Феофилактово смущенно покачал головой.

— Чертова память... — пробормотал он. — Вертится на языке, а не вспомнишь.

— Всегда вы поставите в тупик, — обиженно протянула Лапкина. — Еще улыбается. Фу, какой вы...

— Предвидел это, — осклабился Нильский. — Обидно. И грустно. Эти две строчки принадлежат человеку достойному. И безусловно — незаурядному. Ивану Ивановичу Тхоржевскому. Припоминаете эту фамилию?

Гости задумчиво безмолвствовали.

— Злой, нехороший, — чирикнула Лапкина.

Сколь ни странно, веселое оживление, царившее в застолье, скукожилось, а вскоре гости стали прощаться.

Оставшись один, огорченный Морковин взял в руки новорожденную книгу и озабоченно перелистал. Потом поддержал ее в ладонях, как будто взвешивая ее. Медленно положил на стол. Томила неясная досада.

Устало подошел к книжной полке и, сняв с нее том энциклопедии, стал в ней искать упоминание о неизвестном ему поэте. Однако ничего не нашел.

И лишь неделю спустя он собрал несколько красноречивых подробностей.

Иван Иванович Тхоржевский явился на свет в последней четверти девятнадцатого столетия. Не стало его шестьдесят лет назад. Родился в литературной семье. Родители выпустили в свет собрание песен Беранже. Он получил образование в Санкт-Петербургском университете. Ему предстояла научная деятельность, но он предпочел статус чиновника. Был управляющим канцелярией. Стал председателем совета акционеров голландского банка. Переводил Верлена и Пруста, даже рубайи Омара Хайяма.

Но странное дело! Его карьеру, такую успешную и основательную, его переводы, его стихи все перевесило восьмистишие, верней, заключительные две строчки. Первые шесть ничем не выделились из стихотворного потока. Вся семидесятилетняя жизнь, как выяснилось, была прожита, чтоб появились те две строки.

Морковин чуть слышно проговорил:

— Легкой жизни я просил у Бога, Легкой смерти надо бы просить.

Потом, вздохнув, отправился спать.

Но так и не заснул до утра.

Михаил Айзенберг

Вековые ели

«Вековые ели!» — прочувствованно выдохнул мой случайный спутник, разглядывая прихотливо изогнувшиеся от времени, почти приникшие к речной воде усадебные ивы. Ивы были действительно очень старые, еще девятнадцатого века. А человек был здешний, достаточно вменяемый, и, безусловно, знал, как выглядят ели. Но сила клише победила, он «увидел» ели. (Если быть точным, это не вполне клише, а нечто подобное «постоянному эпитету», только здесь не существительное притянуло эпитет, а наоборот.) Язык опередил и даже заместил собой зрительную способность. Та же история происходит и с большинством литераторов.

Это, конечно, курьез, да в нем намек. Не так просто увидеть то, что видишь, а не то, что тебе подсказывает языковая традиция, забегающая вперед в надежде показать что-то свое, заветное. Художник Владимир Вейсберг считал человеческое зрение чем-то вроде дефекта восприятия. Отталкиваясь от этой идеи, путь живописи от импрессионистов до недавних опытов (например, Семена Файбисовича) можно увидеть как работу над/с этим обнаружившимся дефектом: как попытку понять, что же мы видим на самом деле.

Знакомая девушка делилась впечатлениями от Московской бьеннале современного искусства, вполне восторженными. «Но потом я спустилась в переход на Тверской, — вдруг закончила она, — и там *такая* инсталляция, рядом с которой все это детский лепет». Казалось бы, действительно: привозить к нам такое искусство, все равно, что в Сахару песок. Но ведь *увидела* она эту «инсталляцию» только после бьеннале. Так когда-то после выставки Раушенберга для меня вдруг стали произведением искусства стекло автобуса с бегущими каплями, железо окантовки, наплывы краски. Я их увидел.

Или сравнительно недавно: вышел с выставки Йозефа Бойса, прошел двадцать метров, а там сложенные в стопку деревянные поддоны, рядом груда металлических труб. Стою и любуюсь: как красиво!

Искусство Бойса не акционизм, а род философствования в форме художественного действия, оперативная философия. То есть своего рода экстремальный вывод из Витгенштейна, говорившего, что философия — это борьба против очарованности ума языком. Наши «Коллективные действия» взяли методику Бойса, заменив его пассионарность социальным аутизмом.

Иногда кажется, что лучшие инсталляции Александра Бродского сделаны как раз не Бродским, а особой (исчезающей) архитектурной средой. Они вы-

росли как грибы и стоят кое-где в московских дворах, в подмосковных поселках — неузнанные, неоцененные. Но авторство Бродского как-то распространяется и на них. Он позволил нам их увидеть; их ностальгический облик получает новый смысл в его работах.

Вероятно, ностальгия — союзница эстетического чувства. Время работает против вкусовых предпочтений ушедшего дня, заволакивая объекты особой патиной и ностальгическим флером. Только сейчас, когда Москва почти сплошь заражена архитектурным фурункулезом, появилось эстетическое отношение к убогим изделиям советских времен, невероятно агрессивным и одновременно беззащитным. Ностальгия смягчает убожество, переводит его в другое состояние. Появляется дистанция, и «сквозь прощальные слезы» все видится жалким, несуразным, родным. (Но какие-то вещи — вроде Нового Арбата — казались чудовищным уродством сорок лет назад, такими же кажутся и сейчас. И это своего рода победа над временем. Над чем-то оно оказалось не властно.)

Город — тоже язык. И далеко не всегда известный. Мы, безусловно, слышим (точнее, видим) речь города, но не очень понимаем и как бы не впускаем в сознание. Эти сообщения воспринимаются безотчетно, как ультразвуки, которых мы якобы не слышим.

Существует ли Москва в нашем мышлении? Существует ли «московский текст»? Только отчасти и фрагментарно — что очень мешает читать Москву как целое. Хочу уточнить: «московский текст» возникает не в описании, а в ощущении города: его особого воздуха, его *пространства*. И здесь есть свои сложности.

Для пространственных впечатлений вообще нет языка, нет специальных наименований, как нет их для запахов. Это не значит, что у нас нет особых органов, приспособленных для «чувства пространства», оно еще не атавизм. Где-то нам становится хорошо, привольно или, наоборот, плохо, тягостно, но мы не можем объяснить почему.

Измаянные жарой туристы входят в аркадный двор краковского замка Вавель и останавливаются как вкопанные, инстинктивно выпрямляясь. Так точно и мгновенно действует ренессансный масштаб: выправляет осанку, увеличивает твой рост раза в полтора.

Когда я вернулся из первой своей заграницы (Англии) — как сразу заскучало мое зрение, уже по дороге из аэропорта. Глаз успел перестроиться на другую среду, невероятно насыщенную впечатлениями, с ходу определяемыми как важные, художественные — «культурные». Теперь такие впечатления случались реже раз в сто. Но так ли это? И так, и не так. Глазу и здесь было что увидеть, только сознание не подхватывало его работу.

В каждой местности не просто свой пейзаж, а свой свет, свое небо. Небо висит на разной высоте и по-своему пропускает свет. По-разному строятся и идут облака. Особую природу России стали замечать веке в девятнадцатом, и она до сих пор не вполне *увидена*. Протяженность — основное свойство страны, ее не охватить умственным взором.

Узнаваемость — следствие работы с «общими местами» у Эрика Булатова и Олега Васильева. На станциях Кратово или Отдых вас встречают совершенно «булатовские» сосны под булатовским небом с булатовскими облаками. А где-нибудь под Марфино вы замечаете поле и перелесок совершенно «васильевские».

Таковыми терминами они и пользовались в разговоре об искусстве, и это было страшно неожиданно. Не «колорит», не «фактура» или «композиция», а вдруг такие вот слова, вроде «узнаваемо» (то есть хорошо, удачно) или «убедительно».

А когда увидели свою природу итальянцы? Когда стали с ней художественно работать, — вероятно, где-то в четырнадцатом веке. «В ту эпоху не любовались ни горами, ни побережьями, не существовало еще даже самого понятия пейзажа» — пишет о Средних веках специалист (Ж. Ле Гофф).

Мы начали разговор с курьеза, случившегося при замещении зрения языком, а тут вдруг про искусство. Но изобразительное искусство тоже язык (вот новость!), и даже его сугубую визуальность не стоит преувеличивать. «Инфратонким» называл Марсель Дюшан пространство между текстом и изображением. Видимо, посетители выставок, слушающие экскурсовода через наушники и только косящиеся на картину, находятся именно в таком пространстве. Но в некоем сложном его подобии располагается и искусство вообще. Понятно, что «языком искусства» освоена не вся область визуального, и речь идет только о зрительных впечатлениях, уже прошедших чистилище первого, начального осознания: по существу, о «визуальных сигналах». Это какая-то *третья* сигнальная система. «Визуальные сигналы» — это символы, *уже существующие* в сознании, и только переведенные оттуда в нашу зрительную способность.

Мало того: все видимое (то есть все *увиденное*) находится там же — в области, уже освоенной и населенной знаками и символами. Иначе говоря, в смешанной области визуального и вербального.

Или такой пример. Считается, что архитекторы рисуют свои мысли. Это я наблюдал много раз и даже сам кое-что зарисовывал — кое-какие мысли. Потому и знаю, сколько промежуточных помещений от собственно мысли до той картинки, которую архитектор зарисовывает как свою «мысль». И то помещение, где мысль как-то пропускает себя через язык, миновать никак не удастся: самые смутные идеи все же отталкиваются от таких представлений, как стена, окно, портал, пандус, «снег мрамор дерево спасибо». Это представления, но за ними стоят слова, не так ли?

То, что вне языка, — *не представительно*. Существует, но вне представления: никак не представлено в сознании. «Глаз для О.М. — орудие мысли» — пишет Надежда Мандельштам. Но верно и обратное: мысль — орган зрения. Мы видим то, что мы мыслим. Новый язык — это способность увидеть новые вещи.

Владимир Рецептер

Гоголь-моголь

Дорогая редакция и уважаемые читатели!

Вот фрагмент большого гастрольного романа, не завершеного по сей день.

Известный псевдоним его героини оказался столь ослепительным (фильмы в Голливуде, Англии, Италии, Франции, дружба со звездами мировой сцены и экранов, замужество за мультимиллиардером, залетевшим в СССР по нефтяным поводам, рождение пятерых сыновей, ставших боксерами экстра-класса), что его пришлось скрыть, назвав, наконец, ее настоящее имя и девичью фамилию, которых никто прежде не знал: Серафима Мартовна Мощенко.

Эта правда, нечаянно похожая на романную выдумку, нарушает отчасти жанровую стройность отрывка. Надеюсь, однако, что журнал и читатели простят мне вынужденную вольность.

В спектакле, поставленном Гогой, то есть Г.А. Товстоноговым, Серафима действительно сыграла восемь ролей, от древней старухи до девчонки из самодеятельности по имени Фаня Завальчук, и собралась с театром в длительные, почти двухгодичные гастроли: Украина, Прибалтика, Грузия, Азербайджан, потом Урал, Сибирь, Дальний Восток с десятками больших и малых городов и кочевым, дешевым гостиничным бытом.

Если бы не премьерный банкет в «Астории» как раз накануне отъезда, роман между Гогой и Симой мог так и не вспыхнуть, оставшись на уровне проникающих взглядов и электрических прикосновений. Но в тот бесподобный день, вернее, ночь после триумфального застолья, когда сама судьба решала за наших героев, Сима впервые поехала к нему.

Было уже поздно, и в маленькой квартирке на Шестой Советской все спали: в одной из комнат смотрели свои сны Женя Лебедев, Натэлла и оба Гогиных мальчика, а вторая радостно ждала влюбленных.

За описанием счастья читатель должен обратиться к классикам, наше дело — хроника и хронология. А если у кого не хватает воображения, пусть припомнят самих себя и утаенных подруг в лучшие и дорогие минуты своего прошлого.

На самой заре Сима очнулась прежде всех и, стараясь скрыть новые чувства, быстро оделась и убежала в снятый угол на Васильевском острове, забыв у Гоги пальто, без которого никак нельзя было обойтись в двухгодичной гастрольной поездке. Именно его по Гогоину поручению Натэллы отнесла к поезду, и с надежной оказией пальто догнало молодую героиню в бессонной Одессе.

Все первое время Симе пришлось оборачивать дивную шею в темный платок, ссылаясь на внезапную и жестокую ангину.

Тут же начались междугородние звонки, на которые уходила едва ли не вся зарплата вместе с суточными, посыпались нежные письма и ответные открытки с местными видами, тут возникли грандиозные творческие планы совместной работы Серафимы и Георгия в самом популярном ленинградском театре.

Прервать гастроли и вернуться в Ленинград Сима не могла: каждый день она играла спектакль «Каждый день», где у нее было восемь ролей, и подводить коллектив, подаривший ей Фаню Завальчук и Гогу Товстоногова, было бы нечестно.

Так в ее груди впервые возник трагический конфликт между чувством и долгом.

День в день через один месяц после оглушительной ночи, открывшей новую эру в ее судьбе, Сима послала Гоге короткую, но насыщенную глубинным подтекстом телеграмму: «Поздравляю с нашим днем!».

Как получатель реагировал на этот восторженный намек, осталось загадкой, но факт остается фактом: завершив театральный сезон, Товстоногов собрался в путь и догнал бродячую труппу в городе Харькове. Что больше заботило его: состояние спектакля «Каждый день» или встреча с молодой героиней — вопрос риторический. Во всяком случае, Исаак Бумблич, дальновидный директор труппы, позаботился о просторных апартаментах в той же гостинице, догадываясь, что режиссер не будет одинок. Повторю: в театре вообще, а тем более на гастролях, все тайное тотчас становится явным.

Однако гордый носитель победного значка (Сталинская премия была получена именно за спектакль о вожде) и не подумал становиться в том же кочевье, и снял номер в другой, лучшей гостинице Харькова, так же, как в Одессе, носящей горделивое имя «Красная».

К встрече Сима приготовила большой комсомольский букет разнообразных цветов и вместе с ним предстала перед своим избранником.

Несмотря на сильное волнение, она не могла не обратить внимания на то, что Гога вынес ей навстречу из ванной три парящие красные розы на бесконечно длинных стеблях, а ее вязанку небрежно бросил в мусорное ведро.

Что вам сказать по существу?

Трепет она испытывала, понимаете, трепет!..

И здесь — место поэме о любви, но у автора нет никаких показаний для этого жанра, так как все или почти все его силы истрачены на проживание аналогичных сюжетов, и каждый раз на крутых поворотах он роняет ручку и отпускает руль благодетельной прозы, уносясь мыслью в смущенное прошлое время и навещая сокровенные гостиничные мебелишки собственного маршрутного листа. Свои лирические отступления, согласно доверенной дружбе, он тоже рассказывал Симе, и так же, как она — ему, разрешил ей распоряжаться ими по своему усмотрению.

Кстати, Сима, душа моя, знаешь ли, что сказал Гриша Гай, прослушав стихи о себе и отвечая на вопрос, можно ли их печатать? Он сказал:

— Как знаешь, Воля. Я ведь понимаю, что это уже не совсем я, а твой литературный герой...

Умница Гай оказался тоньше и прозорливее многих, а прежде всего — туповатого автора, разрешив ему новую свободу в обращении с собственным именем в частности и именем собственным вообще. Если вдуматься, каждый из нас, действуя в пределах чужих или даже своих рассказов, уже не то, чем являлся в своем озабоченном бытовании, а, скорее, близнец своего прототипа, похожий, но все-таки другой; названный брат, или, если хотите, двойник, воссозданный воображением рассказчика на основе неполных черт подлинника; а если это романский близнец или стихотворный двойник, то, стало быть, именно персонаж и литературный герой, а вовсе не клон, не сколок и не фотка, удостоверяющая паспортную личность.

В конце концов все носители достоверных имен, включая Симу, Гогу, Гришу и бедного автора, не могут не оказаться здесь фигурами остранными, позволяющими себе некоторые жесты и поступки, которых на самом деле они не должны были совершать. Поэтому, испросив прощения у прототипов и читателей за отвязанное авторское воображение и безмерное своеволие возникающих фигур, попробуем пройти далее, доверяя головокружительным подробностям жизни.

Господи, о чем говорю: все мы, все безо всякого исключения и независимо от желаний, — чьи-то печальные персонажи и бедные кочевники, все закоренелые грешники, наблюдаемые всевидящим оком и не успевающие раскаться...

И снова они расстались, и снова зазвенели частые звонки, полетели письма и телеграммы. Между прочим, на одной из заветных страниц Гога, называя Симу своей дорогой и нежной Фаней Завальчук, просил обращаться к нему не по имени и отчеству, как она привыкла на репетициях, а так, как его называют близкие и друзья, то есть именно Гошей или Гогой...

А потом он снова приехал к ней, на этот раз в Житомир, где Исаак Бумблич разместил гастрольную труппу в гостинице без удобств, а перед горячим свиданием Сима пошла на речку Житомирку, и веселая острая память моей дорогой героини цепко хранит это прохладное купанье. Как же ей было зябко и как хорошо!..

Конечно, Сима не видела себя со стороны, а автор вообще в Житомире не был, но ему приходилось входить в другие речки и наблюдать других героинь в минуты верного купанья. Поэтому он любит житомирской картинкой, как заветным полотном провинциального музея, которое по велению идейной цензуры томят в подвале и кажут лишь особо доверенным гостям.

Взгляните и вы, дорогой читатель. Узнайте свою любовь в бегущей воде, на теплом закате, нагой, стесняющейся перед нежной встречей, в ее томительном предчувствии и нервном предвкушении. Видите?.. Ну вот.

И снова он уехал, и снова, экономя деньги на «межгород», Сима стала есть лишь один гоголь-моголь, и на ее прекрасном лице возникла недолжная сыпь, и никто не мог догадаться о причинах ее появления. Наконец, прозорливая режиссерша спросила:

— А что ты ешь, милая моя?

— Гоголь-моголь, — отвечала простодушная героиня.

— Только?

— Только...

— Все это время? — напряглась руководительница.

— Да, — понурилась Сима.

И Алла Матвеевна повела ее кормить. Она была женщиной физически плотной и понимала толк в здоровой еде.

Роман Сенчин

Гоу датч

Конечно, по ней не скажешь, что она ждет рыцаря. Да она и не ждала пассивно — искала. Искала, но все-таки рыцаря, а не хрена с горы.

Пока еще стройная, хотя и крупноватая, совсем уже не девочка в свои почти тридцать два, впрочем, и не тетка. Деловая молодая женщина по имени Анна, в правильной одежде, с правильной сумочкой, на правильном автомобиле, при правильной работе. Квартира своя в относительном центре столицы, дача в Малаховке. Все упаковано. Еще бы его, рыцаря. Чтoб и любил, и заботился, и был, как скала...

Поиски не проходили бесследно — родилось двое детей, в паспорте стояло шесть штампов: три о заключении брака и три о расторжении, причем два последних не поместились на положенных страницах, где «Семейное положение», и их поставили на странице, предназначенной для записей о детях... Перепробованные мужчины в памяти Анны представляли собой красновато-серую, едко пахнущую массу. Там в единый ком слиплись два сорта представителей противоположного пола: слизни и животные.

Со слизнями было приятно время от времени посидеть в кофейне, поболтать, посплетничать. Можно иногда и сексом позаниматься, чтoб такой представитель поласкал там, где животное никогда не согласится — типа, «отлизывать западло, если что — на тюрьме зачмырят». Но долго рядом с собой слизней Анна не выносила; после секса или выпроваживала из квартиры, или, если была у них, уезжала сама...

Животные были предпочтительней. Точнее, секс с ними нередко доставлял ей настоящее удовольствие. Когда мощный парень брал ее стальными руками и делал с ней то, что считал нужным. Был хозяином.

Правда, нужно было торопиться достичь удовольствия — эти не ждали ее, не помогали, а, удовлетворившись, откидывались и, лежа на спине, громко дышали и фыркали. И только попробуй в эти минуты прильнуть, намекнуть, что ты еще не закончила, — он посмотрит на тебя презрительно-недоуменно и произнесет убивающее: «Чо?». После этого оставалось или истерику устроить (но рискуешь при этом схлопотать по лицу), или смириться и ждать, когда он снова захочет тебя, быть к этому готовой, разогретой, чтобы успеть добраться до пика раньше него или вместе с ним...

Конечно, за годы поисков Анне встречались рыцари. Три-четыре экземпляра. Правда, все они были женаты. Пытались сделать Анну любовницей, готовы были ее содержать, любить не меньше жен. Но через несколько месяцев она прекращала отношения: быть любовницей даже у рыцаря было унижительно.

Продолжала искать своего — свободного. И вот еще одна попытка...

Высокий, мускулистый, с мужественным лицом и манерами аристократа Илья. Лет на пять старше Анны. Нормально, не мальчик, но и до старческого утомления еще далеко... Несколько лет жил за границей, не так давно вернулся и сразу занял высокую должность в крупной компании.

В подробности его работы Анна пока не входила. Да и зачем? Видела, что не лошок, не проныра какой-нибудь, пыжащийся под статусного... Тем более общие знакомые отзывались о нем очень хорошо: истинный англосакс.

Сегодня договорились поужинать вместе. Вдвоем. Илья предложил очень приличный рест на Рождественке.

— Надеюсь, будешь не на колесах, — сказал Илья. — Хочу заказать редкое вино... У тебя нет аллергии на красное сухое?

Анна улыбнулась:

— Нет. Я вообще не подвержена этой модной болезни.

— Я рад. Значит, до встречи?

В начале девятого вечера такси подвезло Анну к ресторану. «Опаздываю на восемь минут, — отметила она, глянув в айфон. — Хорошо».

Швейцар открыл ей дверь, гардеробщик, похожий на полковника кремлевского полка, снял с нее легкую дубленку с песцовым воротником (Анна не была защитницей пушных зверьков), метрдотель повел ее в зал.

— Меня должны ждать, — сказала ему Анна.

— Да. Господин очень точно описал даму...

«Интересно, в каких словах?» — хотелось спросить, но она, конечно, не спросила. Да и вряд ли Илья действительно описывал ее. Ресторан был почти пуст, так что перепутать метрдотель наверняка не рисковал.

Илья поднялся ей навстречу. Вышел из-за стола. Руку не поцеловал, но так нежно погладил вместо пожатия, что Анна почувствовала возбуждение. Такие прикосновения ее особенно волновали...

— Поужинаем? — предложил Илья. — Под это вино... — официант как раз поднес к столу покрытую пылью бутылку. — Под него рекомендую ростбиф с кровью. А также зрелые сыры.

Копаться в меню на свидании Анна всегда считала идиотизмом. Хотя безоговорочно следовать советам кавалера тоже неправильно — можно показать себя простушкой, ничего не соображающей в блюдах. Но в этот раз она решила не играть. Кивнула:

— Я доверюсь вам, Илья.

К тому же пусть видит, что она может позволить себе после шести вечера сытно поесть и притом умеет сохранять фигуру...

Илья кивнул официанту повелительно, и тот осторожно налил ему в бокал немного матово-бордовой жидкости. Илья краями губ втянул в себя это немного, подождал, словно к чему-то прислушиваясь, кивнул на сей раз одобрительно. Официант наполнил бокал Анны до половины, затем — Илья. Другой официант подал тарелку с сырами...

— Может быть, перейдем на «ты»? — поднял Илья бокал.

— Я не против. Только без брудершафта. А то что-нибудь опрокинем.

Он засмеялся.

— По-моему, на брудершафт пьют мужчина с женщиной. Как это... братаются.

— Теперь все пьют. Главным в этом обряде стал поцелуй.

— Поцелуй — это действительно очень важная вещь, — сказал Илья игриво и протянул к Анне бокал, держа его за тонкую ножку; Анна слегка ударила по его бокалу своим, и по залу медленно полетел красивый, словно извлеченный из неведомого музыкального инструмента звон.

Вино было терпкое, но сразу чувствовалось, что эта терпкость порождена природой и умелым хранением, а не добавками-стимуляторами... Выбранный сыр очень подходил к вину...

Илья стал рассказывать о специфичности русского бизнеса, о том, как сложно ему после нескольких лет работы за границей входить во все нюансы, понятия, человеческие отношения.

— Иногда совсем идиотом себя чувствую, — признался он как бы в шутку.

— Ну, ты на одноименного персонажа Достоевского не очень похож, — отозвалась Анна, глядя на бугорки его мышц под тонкой голубоватой сорочкой (пиджак, с позволения Анны, Илья снял и повесил на спинку стула), представляя, как он истязает себя в фитнес-залах или на домашних тренажерах.

— Извини, что? — Илья совсем по-американски приподнял одну бровь, склонил голову набок, выказывая готовность понять слова Анны.

— Я о герое романа «Идиот». О князе Мышкине.

— А! — широко и облегченно улыбнулся Илья. — Да-да, князь Мышкин... Ты любишь Достоевского?

— Не то чтобы. Но много параллелей... И непонятно, то ли Достоевский так гениально все эти типы описал, что их и спустя сто пятьдесят лет через одного... Мармеладовы, Сонечки, Карамазовы, Мышкины, Свидригайловы... То ли наоборот — книги Достоевского воспитывают такие типы.

— Ну, второе маловероятно, — пожал плечами Илья. — Как можно специально стать... гм... Свидригайловым. Это, если мне не изменяет память, мерзавец бесспорный.

Анна хотела заспорить, что не такой уж он бесспорный мерзавец, если вчитаться... Поняла, не стоит на первом же свидании... Хотя все-таки не согласилась:

— Но вот я в жизни столько вижу особей женского пола... женщинами их сложно назвать, которые абсолютно копируют Настасью Филипповну. Помнишь, из «Идиота» такая...

— Да-да, — не совсем уверенно кивнул Илья.

— Может быть, девяносто процентов нынешних Настасий и не читали роман, но видели фильм, сериал тут вышел недавно... Да даже не в конкретной Настасье Филипповне суть, — увлеклась своими мыслями Анна. — После этой Настасьи последовали сотни таких же персонажей. Достоевский их как бы разрешил. И реальные женщины увидели и поняли: нечего себя сдерживать, когда об этом столько написано, и раскрылись. Истерика считается нормальным делом, не быть психопаткой как-то даже неправильно... Страшенькие еще сдерживают себя, как правило, под добрых Сонечек косить пытаются, а хоть слегка симпатичные — все под Настасью Филипповну. Все якобы сумасшедшие, все мучаются непонятно чем и окружающих мучают. Разве не так, Илья?

— Кажется, да. Но может быть, это в природе?

— Если даже в природе, то нужно управлять своей природой. А тут — наоборот... Тем более что все мужчины за такой бегают, все ее хотят, слюни пускают... И мужчины тоже... — Анна не на шутку увлеклась, распалилась после двух бокалов вина; да и высказаться хотелось, а общество малознакомого, симпатичного, неглупого, видимо, Ильи для этого очень подходило; к тому же стоило показать ему, что она не такая, не из Настасий. — Мышкин с Рогожкиным... Рогожкиным. Один — тихоня такой правильный... мужчиной трудно назвать, а Рогожин — животное, зверь. А где нормальный? Где собственно мужчина?.. И в жизни мужской пол на эти две половины делится. За очень редким, — Анна коротко взглянула на Илью, — исключением.

Как ей показалось, он ее понял.

После анализа героев «Идиота» поговорили без сарказма, без сплетен об общих знакомых, рассказали друг другу по парочке забавных случаев из детства.

Повспоминали родную Москву середины девяностых... Постепенно стали завершать ужин, и, обмениваясь взглядами, оба понимали, что партнер не против продолжить общение дальше, не здесь...

Официант принес счет. Илья раскрыл узкую кожаную папочку, пошевелил губами, вложил в нее сколько-то денег и протянул папочку Анне.

Она не поняла:

— Что?

— За вино и свою часть я вложил.

— Да. И что?

Илья догадался, что что-то не так. Растерялся. Все еще держа над столом развернутую папочку с высовывающимися из кармашка уголками купюр, он произнес:

— Я считал, у нас гоу датч...

«Датч» сказал с американским акцентом, резким, бьющим «ч». На мгновение, когда произносил это «гоу датч», выражение лица стало высокомерным, нижняя челюсть выпятилась. А затем — снова растерянность.

— Х-ха! — выдохнула Анна, рывком достала кошелек, выхватила оранжевую бумажку и бросила на папочку. — Каждый платит за себя? Прекрасно! Хорош рыцарь!..

Она вскочила.

— Анна, но я считал, это тебя унизит, если я... Первая встреча...

— Ничего, все в порядке. Пять тысяч хватит? — Она пошла к гардеробу. — Или добавить?

— Анна, извини, — Илья, она чувствовала, униженно посеменил за ней, — я не думал... Там так принято...

— Я говорю — все в порядке. Не беспокойся... Молодой человек, — обратилась то ли к охраннику, то ли еще к кому в темном костюме, — вызовите, пожалуйста, такси.

— Такси дежурит у входа, — доложил тот.

Гардеробщик надел на Анну дубленку. Илья рядом неловко, трясущимися руками натягивал на себя пиджак.

— Я считал, мы вместе...

— Нет-нет, дорогой, у нас гоу датч... Хорошо провести ночь!

Она ждала, что он схватит ее за руку, остановит, прикажет твердым спокойным голосом: «Все, проехали это недоразумение! Успокойся, и — ко мне. Я тебя не отпущу». И тогда бы она наверняка сдалась. Но Илья был перепуган, унижен, раздавлен. Он всячески показывал, что виноват. И наверняка при следующем недоразумении или размолвке так же будет себя вести... И зачем ей такой?

Она села в теплый душистый салон такси, сказала водителю адрес... Илья мялся в пиджачке на крыльце ресторана.

Олег Чухонцев

Сквозняк

* * *

А всего и хотелось-то — строгих, прочных
самых простых вещей,
чтоб не ломило пазух височных,
не дуло из всех щелей,

чтоб свет храмины из окошка,
а не барак,
да уколола в кармане крошка:
как бы не так.

...трётся о ногу чужая кошка,
корюшки хотца, поди, и солнышка.

дует. пожить бы ещё немножко.
чёртов сквозняк!

* * *

*Господь пасет мя и ничтоже мя лишит.
22-й псалом*

Скрипит за окном лебёдка, и двор в цементной пыли.
Покой мя на пажити злачне, на тихие воды всели.

То крик: — берегись — то ругань часов с 9 до 6.
Направь на стези меня правды и душу мою обрати.

Дорогою смертные сени пойду я да не убоюсь
злокозней, и жезл Твой, и посох утешисты, ими держусь.

На козлах пустые бутылки, кончается перерыв.
Ты мне уготовал трапезу всем недругам сопротив.

И упояваючи чаша, яко державна, Твоя,
а большего мне и не надо, другого житья-бытия.

Ну выпьют за новоселье, ну выставят фикус в окне.
А Ты умастишь елеем главу невидимым мне.

И милость Твоя пребудет со мной во дни жизни всей,
вселив меня в дом Господень, в долготу дней.

* * *

Ты видел, с какою надсадой
в базальт ударяет волна
и с шумом валун волосатый
медузой всплывает со дна?

Взорвётся петарда и тучей
на галечник рухнет, и вот
с отливом из пены шипучей
окатыш косматый встаёт

и снова уходит медузой
на дно мезозойских корост...
Не так ли в покинутом музой
поэте прорежется монстр.

А тоже кипел словесами
и вспыхивал, как фейерверк,
но годы окинул глазами —
и то ли прозрел, то ль померк.

Неважно, как гибель зовётся:
успехом иль крахом, но тот,
кто пал, через жертву спасётся.
А что победителя ждёт?

Кто знает... Нет лишних у Бога.
Подумай-ка над валуном,
постой — и отпустит немного,
и, может, ещё поживём.

Нина Горланова

О Варламе Шаламове. О памятниках

1.

23 декабря 2014 года мы ездили в «Премьер» — посмотрели документальный фильм Павла Печенкина о Варламе Шаламове — о его «пермском периоде». Фильм получил только что два самых престижных приза на фестивале «Сталкер» в Москве.

Это страшный и прекрасный фильм. История сталинских лагерей — жуткая.

Я молилась за этих людей, заключенных безвинно за колючую проволоку, ни за что ни про что ставших рабами, которые в голоде и холоде за пару лет превращались в мертвецов... если в первых кадрах мы видели красивых породистых мужчин, россиян в 1929 году, то в конце перед нами были изможденные скелеты (умер каждый шестой к концу 1931 года)...

Фильм заканчивается словами Шаламова о том, что он знает ТАЙНУ превращения начальника в садиста, заключенного — в раба (а также — зачастую — в стукача и подлеца-льстеца), но не скажет ее.

— Почему именно этой фразой заканчивается? — спросила я мужа.

— Потому что апостол Павел говорил о тайне беззакония, о грехе безверия. Да, тайна личности — в личном выборе человека. Главный выбор — верить в Бога или нет.

В советское время он не мог прямо сказать, что отказ от веры привел к антропологической катастрофе!

Поэтому выразился так: ТАЙНУ УНЕСЕТ В МОГИЛУ.

Но мы из Евангелия знаем: добрый самарянин взят в рай — добро награждается, даже если человек не верит в Бога. Однако в концентрационном лагере трудно оставаться добрым. В самый первый месяц заключения, когда охранники топтали ногами сектанта, Шаламов заступился за него.

Избивать человека перестали. Но ночью начальник конвоя сам раздел Шаламова догола и поставил на выстойку под винтовку. Это было в начале апреля 1929 года. На севере области еще очень холодно. Шаламов потом написал об этом:

«Сколько простоял времени, не знаю, может быть, полчаса. А может быть, пять минут.

— Понял теперь? — донесся до меня голос.

Я молчал.

— Одевайся. Марш в избу!

...К этому времени я решил — на всю жизнь! — поступать только по своей совести».

Это было в начале срока. А потом... Постепенно он утратил смелость — стал бояться заступаться.

У пермского скульптора Рудольфа Веденеева (который сам сидел как диссидент) есть проект памятника Варламу Шаламову, где великий страдалец изображен голым, а в спину штыки уткнулись. По-моему, это тот случай, когда обнаженная фигура не только уместна, но и необходима! Но увы — никто пока не собирается ставить такой памятник!

— Шаламов строил Березники, а там ни одна подворотня не носит его имени! — говорит Рудольф.

...Я сразу представила березниковскую подворотню, вывеску, и на ней написано: «Подворотня имени Шаламова».

Не так давно мне заказали для одного знаменитого издания статью о юбилее Шаламова в Перми. Я зашла в Краеведческий музей — хотела посмотреть материалы о Шаламове, но там сказали: нет НИЧЕГО! Я говорю: как нет? Юбилей великого писателя, который у нас настрадался! Вы бы хоть копии документов в ФСБ взяли...

— Они не дадут.

— А вы запрашивали?

— Нет.

Вот так. Я думала тогда: нас-вас завтра на север по этапу погонят, будем есть хлеб, как едят эки — подставляя ладонь под подбородок, чтоб не упали крошки, а потом никто не спросит документов для архива! Память исчезнет, если мы так будем себя вести!

Но все-таки что-то меняется: снят фильм о Варламе Шаламове.

Только жаль, что в фильме не показали проект памятника Веденеева! Тогда бы зрители поняли, что пермская художественная интеллигенция ПОМНИТ все...

У Рудольфа есть и проект памятника Осипу Мандельштаму — как тот в Чердыни летит из окна больницы, полы пиджака сзади развеваются, как крылья (то есть он летит и в небо, как ангел, и в Вечность как гениальный поэт).

Я иногда так и представляю памятник всем, кто сидел в Пермском крае: на скамейке сидят в ряд Шаламов, Мандельштам, Буковский, Щаранский, Ковалев...

Ко мне в Пен-клубе подошел один писатель и сказал:

— Я у вас сидел.

— Так у нас все сидели — Пермь такая гостеприимная...

...Интересно, если бы левая оппозиция (к которой принадлежал Шаламов) победила, лагеря были бы? Но человечнее? Или еще страшнее? (может, как в Кампучии?). Думал ли об этом Варлам?

Как художник он был против унижения человека. А как политик?

Его судьбу можно сравнить с судьбой Андрея Платонова, который был красным, верил в построение светлого будущего, а в гениальной своей прозе показал весь ужас советского строя...

Я читала, что в Соликамске (Пермский край) не так давно открыли мемориальную доску — у входа в Свято-Троицкий мужской монастырь, в подвале которого Варлам-заключенный провел страшную ночь среди падавших в обморок товарищей по несчастью, читая надпись, нацарапанную на низком потолке: «Мы умирали здесь три дня и не умерли. Держитесь и вы!».

На мемориальной доске — барельеф: лицо Шаламова и текст: «Варлам Шаламов разделил судьбу народа и обители... открыл миру правду ГУЛАГа».

Совсем на днях я была на открытии выставки «Папины письма» (в Музее советского наива в Перми)... В письмах из лагерей — заключенные котиков рисовали! Детям своим!.. Находили время для котиков, потому что находили силы для ДОБРА — для добрых мыслей!

Выставка убедила меня еще раз: Шаламов не прав, не упомянув в своих рассказах о той помощи, которую получал от сокамерников...

Они его упрекали потом... я читала эти письма в журнале «Знамя».

Например, друзья помогли Варламу стать работником медпункта! Это когда он почти умирал!

Затем они же на три дня послали его на заготовку веток, чтоб не попал он под реформирование (если б его снова перевели в другой лагерь, там бы ему уже не попасть в медпункт на работу! И он бы погиб быстро!)

Много было помощи от этих друзей! Но ни словом он не упомянул об этом в своих рассказах...

Мой друг В.С. говорил:

— Шаламов имел право НЕ писать о добре в лагерях — так сильнее воздействовала его проза и сильнее становилась ненависть к ГУЛАГу!

А мне, Нине Горлановой, ближе мысль Солженицына: человек до последнего сохраняет в душе крупички добра — даже в лагере.

Скрывать крупички — добра — это грешить против правды.

Но муж мой говорит:

— Мы не имеем права осуждать эту черту Шаламова, сидя в теплой квартире и попивая каждый день сладкий крепкий чай с булкой...

И я подумала: пора мне написать картину «В Перми все сидели» (в ряд на скамейке сидят Мандельштам, Шаламов, Буковский, Щаранский, Ковалев и наш Рудик Веденеев, который тоже сидел как диссидент в лагере «Пермь-36»). А лучше бы сделать такой памятник... печальный, но очень светлый (потому что все они сейчас — соль земли, да, цвет наш).

2.

Да, в Перми «все сидели», а между тем музей «Пермь-36» закрывают... Как говорил мне один противник музея:

— Там сидели не только Буковский с Щаранским, там были и эсэсовцы, каратели, уголовники.

— Ну и что! Ты вспомни, с кем рядом распяли Христа! С разбойниками...

Говорят: когда закрывается дверь — открывается окно. На днях к нам домой приезжала съемочная группа Бориса Караджева (это друг моей юности). Они нас снимали для фильма о Мандельштаме в Чердыни. Людям свойственно стремиться к познанию истины. Музей закроют, но будут выходить фильмы... ставиться памятники.

Мне часто снятся памятники писателям и литературным героям.

На сегодня во сне видела памятник Мандельштаму — в духе пермских богов... Сидит — щеку рукой подпер, в больничном халате, халат — в полоску... Кажется, ярко раскрашен огнеупорными красками.

...Однажды приснилось: в Перми на площади стоят камни с вырезанными на них стихами Пастернака и Мандельштама, Решетова и Кальпиди.

Как-то приснился памятник Алексею Решетову: поэт подвыпил немного, замер в полупадении — вперед наклонился, с раскинутыми руками. А Муза замахивается скалкой и протягивает свиток.

Достоевский — напротив — начинает падать в припадке, изогнувшись дугой назад, а маленький ребеночек смело хочет его подхватить. Руки выбросил к спине Ф.М. Ребенок — в ночнушке до полу... не различить пол.

Был еще сон. Я в редакции «Урала», мне говорят:

— Вот за этим столом однажды сидел Чехов. Хотите сесть на минутку?

Я говорю:

— Так вы сделайте из проволоки силуэт, чтобы люди могли примерять, где была рука Чехова, где нога...

Проснулась и подумала: на скале, где снялся Пастернак близко к обрыву, можно тоже установить такой силуэт Пастернака, получится как бы дух поэта, — будет похоже на силуэт человека, как его обводят после убийства... но ведь советская власть убила его именно за «Живаго», в котором описана Пермь (Юрятин)...

А еще можно сделать памятник Пастернаку в стекле: мы были музыкой во льду (он вырывается и стеклянного шара, локти в сторону, стекло треснуло).

Смутно явилась идея еще одного памятника Пастернаку — с метельными нитями возле фигуры (мело-мело по всей земле).

В другой раз видела во сне, что у Беллинга (абстрактное «Трезвучие») взяли идею для трех сестер чеховских в Перми. Но под зонтиками. Зонтики должны быть вывернуты ветром. Это ветер судьбы. А может, это ураган революции...

А Бродскому памятник: он сидит на чемодане, как на фотографии, где он перед эмиграцией.

Обэриуты сидят за выпивкой. Заболоцкий щеку подпер, Хармс цилиндр приподнял, Олейников караса на вилку насадил, а Введенский — кентавр с рюмкой...

Худой Платонов (под Джакометти) вкручивает лампочку, которая мигает. И лучше, чтоб он лампочку ввинчивал в мировое дерево, а сам стоял на табуретке... или на цыпочках (в неустойчивом положении). (Идея Букура.)

Чуковскому — памятник в виде металлического дерева с туфлями, и из ствола лицо Корнея вырастает.

Хлебников уверял, что между его глазами и буквами молнии проскакивали, когда он писал «Доски судьбы». Тоже бы памятник хороший получился (молнии сделать с помощью электричества).

Памятник Розанову должен быть в кустах (Розанов ест варенье и пьет чай из блюдечка). А напротив — зеркало. Он еще и собой любит...

Памятник Чехову со срубленными цветущими вишнями. В каждой руке — загадочная маска (я).

Лев Толстой стоит возле трещины в земле (в виде змеи), с другой стороны трещины — колокол; каждый может ударить в него.

Три сестры на вокзале «Пермь-2», где уходит в Москву «Кама» — три огромные хризантемы со склоненными головами, а листья-руки в Москву — в Москву... Или уж лучше три фигуры на стене вокзала — сделать фреску в духе маньеризма: вытянутые фигуры.

Пушкину: бакенбарды, цилиндр, а лицо каждый будет просовывать свое, чтобы сфотографироваться. Примеряя к себе Пушкина.

А Гоголь — из прозрачного материала. Улыбка красная. (Букур Слава: лучше, чтоб цвет менялся — темный сменялся прозрачным).

Илья Кочергин

На пониженной

Срезал березу у соседей — у них пруд зарастает, все равно пилить будут. А мне береза нужна на подъемный кран. Кран вышел прочный, но тяжелый, я устанавливал его целый час, ладил подпорки, которые рушились и били меня по голове, натягивал канат. Но потом кран был поднят, красивый такой (с моей точки зрения), с двумя уверенно расставленными ногами.

Отыскиваю нужное бревно (оно оказывается в самом низу штабеля), счищаю с него тупым топориком и скобелем намерзший лед, кантую ломом на нужное место. Долго, конечно, все это.

Накидываю петлю, затягиваю. Иду к крану и вращаю ручку лебедки, бревно ползет по доскам вверх, на стену сруба. Деревянный, с джутовым канатом, кран от напряжения поскрипывает, как такелаж парусника.

Десять оборотов ручки — и я иду смотреть, как там бревнышко, подправляю его ломом. Подкладываю под него полосу жести, чтобы полегче скользило. Потом обратно — вокруг растущего сруба моими ногами натоптана тропинка, она давно заледенела и стала скользкой. Погода — то мороз под тридцать, то снегопад, то оттепель.

Хожу туда и сюда раз десять. Наконец торец бревна с нарисованным номером появляется над стеной. Перевязываю стропу подальше, снова тяну. Кран поскрипывает, мороженная сосновая туша тяжело переваливается через стену и ложится на сруб. Забираюсь наверх, сажусь верхом на стену и перевязываю стропу еще раз.

Спрыгиваю на обледеневшую тропинку.

Плюсы и минусы возраста. Приземляться стал тяжело, что-то стрясывается внутри, как ртуть в термометре. Есть еще выражение «грянуться о землю», но это, я так понимаю, плашмя. Можно ли грянуться стоймя?

Плюсов больше. Например, опыт и спокойная уверенность, что, будь твое бревно даже и в полтонны, и в тонну, все равно поднимем и уложим в нужное место. Потихоньку, полегоньку, где ломиком, где клинышком, где веревкой, где подставочку подставим — передохнем. Найдем, почуем слабое место, где можно — покатым, где нужно, надавим, только так, чтобы силы впустую не растрачивать, чтобы спину не сорвать.

Спина одна, а дел много. Постоянная стройка, которая никогда не закончится, еще ведь и гараж надо, и две комнаты пристроить, и баня эта. Доски, брус, кирпичи, бетонные блоки, утеплитель, мешки с цементом. Все это сгружается и разгружается, носится по всему двору и складывается в штабеля, потом снова перетаскивается, укрывается брезентом или рубероидом. И не хочется подпускать к такому интимному делу, как стройка, чужие руки.

Еще огород, который живет по своим законам, производит бешеное количество сорняков, собирает со всей округи кротов и загадочных земляных крыс, просит воды и вовлекает тебя в свой сложный и только кажущийся неторопливым ритм роста, цветения и плодоношения. Яблони и алыча, которую нужно во время цветения укрывать; трава, которую нужно косить и куда-то потом девать; мыши, осы, шершни и муравьи, которые занимают свою экологическую нишу внутри моей экологической ниши. Заготовка дров, грибов, полевой клубники, малины, обмазывание глиной потрескавшейся печки, которую уже скоро перекаладывать.

А еще нужно работать, в конце концов, а еще стопка нечитанных книг, еще география, история и литература с ребенком, которому отвоевали право посещать школу по желанию, проходя в остальное время домашнее обучение.

Крутишься, крутишься, а времени не хватает. Поэтому вместо лопаты — культиватор, вместо ручного инструмента — электрический, вместо телевизора — спутниковый интернет.

Чуть подстучать колотом, подвинуть плечом, и бревно почти там, где нужно. Опять забираюсь наверх, снимаю стропу. Теперь, балансируя на досточке, засверливаю два верхних венца, вбиваю деревянный нагель, чтобы скрепить их.

Теперь укладываю паклю на низ, прибиваю ее степлером, чтобы не унесло ветром. Ломиком перекаптовываю бревно на две калабашки, оно стоит прямо над тем местом, где ему лечь. Используя лом как рычаг, опять поднимаю каждый конец по очереди и выкидываю калабашки.

Легло. Чуть осаживаю колотом. Любуюсь, гордый.

Лежит. Круглые бока жирного бревна поблескивают даже в свете серенького дня. Еще ни одной трещинки, сырое, только из леса. Килограмм двести пятьдесят — триста.

Спина цела. Это, наверное, называется «мужицкая сноровка», «рабочая ухватка» или как-нибудь еще в том же роде.

Лежит бревно, и остальные лягут — куда денутся? А там уже легче пойдет — все эти стропила, обрешетка, железо. Это все уже проходили.

Когда темнеет и работа моя останавливается, то я чувствую, как ноет тело. Перекусить и часок поспать, а потом уж все остальное.

Здесь тихо и красиво. Природа, свежий воздух. Здесь не одиноко — каждое мое движение видят и обсуждают, оценивают, истолковывают. Все друг другу интересны. Здесь много своего личного места, — я могу выйти в свой двор, развести руки, прыгнуть, даже пробежаться и не чувствовать тесноты городской квартиры. Мне здесь хорошо.

Я сложил инструменты и иду домой. Тело ноет, душа поет. Я очень нравлюсь себе, и движения такие уверенные — поработал мужик. А впереди еще целый нетронутый вечер.

Любовно оглядываю себя со стороны, оцениваю — крут, крут, что ни говори. Молодец. Только вот, мужик, маленький вопросик, а не является ли твоя прекрасная деревенская жизнь самообманом? Такой прекрасной иллюзией?

И тут я скиаю. Опять все по новой. Я же уже с собой спорил и доказывал свою правоту! Забыл, что ли?

Но спор начинается сам собой. Сомнения легко всплывают и затягивают такой чистый еще недавно горизонт.

Поселиться в деревне навсегда и заняться натуральным хозяйством? Сводящее с ума квохтанье кур и постепенно слабеющая от бескрайних заснеженных полей психика — как-то это тревожно. Все-таки я, как и многие нормальные люди, испытываю страх перед русской деревней, я боюсь ее неутомимой растительной жизни, смутной и бессознательной. Да и чужой я здесь.

Нужен еще огромный, шевелящийся, живой мир с самолетами, вечерними огнями, культурными событиями и не похожими на меня людьми. Жене нужен

хоть иногда салон красоты, посиделки с «девчонками», нужен мир вещей — искусственных, легких и красивых. Ребенку требуются баскетбольная секция и школьный праздник.

Нужен большой город, нужна, наверное, Москва, но жить в ней с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Ее я тоже боюсь, боюсь сам потеряться или потерять близких в огромных людских массах, в пробках, в очередях. Даже ночью город давит меня, тихонько гудит мне в ухо, говорит голосами соседей снизу о каких-то проблемах и страхах. Там как будто ближе Донбасс, там сильнее чувствуется злорадно-тревожное ожидание большой войны.

Я, честно говоря, потерян. Тело еще ноет, но душа затихла. Завис между двумя домами, такими разными и необходимыми. А при жизни на два дома — и там, и там мне не хватает времени.

Мне страшно решиться. Объявить своим настоящим домом этот, деревянный, построенный своими руками. Просто объявить. Москва же никуда не убежит, до нее всего пять часов езды на машине.

Сомнения, проблемы лезут в голову. Да и многие знакомые в городе как-то активно начинают реагировать, как будто их за живое задело, как будто я их оскорбил чем-то, думая переселиться в деревню, — уверяют, что это все пустая романтика и даже пошлятина, вся эта тяга к навозу и березкам. Этот дауншифтинг в развитых странах придумали, это там люди так развлекаются, а у нас, в развивающихся и встающих с колен странах, народ бежит в города.

Да, бежит, и по нашей деревне это видно.

Однако тоненький ручеек течет и в обратном направлении. Гуманитарии-фрилансеры и военные в отставке, молодежь и пенсионеры, либералы и патриоты идут против течения, выискивая себе место не там, где лучше, а там, где хочется жить. Хотя, конечно, сами в этом никогда не признаются — скажут, что здесь просто-напросто лучше.

Из города этот ручеек почти незаметен, а отсюда — видно. Вон в Березниках даже питерцы купили дом и копошатся теперь на своем участке. До Питера-то отсюда за день тяжело будет доехать, не то что до Москвы. А те мои знакомые, что уехали в Алтайский заповедник лесниками работать, — они вообще посреди тайги сидят, дорога от погоды зависит. Весь штат заповедника, считай, из одних горожан состоит.

Хотят, видно, жить, как в развитых странах, самим выбирать себе место в огромной, интересной стране.

Мы снова возвращаемся в Москву — у сына соревнования, жене по работе кое-что сделать нужно, у меня накопились дела. Издалека видно, как над городом висит дымка, гигантское облако над огромным водоворотом.

Обычно едем на неделю — застреваем на две, едем на полмесяца — получается полтора. Трудновато вырваться. Но у нас уже есть за что зацепиться, нас держат на плаву неоконченные в деревне дела.

— Знаешь, я уже соскучилась по домику, — говорит мне жена.

— Я хочу справлять свой день рождения только в деревне, — говорит сын.

И мы опять едем в поля, где бежит ручей Кривелек и где кончается наша улица Садовая (по-деревенски — Кишка). Самый последний на улице дом — наш, и с шоссе мне кажется, что он украшает улицу.

Переключаюсь на пониженную. Не разгонишься сильно, зато и не влетишь в кого-нибудь или во что-нибудь так, чтобы потом перед разбитой машиной по асфальту были раскиданы твои уже не нужные тебе вещи.

Застрять можно в бездорожье, но тут мы уже умеем — не спеша, не торопясь, где поддомкратим, где подсуем под колеса, где катанем, где подпорочку поставим и перекурим. Главное — спину не сорвать.

Олеся Николаева

Без обиды

И я, и мой одноклассник по кличке Зяблик можем свидетельствовать, что Миша Кобленц еще в школе страстно полюбил Машу Цыпину. У Маши было такое нежное лицо, такие узкие запястья и щиколотки, что, казалось, Творец ее рисовал самой тоненькой беличьей кисточкой и проводил каждую линию, затаив дыхание и напрягая глаза. Именно так рисовал Машу и Миша — ведь еще в школе он знал, что обязательно станет знаменитым художником.

Но Маша Мишу не любила и после школы вышла замуж за француза и уехала в Париж. А через год у нее родилась дочка.

Миша, поступив в Суриковское училище и проучившись два года, бросил все и устремился в Париж, вслед за Машей. Однако там ему как художнику не нашлось места, и самое лучшее, что ему удалось найти, была работа уборщика в кафе «Солей».

Время от времени он приглашал Машу в кафе, и они вместе пили кофе или вино и вроде бы болтали о том о сем, но Миша все равно сводил разговоры на свою любовь — пусть не всегда прямо, пусть притчей, намеком. Все равно выходило: «Крепка, как смерть, любовь моя!». А вечерами он, сидя в своей снятой на родительские деньги квартирке, рисовал Машу, даже если это был пейзаж, или танцовщицы с лицедеями, или даже натюрморт.

А Маша, судя по машине, на которой она подкатывала к месту их встречи, по ее нарядам и по рассказам о путешествиях, жила припеваючи. Так казалось Мише Кобленцу, и на него после этих встреч нападала черная тоска. Он был болен Машей, так надо было его понимать, когда я приезжала в Париж, и мы с Мишей бродили по улицам и разговаривали.

— А хочешь, — пойдем в кафе? — спрашивала я.

А он отвечал:

— Я в жизни хочу только одного — Машу!

— Миша, а ты любишь позднего Пикассо?

— Я люблю только Машу!

Прошло несколько лет. Ему удалось попасть в парижскую художественную студию, которая сама устраивала вернисажи, и на одной из выставок к нему подошла женщина средних лет, американка, жившая в Париже, и предложила стать его куратором. И через весьма малое время все Мишины картины были проданы за столь приличные деньги, что он купил себе квартиру, обставил ее по своему изысканному вкусу и, вдохновленный успехом, затеял писать новую серию. И тут ему позвонила Маша. Впервые. Сама.

Он отбросил кисть, переоделся и полетел на встречу. Маша была не одна. Она держала за руку маленькую девочку, а возле ее бедра пристроился большой чемодан. Маша была в темных очках.

— Ты правда любишь меня больше жизни? — спросила она. — Теперь я свободна. Я уйду к тебе.

Она сняла очки, и Миша увидел на ее скуле кровоподтек. Он кивнул.

— Где твоя машина? — спросил он, хватаясь за ручку чемодана.

— Он меня оставил ни с чем! — всхлипнула она.

Поймали такси, пришли в Мишину новую квартиру:

— Располагайтесь!

Пришлось девочке отдать спальню, а самим поселиться в студии, которая служила и кухней, и столовой, и гостиной, и мастерской.

Впрочем, дела у Миши пошли так хорошо, что Машу такая домашняя диспозиция не тревожила — она знала, что скоро у них будет возможность переселиться в просторные апартаменты. Она мне так и сказала, когда в последний раз приезжала в Москву.

— Знаешь, я рада, что все так получилось: я ведь раньше Мишу недооценивала. А он такой славный! И так меня любит — просто умрет без меня.

А Миша в это же самое время сидел в парижском ресторане с Зябlichem — они не виделись со времен Мишиного отъезда, а Зяблик, ставший известным театральным режиссером, чуть ли не впервые оказался в Париже, и они крепко выпили.

— Так ты с Машкой? — радостно восклицал Зяблик. — Молодец, добился-таки чего хотел! Удалось!

— Зяблик, — тяжело вздохнул Миша, — Маша, конечно, очень хорошая, и все такое, но как бы мне теперь сделать так, чтобы все было по-прежнему? Чтобы она... ну, к мужу вернулась, что ли! Или к родителям в Москву! Уехала с вещами куда угодно! Куда-нибудь... Но не могу же я ее так обидеть!

— Да ладно, — не поверил Зяблик. — Ты преувеличиваешь.

— Знаешь, — Миша даже ухватил Зяблика за галстук, словно притягивая его к ответу, — сижу я с ней рядом, тут рядом ребенок ее играет, Маша что-то щебечет, шелестит, вся такая чуткая, надрывная, я слушаю ее, а сам думаю: «Ну когда же ты уйдешь, наконец?» Что делать-то? Обида ж смертельная!

Зяблик, маленький, тщедушный, испуганно отцепив Мишины пальцы от своего галстука, пожал плечами.

— А может, ты придумаешь что-нибудь? Ну, чтобы она ушла...

— Что я могу придумать-то? — залепетал Зяблик. — Я и не видел ее давно. И не послушает она меня — кто я такой, да и что я ей скажу?

— Но мне-то так жить невыносимо! А она уже корни пустила — хоть самому из дома беги. Ты же — режиссер, выдумщик, мастер интриги, думай, Зяблик, думай.

Зяблик, который на нервной почве уже изрядно поднакачался коньяком, нахмурил лоб.

— А что если сказать, что у тебя заразная болезнь? — вдруг просиял он.

— Мимо. Не прокатит, — покачал косматой головой Миша. — Не поверит она. Давай еще что-нибудь.

— Что у тебя возлюбленная на стороне! Скажешь: «Я полюбил другую, прости...» — проникновенно произнес Зяблик последнюю фразу.

— Чуть, — помрачнел Миша. — Выследит и поймет, что никакой дамочки у меня и нет. А если и подумает на какую, то пойдет с ней качать права на меня. Такая она — мастерица отношения выяснять. Въедливая. До белого каления может довести этим выяснением. Съест соперницу.

— Ну тогда не знаю, что и придумать. — Зяблик погрузился в тягостное раздумье. — Разве что признаться ей, что ты — как Верлен. Ну, что ты — педик.

— Я — педик? — Миша снова потянулся к галстуку Зяблика. Тот даже втянул голову в плечи.

— В том смысле, что ты — нетрадиционный, — залепетал он. — Ты ее очень любишь, любишь ее по-прежнему, но вот так и так, — увы! Сама природа против. — Миша ослабил хватку, и Зяблик осмелел. — Красиво получится! Современно. Она возвращается из Москвы, а ты ей: «Прости, у меня теперь живет друг, бойфренд! Европейские ценности. Сама понимаешь...». И ты свободен, и ей необходимо.

Миша хмыкнул и задумался.

— Ладно, — наконец, сказал он, расплатившись с официантом и поднимаясь из-за стола. — Тогда переезжай из гостиницы ко мне. Завтра она возвращается, надо же ей предъявить бойфренда. Все ясно и без объяснений.

— Я? — чуть не заплакал Зяблик. — Я-то тут при чем! Я — по старинке...

— А я что, по-твоему? Для игрищ тебя зову? Твоя идея, ты и реализуй, инсценируй... Декорация, мизансцена. А я погляжу, какой из тебя режиссер.

Взял Зяблика в охапку, запихнул в машину, довез до гостиницы, загрузил в багажник его вещи и увез к себе.

На следующий день и была разыграна эта драма: вернулась Маша, хорошо еще, что одна, без девочки, которую она оставила у родителей в Москве, постель разобрана, по дому шмыгают два смущенных мужика в трусах, чем попало прикрываются, по сортирам прячутся, рожи виноватые, словно их случайно застали здесь, накрыли. Маша, забыв про всякую толерантность, в гордом гневe произнесла:

— Суки вы! Ноги моей больше не будет в этом доме!

Хлопнув дверью, ушла. Потом за ее скарбом явилась французская подруга, постреляла гневно глазами на пьянствующих мужиков, стыдливо праздновавших победу. Когда она ушла, Миша, с опухшим лицом в синеватой щетине, сказал:

— Друг Зяблик, мы, конечно, подлецы, но какой урок можно извлечь из этой истории? Никогда не впускай к себе того, кого не знаешь каким образом можно выгнать. Никогда не добивайся того, с чем ты не сможешь справиться. Никогда не достигай того, что тебе неизвестно. Никогда не обижай человека тем, что отвергаешь его, а лучше выстави самого себя на позор, чтобы он от тебя отказался сам!

И Зяблик похвалил его точные формулировки: все четыре «никогда».

Вечером того же дня он вернулся в свой гостиничный номер, привел себя в порядок, надел чистую рубашку и спустился в кафе, где ждала его нежная невестомая молодая дама.

— Ну вот видишь, Машенька, — сказал он, целуя ее. — А ты боялась, как бы он не покончил с собой, если ты от него уйдешь! Обошлось!

И она благодарно засмеялась в ответ.

Майя Кучерская

Дорожные сны

фрагмент

Чудная вещь старая сказка!

Лесков. «Соборяне»

Юноша спит, слегка посвистывая во сне. Вдоль обочины бежит прозрачная рощица, сплошь березки, в воздухе порхает аромат недавно лопнувших почек, бутонов полевых цветов, яровые на полях низкие, по ярко-зеленым всходам гуляют черные грачи. Даль ясна, как бывает только весной, и всю дорожную ленту видно на много верст вперед. Сухо — колеса так и постукивают, и ровно, мелодически погромыхивают бубенчики, усиливая снотворное влияние утренней зари.

Юноша уронил голову на грудь, не успел тарантас выкатить за Кромскую заставу. Накануне сослуживцы устроили ему оглушительную отвальную — теперь ему снова чудился глистовидный Георгиевский, с закрытыми глазами распевавший романсы, чернокудрый прыщавый Евгений, по очереди изображавший то столоначальника, то тигра, ладный Зотов, жадно глотавший собственный хохот. Пили здоровье отъезжанта, его славную будущность, победы на всех поприщах, не исключая — острый глазами сверк! — и деликатных, он едва помнил, как оказался в собственной постели, и сейчас же хмурый хозяин, у которого он снимал с товарищем комнаты, грубо растолкал его и даже плеснул для верности ледяной водой в лицо, заслужив хриплое шипенье и выраженья, каких никогда не слыхивал от своего жилья прежде.

Из деревни навстречу тарантасу потянулось стадо. За долгие зимние месяцы коровы исхудали и шли, будто в обмороке, покачиваясь, то и дело стремясь ущипнуть хоть листик ботвы, жавшейся под забором. Грязный белобрысый мальчонка покрикивал и постегивал их кнутиком. Никто (кроме меня) их не видит: в путь тронулись, едва поднялась заря, и все пассажиры один за другим погрузились в сон. Прямо напротив нашего героя всхрапывал рослый купец с темно-русой окладистой бородой из Ельца, где торговал мукой и крупой, рядом беззвучно и ровно дышал его тщедушный приказчик, судя по стрижке и чинному виду — из староверов, следующим откинулся назад молодец кровь с молоком в натянутом на кудри картузе, он был сам по себе, также конечно, из приказчиков; торговый крестьянин из Головинщины с лицом, заросшим черным волосом до самых глаз, уселся рядом с ямщиком и тоже подремывал. Поклевывал носом и тучный, обильно потеющий возница с мокрым красным лбом.

Часа через полтора крепкого сна путешественники начали просыпаться, потягиваться, сквозь вздохи и позевыванья полился общий разговор. Вскоре все перезнакомились и сейчас же сблизилось, как умеют сблизаться в дороге только русские люди. Один юноша все сладко посапывал сам по себе — про него известно было только, что едет он до самого Киева, как и купец.

Крестьянин, сидевший спереди, обернулся к «обществу» и задал тему.

— И отчего бы это в нашем народе такое воровство? — произнес он раздумчиво, вероятно, поминая недавнее посещение Орла, славившегося подлетами¹, хотя теперь уже гораздо больше — историями о них.

— Воровство во всяком народе имеется, — с охотой откликнулся приказчик с волосами скобкой. — Где народ, там и воровство.

— Ну, нет-с, — молодец в картузе, про которого все уже знали, что он называется Судариковым и служит в Нежине на мукомольне. — У немцев воровства никогда не бывает.

— Быть не может!

— Ну, уж и никогда...

— Верно. Мне артельщики из Петербурга рассказывали.

— Брешут, — отрезал купец и обмахнулся синим бумажным платком, как от жары, хотя продолжалось утро и жара еще не настала. — Брешут и только.

— Чего брехать? Брешет брох о четырех ног. Воров среди немцев нету, а вот мошенники точно бывают, — отозвался Судариков.

Купец, соображая, насупил брови, а Судариков, глядя на него необычайно ясными и чистыми глазами, засмеялся, да так задушевно, что купец только недовольно крикнул: беспечная веселость молодости его раздражала.

Юноша по-прежнему ничего не слышал, но тут колесо тарантаса скользнуло в продавленную колею, повозка прыгнула, а вслед за ней подскочил и он, ткнувшись лицом прямо в колени купцу. Шапка его свалилась вниз. Судариков так и покатился.

— Окунь ли ты, что клюешь?

Молодой человек приоткрыл один глаз, поднял шапку, немного прочистил горло, пробормотал что-то похожее на «прощенья просим», и сейчас же засопел снова, к счастью для себя, не слыша весьма рискованных предположений о том, как он провел нынешнюю ночь.

Новый сон юноши оказался легче, глаже.

Во сне еще не было никакой весны, только явилась зима. Дома завалило первым настоящим снегом, а он сам, подгоняемый морозцем — несильным, однако шинелька была худа, стремительно шагал по Зиновьевскому переулку, мимо ветхих флигелей усадьбы графа Каменского, окна которых кое-где были забиты подушками, мимо недостроенного собора в лесах и длинной, черного стекла вечной лужи у фасада.

Молодой человек постукивал зубами и двигался все быстрее, наконец, для большей скорости, хорошенько толкнулся и поднялся в воздух. Купола собора, зеленая крыша архиерейского дома с мезонином, нарядная Болховская, кокетливо сверкнувшая мокрыми витринами, городской сад в наядах, занесенных по пояс, остались позади. Он летел невысоко, над самыми крышами, никем не видимый — на улице не было ни души. В воздухе, на удивление, оказалось теплее, ветер утратил жгучесть и обернулся ласковым ветерком. Юноша благодарно притормозил, коснувшись ладонью сначала одной, затем следующей закопченной трубы, и полетел уже неторопливо, любуясь.

¹ Подлет — в переводе со староорловского — «жулик» (Прим. автора).

Зимой город хорошел, стоял, как обряжен.

Неужто Заокская? Неузнаваема. Груды кирпичей у домов мещан, завалы досок, развороченные свиньями канавы вдоль дорог, незаживающие рытвины мостовой — все покрыл милосердный снег. Узкие кривые улицы, побелев, будто поспрямели, деревянные домики нахлобучили круглые белые шапки и стали похожи на купцов, еще вчера черные гулкие сады теперь точили приветливый свет.

Над крышами поднимались столбики дыма, наш летучий пешеход потянул носом и сморщился — дохнуло гречкой, навозом — дрова были дороги, и заокские топили чем придется — гречневой лузгой, коровьими лепешками. Публика здесь жила небогатая, рабочая, в сезон нанималась работать на пристань, а в холода подтягивала пояски: пристань, хлебная да соленая, в теплое время тесная от грузчиков, подрядчиков и десятских, застывала вместе с Окой. Юноша летел теперь над речным флотом и глядел с любопытством. Суда покрупнее и помельче, длинные барки, лодочки, два-три плотика — все намертво вмерзли в серый лед, и на правом, и на левом берегу — так и будут теперь ждать с замершим сердцем влажного весеннего ветра и ледохода.

Да который час? Светло — но день ли, близкий вечер?

Полное беззвучие царило вокруг. Он вспомнил: так и бывало, ранней зимой, пока дороги еще были хлипкие, тишина над городом вставала такая, что, когда в Девичьем звонили часы, в домах у Плаутина колодца разговор прерывался — следовало переждать, как отзвонят. Даже лошади не цокали больше, ступали по снегу беззвучно, разве что всхрапнет какая да глухо вскрикнет с долгой зимней доуки петух. Но сейчас и петухи молчали, юноша с надеждой поглядел на Московские ворота и сам себе кивнул — так и есть, здесь жизнь жительствоваала, к воротам приближался обоз из трех саней. Первые санки можно было уже и разглядеть, их резво тащила гнедая с закутанным ямщиком на облучке и розоволицым барином в широкой косматой шубе. Санний путь считай устоялся.

На льду Оки, у берега, юноша заметил бабью фигурку — маленькие красные руки вынули из проруби светлую в желтое тряпку, отжали и начали громко колотить деревянным вальком, под стук из избы неподалеку выкатились ребятишки и побежали к реке. В руках у двух были ледянки-плетушки, снизу вымазанные коровьим навозом и щедро политые водой. Юноша улыбнулся: он знал, по горе такие летели! У двоих других, пониже, ледянок не было, значит, будут кататься на «заднем колесе». И все же, кроме мальчишек, и народу почти и не было. Или праздник?

Он свернул в сторону монастыря, в праздничные дни под стенами его сходились на льду биться на кулачках мещане и семинаристы. Несколько раз вставал с горожанами и он. Шли стена на стену, бивались на отчаянность. Правило было не бить по лицу и не класть в рукавицы медных гривен. Но когда на Руси соблюдались правила? Доходило и до смертоубийства — оттащат такого побитого домой на руках и отысповедовать не успеют, как уж преставился. Такое, однако, случалось не часто — многие выживали и после самых тяжких побоев, но чахли.

Сейчас под монастырской стеной было пусто, видно, лед еще не отвердел, рано. Только чернец с двумя ведрами спускался к реке за водой.

Последняя надежда оставалась на Кромскую площадь — он развернулся, проскользил над знакомым зданием гимназии, холодно мазнув ее взглядом — было б на что глядеть! К Кромской! И угадал.

Купцы, торговавшие на площади овсом и сеном, крестьяне, съехавшиеся сюда за товаром, даже бабы высыпали в центр площади и стояли кругом. Юно-

ша усмехнулся, аккуратно приземлился на крышу дома и щелкнул языком. Он сразу же узнал стоявшего внизу отца протодьякона в серой рясе, спускавшейся из-под полушубка, и его голосистого глинистого питомца под мышкой.

Отец протодьякон вышел в середину круга, спустил гуся на землю, тот сразу же развел крылья, разинул клюв и зашипел. Кой-кто из баб чуть отпрянул. Словно в ответ на это нахальное шипенье с другой стороны круга появился щуплый, но жилистый Богданов, их квартальный. Его богатырь, темно-серый с пестрыми в рыжину крыльями, пока что тянул шею из-за спины хозяина, важно усевшись в плетеной клетке. Богданов снял ее со спины, с величайшей осторожностью обеими руками установил на землю, отвязал веревку, и, зорко поглядывая вокруг — не подбросил бы кто из завистников гвоздик, не подставил бы невзначай блюдо с моченым горохом, выпустил своего героя на волю. Богдановский гусь был знаменитостью, герой многих сражений, поражений он не ведал — входя в раж, случалось, отрывал у соперника и крыло.

Толпа расступилась, протодьяконовский гусь загоготал уже не на шутку и сейчас же попер на богдановского, тот, презрительно выгнув шею, расставил крылья, чуть выждал, но, не вынеся такой наглости, сам бросился вперед. И почти сразу прыгнул, щипнул протодьяконова первым с такой отчаянной силой, что тот вскрикнул — жалобно, резко... В зрителей полетело серое надломленное перо, взвился клоч пуха. Гуси сцепились.

Но молодому человеку не суждено было узнать, чем завершилась баталия.

— Вылезай, говорят, приехали. Спать долго, встать с долгом, — тормозил его уже знакомый нам Судариков, по обыкновению своему ласково усмехаясь и сыпля прибаутками. — Спи, да не с перепоя, а коли проспался, так надо опохмелиться.

Юноша не шевелился.

— Спит так, что хоть в гроб клади, — удивлялся Судариков.

На этих словах юноша широко раскрыл глаза — они были черными, яркими, горячая досада в них так и плескалась. Волос под шапкой слегка кудрявился и тоже был темен, молодой человек затряс головой, чтобы окончательно проснуться, необыкновенно сердито поглядел на Сударикова, обвел зорким и уже вполне очнувшимся от сна взглядом своих попутчиков и, заметив, что над ним посмеиваются, нахмурился. Впрочем, еще обидней ему было, что такой сон прерван... Вспоминая сон, он только сейчас сообразил: Павловский собор много лет как достроен. На месте усадьбы Каменского давно поднимается кадетский корпус, да и Кромская теперь вовсе не так пуста, со всех сторон обстроена новыми домами. Значит, летал он над городом своего детства, какого больше нет!

— Где мы? — хмуро произнес молодой человек. — Водицы б...

— Ехали долгонько, — с мягкой, но по-прежнему насмешливой заботливостью в голосе заговорил Судариков, — решили заглянуть в заведение. — Не угодно ли будет... Вот и напьетесь.

В самом деле, их тройка стояла возле дверей откупного, довольно неказистого заведения, вытянутого и деревянного. У слегка склоненного набок крыльца яростно чесался пыльный пес, все ехавшие на тарантасе уже заходили в двери гуськом. Остались только они с Судариковым да ямщик на дозоре.

Дмитрий Орешкин

Философия города

Тут Пестель улыбнулся.

— Я душой матерьялист, но протестует разум...

Давид Самойлов

С чего начинается Родина? С картинки. А иначе и быть не может: побывать на каждом из семнадцати миллионов квадратных километров физически невозможно; осмотреть каждый из тысячи с чем-то городов тоже. Но спроси у любого — и уж он-то Родину свою знает и понимает ого-го как! И душу ее, и сердце, и все прочие органы.

Значит, все-таки образ. Который, надо честно признать, кем-то заранее был создан, нарисован или сочинен. Хотя та же картинка в букваре: небо, хлеба, дорога. Россия! Так что умнейший В.В. Розанов по-своему прав, когда горестно пеняет Н.В. Гоголю («хохол проклятый!»), что тот со своим гением как с писаной торбой влез в калашный ряд и изобразил совершенно недопустимый образ России. С чего все и поехало наперекосяк: в школах детки читают и смеются! И вся страна смеется. А нельзя!

Но ведь гений? Гений. И ничего против него не попишешь. Горько и несправедливо. Розанов любит душой и ненавидит протестующим разумом. Ужо тебе, востроносый, сатанинское отродье! Но ведь как пишет...

Так или иначе, рассуждая про Отечество, мы оперируем метафорами. Причем даже не своими, а сызмала усвоенными из культурной среды. Абстракциями, ментальными конструктами, образами, понятиями, брендами, мифами. Чем-то виртуальным.

— Мечта, не осязаемый чувствами звук, фу-фу — сказал бы велеречивый Чичиков. И даже дунул на ладошку для пущей убедительности. Мертвые души — тоже мне предмет. Кому он нужен?

— Да вот вы же покупаете, стало быть, нужен, — резонно возражает Собакевич, упираясь в русскую землю могучими задними конечностями. Два гоголевских прохиндея углубляются в как бы философический диспут. Конфликт гносеологий! Платон и Аристотель.

Чичиков — трепетный романтик, для которого высокая идея (развести на бабки бюджет любезного Отечества) превыше всего. Собакевич, напротив, лютый прагматик. У него задача попроще — развести на бабки данного конкретного Чичикова. Втюхать мужика по имени Елизавет Воробей.

Оба — безусловные патриоты и истинно русские люди. Соль земли. Ох, прав был Василий Васильевич Розанов — ну нельзя же так! Это же не Гоголь, а сплошная пятая колонна.

Советскую Россию легкокрылые Чичиковы поколениями приучали — что весьма диалектично! — как раз к материализму. «Что такое свобода, мораль, религия, вообще Идея?» — вопрошали они. Ерунда, выдумки буржуазных филистеров для обеспечения своих классовых интересов... Фу-фу, неосязаемый чувствами звук. А кто не согласен, пожалуйста к стенке, мы вас немножко расстреляем в чисто материальном смысле. Как доказательство идейной правоты...

Судьба кулачины и сквалыжника Собакевича (в свете материалистического Октября он смотрится скорее как философский идеалист, монархист и консерватор) в этой схватке духовных ценностей вызывает даже некоторое сочувствие. По сути, его приземленная гносеология ближе к делу и честней: через три поколения после 1917 года разрисованные иероглифами равенства, справедливости и общенародной собственности чичиковские деревни рухнули полностью и окончательно. Обнажив дикость и разруху, которые в частном хозяйстве «кулака» (сейчас бы сказали — эффективного менеджера?) Собакевича вряд ли были возможны.

Хотя и здесь, понятно, на самом деле конфликт образов и восприятий: обратитесь в артель «Империя зла» под руководством Проханова А.А., и там вам недорого продадут действующую модель великой космической державы из пластика, фольги и газеты «Правда». Многим нравится: очень похоже.

Которые поумней, предупреждали с самого начала, указывая на формально-логические пороки пролетарского материализма. Идея (то есть «проект» или хотя бы «цель») лежит в основе любой человеческой деятельности. «Буржуазный идеализм» в этом смысле хотя бы честен и демонстрирует уважение к объективному (хотите — Божьему, хотите — материальному) миру: наши знания приблизительны и субъективны. Посему перед тем, как на горе всем буржуям раздуть мировой пожар, не лучше ли семь раз отмерить, аккуратно сопоставляя каждый шаг с эмпирическими, а не идеологическими эффектами?

Куда там. Кто-то марксистам нашептал, что они держат за хвост единственную верную Идею об устройстве мира. А они и рады. Еще бы — отныне им, таким умным, принадлежит эксклюзивное право воплощать свои эпилептические мечты в практику! Беспощадно преодолевая сопротивление социальной материи в лице Собакевича и ему подобных.

Глупые философы три тысячи лет лишь различным образом *объясняли* мир, дожидаясь, когда наконец придет умный К. Маркс и скажет, что все дело, оказывается, в том, чтобы этот мир *изменить*. Хотя, если взглянуть пошире, что это такое, как не еще одно очередное *объяснение* в бесконечном ряду прочих?

А мужики-то и не знали! Куда менять, какими средствами и какой ценой — пусть теперь спрашивают у Него. Ибо только Он познал свет истины. Материализм, однако!

Отметим лишь две гносеологические слабости: во-первых, советские марксисты сказку идеализма всего лишь подменили сказкой материализма. Сообщив с довольным видом, что отныне тема закрыта. Во-вторых, сама сказка уж больно фальшивая. Прямо скажем, выморочная — если оценивать по материальным достижениям, а не по идеологическим взвизгам.

Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»...

Сергей Есенин

Чтобы изменить мир (в лучшую сторону, естественно), необходимо сплотить и возглавить широкие народные массы. Чтобы их сплотить и возглавить, необходима объединяющая Идея. Чтобы ее мобилизующий эффект не иссякал,

Идею следует беречь и защищать как зеницу ока от критиканов, клеветников и разного рода наймитов, имеющих целью заронить сомнения и подорвать основы. Если некто предательски указывает на расхождение теории с практикой или задает провокационные вопросы — руби гада!

Стоп, стоп, товарищи! Приехали: сущности вывернуты наизнанку. Люди, декларирующие якобы материалистический подход к истории, на самом деле действуют как упертые идеалисты. Причем откровенно сектантского толка. «Не-что вроде ордена меченосцев» — если пользоваться формулировкой И.В. Сталина. Какая, простите, наука, какие объективные законы, если право решать, что соответствует Учению, а что нет, принадлежит узкой группе фанатиков-демиургов? Это же чистой воды идеализм, да к тому же субъективистский: вера превыше эмпирического факта.

Прямее всего об истинной роли марксизма в СССР высказался опять же тов. Сталин. Не публично, конечно (публично марксизм трактовался как наука, все-мощная, потому что верная), а среди своих: *«Марксизм — это религия класса... Мы — ленинцы. То, что мы пишем для себя, — это обязательно для народа. Это для него есть символ веры!»*.

Данное откровение было записано 23 декабря 1946 года глубоко преданным вождю историком Владимиром Мочаловым, одним из составителей официальной биографии И.В. Сталина. Запись Мочалова опубликована в 17-м дополнительном томе собрания сочинений Сталина 2004 года издания.

Кто этим легкокрылым Чичиковым сказал, что производительность обобщественного труда будет непременно выше капиталистического? Они что, бывали в светлом будущем? Нет, не бывали. Или, может, хотя бы поставили небольшой эксперимент, отдав ткацкие фабрики тов. Энгельса в управление люмпен-пролетариату? Нет, тов. Энгельс от подобных опытов благоразумно воздерживался. Тогда откуда столь фанатичная вера, что именно так оно и будет? Наука, говорите? Истмат? Ну-ну.

В действительности социалистическая производительность резко упала, что пришлось маскировать тотальной фальсификацией советской экономической статистики. Но не о том речь. Речь об эпистемологии, об упертом Собакевиче и немножко о том, почему объективные эмпирические данные о снижении производительности в СССР преследовались как клевета и вредительство. Налицо тот же простой выбор между холодноватой научной добросовестностью и горячей верой в возможность вечного двигателя. До революции этот выбор осуществлялся главным образом в теории (кто кого перекричит); после революции он быстро и предсказуемо перешел в лубянскую практику.

В обоих случаях демиурги и вожди, не задумываясь, голосуют за веру. И таким образом помимо воли приоткрывают свои истинные приоритеты: чтобы возбудить люмпен-пролетариат, ему надо наобещать с три короба. Желательно, в наукообразной форме — XX век на дворе. А когда «научно обоснованные» псалмы обернутся провальной пустышкой — заткнуть критиканам рот пролетарским кулаком. Или свинцом, что даже лучше.

То есть на самом деле все они прекрасно понимали. И про науку, и про веру, и про обман трудящихся. Но тогда ради чего все это затевалось? Да ради власти и реализации мании величия, сопряженной с манией преследования. Других объяснений просто нет.

«Чтобы люди сдвинули для вас горы, надо дать им иллюзию, что горы движутся», — объяснил еще один вождь и демиург народных масс, Бенито Муссолини. Он, кстати, тоже вырос из социалистической Идеи: его почтенный родитель был близким соратником Карла Маркса. Да и у самого Дуче политическая программа была сугубо левосоциалистической, начиная от национализации

крупной собственности и кончая восьмичасовым рабочим днем и уничтожением сословий.

Обильно рассуждая про материализм и науку, идеологи марксизма на деле созидают для народа виртуальную реальность, основанную на вере. С целью опереться на эту реальность в борьбе за власть. Получив власть, они с помощью веры же ее удерживают. Поскольку базовая Идея вульгарна (она вынуждена быть такой, чтобы соответствовать запросам люмпен-пролетариата), построенное на ее основе царство справедливости и добра противоречит не только собственным декларациям, но и материальной действительности. Проблема усугубляется тем, что реальным приоритетом демиургов и вождей было не столько царство справедливости и добра, сколько эксклюзивные руководящие позиции в данном царстве.

Чем дальше в лес, тем тяжелее рубка с действительными, а не выдуманными законами материального быта. В которой победители в конце концов и изнемогают — вместе с обескровленным ими народом. Будь он итальянский, немецкий или русский.

Вечный двигатель, каналья, не крутится, как ни смазывай его кровью. Репрессировать объективную материю — это вам не лобию кушать. Приходится все время то ломиком, то рычажком... Приспосабливаться, разменивать идеалы, предавать соратников, врать, стрелять, воевать и щедро замазывать бесплатными демографическими ресурсами прорехи в своих великих проектах. Неуклонно сохраняя верность одному, главному приоритету: быть наверху*.

* Полный вариант статьи будет опубликован в одном из ближайших номеров.

Алексей Слаповский

Диаложки

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

АКТЕР. Ну, как я сыграл?

ЖЕНА (*не актриса*). Гениально, как всегда.

АКТЕР. Всегда я так не играл.

ЖЕНА. Ну, значит, гениально, как никогда.

АКТЕР. Ты не хочешь говорить серьезно?

ЖЕНА. Я серьезно, мне очень понравилось.

АКТЕР. Лучшая моя роль. Да?

ЖЕНА. Конечно.

АКТЕР. Ты хоть раз можешь сказать правду? Ведь ясно же, что я все провалил!

ЖЕНА. Ну, не все...

АКТЕР. Наконец-то! То есть ты считаешь, что кое-где нормально, а в целом отстой?

ЖЕНА. Наоборот. В целом очень хорошо, просто отлично. Но есть моменты...

АКТЕР. Какие?

ЖЕНА. Господи, ну... Да мелочи, не стоит говорить!

АКТЕР. Извини, что мучаю тебя. Хоть раз скажи прямо: не понравилось.

ЖЕНА. Не понравилось!

АКТЕР. Вот! Прямо в глаза! И что я вообще плохой актер!

ЖЕНА. Ты вообще плохой актер!

АКТЕР. Слава богу, перестала врать наконец! Я, может, не лучший в мире актер, но честный! И не боюсь, когда мне тоже честно в глаза... Так, а теперь давай без шуток, тебе понравилось?

ЖЕНА. Без шуток? Очень.

АКТЕР. А что конкретно?

ЖЕНА. Всё. Я виновата, если всё?

АКТЕР. Кто мне скажет правду, если не жена? Тебя нормально спрашивают, а ты отговариваешься!

ЖЕНА. Я не отговариваюсь. Ты есть будешь?

АКТЕР. Конечно. (*Ест раздраженно, но с аппетитом*). Очень вкусно, спасибо. Ты прости, но я все-таки не понял, тебе понравилось или нет?

...

Занавеса не будет никогда.

РЕМАРКИ

ШКВОРЦОВ (успевает вбежать в плотно набитый утренний лифт, оказывается лицом к лицу со жгучей во всех смыслах брюнеткой-красавицей откуда-то с верхних этажей и, вдохновленный своей удачей — он вечно натывается на закрывающиеся двери, — улыбается, говорит брюнетке бодро, свежо, энергично, при этом даже галантно и как бы даже с некоторым намеком). Здравствуйте!

БРЮНЕТКА (удивляется, почему с ней поздоровался человек, которого она несколько раз видела, но не знает, кто он, однако удивление не мешает ей машинально улыбнуться в ответ и машинально ответить). Здравствуйте.

ШКВОРЦОВ (поворачивается к дверям, ибо неловко стоять с кем-либо лицом к лицу, но улыбка и приветствие красавицы еще больше возбуждают его, и так окрыленного успехом; тут он замечает, что неподалеку стоит Вотчин, которого Шкворцов, получается, проигнорировал; если поздороваться с ним сейчас отдельно и особо, это будет выглядеть подхалимством, если не поздороваться, еще хуже — Вотчин сочтет его хамом, а от Вотчина зависят жизнь, судьба и зарплата Шкворцова; размышляя об этом, Шкворцов видит с другой стороны Верочку, милейшую девушку, не раз его выручавшую и вообще добросердечную, симпатизирующую ему, это Шкворцову приятно, но он ведет себя осторожно, так как серьезных матримониальных намерений у него нет, а для более легких и искристых отношений он предпочел бы девушку других параметров, такую, как брюнетка; с Верочкой странно было бы не поздороваться, поэтому Шкворцов дружески бросает ей). Привет!

ВЕРОЧКА (только что была обижена, увидев, как Шкворцов расцвел перед красавицей-брюнеткой, как выделил ее из всех своим приветствием, но, когда Шкворцов поздоровался и с нею, тут же растаяла, подумала, что он просто не сразу заметил ее, заметив же, немедленно поприветствовал, причем не безликим и официальным «здравствуйте», а теплым, дружеским, почти интимным «привет», не постеснялся при посторонних обозначить, что у них особые отношения, которые, кто знает, может, уже в этом году выльются во что-то реальное и конкретное). Привет!

ШКВОРЦОВ (мрачнеет по двум причинам: 1. опрометчиво дал Верочке повод на что-то надеяться и 2. теперь совсем уже невозможно не поздороваться с Вотчиным, иначе это будет выглядеть демонстративным поступком, вызовом, чем-то, после чего кладут на стол заявление об увольнении по собственному желанию, но тут же Шкворцов светлеет: ведь с Верочкой он поздоровался не сразу, получилось очень естественно, вот и с Вотчиным надо так же — будто не видел, а теперь увидел и исправил ошибку, причем спокойно, с достоинством; так Шкворцов и делает). Здравствуйте!

ВОТЧИН (просматривал сообщения в телефоне, рассеянно глянул, кто там с ним здороваются, увидел Шкворцова, кивнул). Здравсьте.

ШКВОРЦОВ (впадая окончательно в эйфорию от такого везения — все у него складно получается, все ему удастся! — решает сделать то, о чем не раз мечтал: не просто поздороваться с красавицей-брюнеткой, а спросить, на каком этаже она работает, спросить легко, веселым шепотом, без пошлых интонаций, чтобы в голосе его был слышен не авантюризм, не дешевый азарт любителя быстрого съема, но приглашение к радости жизни, к приключениям, горизонтам и перспективам; после того, как она ответит на этот вопрос, можно спросить имя, назвать свое, потом, среди дня, улучшить минутку и заглянуть к ней, а потом — а потом будет все, что только можно представить! — и он поворачивается к брюнетке и шепчет легко и свободно, будто не он произнес слова, а ветер принес их с моря, где стоит на рейде корабль с алыми парусами). Скажите, а...

Тут открываются двери, многие начинают выходить, толкают Шкворцова, оттирают от брюнетки, он оказывается в коридоре, входит обратно глупо, да и Верочка уже о чем-то его спрашивает, надо ответить. При этом кураж Шкворцова сохраняется: почти получилось один раз, может получиться и второй, все впереди, все в наших руках!

Через восемь месяцев они с Верочкой женятся, через семь лет Шкворцов бросает Верочку с ребенком, а заодно и работу, а заодно и Москву, едет в С.-Петербург, занимается творчеством, живет с безбашенной девушкой Мисой, через год Миса выгоняет его из квартиры, обзывая халявщиком и алкашом, Шкворцов бомжует, заражается туберкулезом, лечится, но все же умирает от одинокой старости в 2055 году.

Аминь. То есть занавес.

ОБИДА

Встреча одноклассников через двадцать лет.

ПЕТР. Здравствуй, Марина, хорошо выглядишь!

МАРИНА. Стараюсь.

ПЕТР. А я раньше не приходил, все время был занят. И сейчас только что из Норвегии через Данию. Правительственная комиссия по международному арбитражу, сама понимаешь.

МАРИНА. Круто.

ПЕТР. Потанцуем? ... Помнишь, как ты надо мной посмеялась на Новый год, когда я тебя пригласил? Сказала: надень каблуки, а я сниму. Как видишь, с тех пор вырос.

МАРИНА. Приятно посмотреть!

ПЕТР. А помнишь, подножку мне поставила, когда я к доске шел?

МАРИНА. Мало ли что было.

ПЕТР. Вот именно — много. Ты надо мной, если правду сказать, каждый день издевалась. Вроде того — ненависть за любовь.

МАРИНА. Не преувеличивай.

ПЕТР. А когда я на Киру переключился, тебе, наверно, обидно стало, ты ей про меня такого наговорила, что... Ну, сама помнишь.

МАРИНА. Детство, игры.

ПЕТР. Да нет, не детство, не игры. Но ладно, все в прошлом, действительно. Ты, я слышал, во втором разводе?

МАРИНА. Почти. Во втором замужестве. А ты?

ПЕТР. Я не спешил. А сейчас жена на пятнадцать лет моложе, домик на Николиной горе, в Москве квартира на Цветном, триста метров.

МАРИНА. Красава, поздравляю!

ПЕТР. Ладно, мне вон Кира подмигивает, пойду, пообщаюсь. Нарасхват стал. Извини.

МАРИНА. Да нормально, веселись.

Петр уходит, Марина подходит к Маше.

МАРИНА. Привет, слушай, тот вон белобрысый чудик, это кто?

МАША. Да Петя Кузнецов. Тоже доставал?

МАРИНА. Надо же. Совершенно не помню.

САША И МАША

Встреча одноклассников через двадцать лет. Саша и Маша танцуют.

САША. Что-то ты невеселая вроде?

МАША. Нет, почему. А ты даже слишком.

САША. Есть повод: ушел от своей гадюки наконец.

МАША. Та же фигня.

САША. Тоже ушла?

МАША. Собираюсь. Лет десять назад решила, жду момента.

САША. Да уж. Хочешь, правду скажу?

МАША. Смотря какую.

САША. Хорошую. Я на выпускном очень хотел с тобой потанцевать.

МАША. И?

САША. Застремался. Хочешь, больше правду скажу?

МАША. Я уже боюсь. Ну?

САША. Я вообще два года подряд тебя любил. Потрясает, да?

МАША. Не то слово. Ты серьезно?

САША. Абсолютно.

МАША. Тогда кошмар.

САША. Почему?

МАША. Потому что я сама три года в тебя влюблена была. Тихо так. Думала, ты занят. Лера там, другие.

САША. А я думал, у тебя Эльдар.

МАША. Эльдар сосед, на этом все.

САША. А сказать могла?

МАША. Кому?

САША. Мне.

МАША. А ты спрашивал?

САША. Вот не идиоты мы? Двадцать лет даром прошли!

Молчание. Танцуют. Маша печально смеется.

САША. Ты чего?

МАША. Да подумала: сейчас бы ты от меня ушел. Или я бы тебя ненавидела. А так — хорошие отношения.

САША. Ну да. Утешает.

Танцуют. Молчат.

1001-Й РАЗ О ЛЮБВИ

ОНА. Я тебя люблю. *(Короткая пауза)*. Прости.

ОН. За что?

ОНА. Не надо было этого говорить.

ОН. Почему?

ОНА. Сам знаешь. Ты же промолчал.

ОН. Я просто не успел! Я хотел сказать...

ОНА. Не надо!

ОН. Почему?

ОНА. На такие слова или сразу отвечают, или никогда.

ОН. То есть мне уже ничего сказать нельзя?

ОНА. А зачем? Все ясно.

ОН. Что тебе ясно?

ОНА. Да все.

ОН. Даже интересно. А мне ничего не ясно.

ОНА. Это твои проблемы.

ОН. Я люблю тебя.

ОНА. Поздно.

ОН. Блин, да почему?!

ОНА. Вот. Ты кричишь. Тебя раздражает эта тема. Тогда вообще какой смысл?

ОН. В чем?

ОНА. Во всем этом.

ОН. Ты меня с ума сводишь. *(Целует ее в лоб, в нос, в губы).* Я люблю тебя, люблю, люблю!

ОНА. Так бы сразу и сказал.

ЗВОНОК

ТАНЯ. Привет!

ОЛЯ. Здравствуйте...

ТАНЯ. Ты чего, не узнала?

ОЛЯ. Извините...

ТАНЯ. Ты серьезно? Ну, ты даешь!

ОЛЯ. С кем я говорю?

ТАНЯ. Ничего себе! Нет, конечно, мы лет пять не виделись, но чтобы не узнала, это вообще!

ОЛЯ. Извините, мне некогда.

ТАНЯ. Ты нарочно, что ли? Может, на что обиделась?

ОЛЯ. Нет, но...

ТАНЯ. Ладно, сама скажусь, если ты такая беспамятная. Таня я, которая с тобой, между прочим, три года в одной комнате сидела!

ОЛЯ. А...

ТАНЯ. Бэ! Нет, даже обидно! Ладно, я добрая, все прощаю! Как жизнь молодая, красивая?

ОЛЯ *(бесцветно)*. У меня муж умер.

ТАНЯ. Ох, прости, прости, я не знала! Надо же... А чего ж ты меня не позвала?

ОЛЯ. Куда?

ТАНЯ. На похороны! Даже обидно, я тебе что, чужая? Я не понимаю, какое это горе? Я бы помогла бы, ты же знаешь, я всегда всем! Тем более я знала твоего Виталика.

ОЛЯ. Его Борей звали.

ТАНЯ. Кого?

ОЛЯ. Мужа.

ТАНЯ. Постой, почему Боря? Ксюх, это ты?

ОЛЯ. Ольга меня зовут.

ТАНЯ. А чего, сказать трудно? Я, как дура, распинаюсь тут, а она... Вы, женщина, какая-то прямо странная, честное слово! Я понимаю, у вас неприятности, но не до такой же степени, чтобы такой неадекват вообще!

ОЛЯ. Вы номером ошиблись.

ТАНЯ. А сразу нельзя было сказать? Ну, люди!

Отбой.

Александр Архангельский
Ближняя дача

Справка из энциклопедии.

Матвеевское — «местность на западе Москвы, на левом берегу р. Раменки, к северу от платформы Киевского направления Московской железной дороги. Соседствует на западе с Аминьевом, на севере с Волынским и Давыдовом, на юго-востоке с Раменками, на юго-западе с Очаковым. Название — от бывшей деревни, известной с XVIII в. В XIX в. дачная местность. С 1960 г. в черте Москвы. С середины 60-х гг. район массового жилищного строительства (руководитель проекта застройки — архитектор Е.Н. Стамо). Название сохранилось в наименовании Матвеевской улицы».

Самое главное в справке отсутствует: на территории «современного микрорайона» находится Ближняя Дача, куда Сталин переселился после убийства Алилуевой и где умер в полном беспросветном одиночестве, фактически заточив себя в благоустроенную тюрьму. Истеричный выкрик Берии «Хрусталив, машину!» прозвучал как раз в Матвеевке; именно тут, «к северу от платформы Киевского направления Московской железной дороги», началась другая русская история XX столетия. С той же вечной ласковой гнильцой, но уже без кровавых потоков.

К Сталину я обязательно вернусь, но пока приземлим разговор и пройдемся по Веерной улице — с нее начиналась Матвеевка. Что в этой улице особенного? Да ничего; развернутая веером череда однотипных домов. С наружной стороны палисаднички, с внутренней лавки для бабок; балконы, перетянутые бельевыми веревками, как португеей; в тени деревьев столики для забивания козла. Таких районов больше не осталось, но для конца 60-х Веерная улица — необычайно характерна. Тогдашняя Москва делилась на несколько своеобразных зон, у каждой из которых был свой облик, свой норов. Москва Бульварного кольца была неприбранной столицей коммуналок, облезлым остовом исчезнувшей роскошной жизни. Москва хулиганов Таганки спорила с Москвой индустриальных зон, где шалили без финок и фикс, но со свистящими нунчаками и свинцовыми кастетами, которые напоминали сросшиеся перстни. Был особый параллельный мир — старорежимный поселок художников «Сокол» и кооперативное писательское гетто около метро «Аэропорт». А там, за горизонтом, начинался бесконечный край хрущевок и девятиэтажек, блочное царство спальных районов: Черемушки, Беляево, чуть позже Теплый Стан, весь тот благословенный Юго-Запад, по которому спустя эпоху Дмитрий Александрович Пригов начнет водить свои постмодернистские экскурсии.

И были мы. Ни город ни деревня. Возле станции — темные избы, просевшие и мрачные; это вам не пасторальный «Сокол»; грязный сортир во дворе,

ржавая колонка на обочине, бабки, повязавшие платки по самые глаза, и запах загаженной, тлеющей жизни. По другую сторону путей — случайные пятиэтажки; ощущение, что строить начали, а заселить забыли. Чуть позже, если продвигаться в направлении Давыдкова, в Матвеевке появится единственный на всю столицу Круглый Дом, гигантское бетонное кольцо, внутри которого любое слово, автомобильный взвизг и гогот доминошников отражаются тысячекратно. Два или три универсама, где пахнет оттаявшей треской и размякшим минтаем, но зато из прозрачного конуса наливают томатный сок, на прилавке стоит стакан с бесплатной солью и мокрой алюминиевой ложкой, а в жестяных гильзах пеняют молочный коктейль. Но при этом в бесконечно длинном перелеске можно собирать грибы. В нем пахнет пыльной электричкой, прелой листвой; мужчинки ласкают увесистых женщин, жарят на костре сосиски и разливают из бидонов пиво. Если мужчинки довольны, то могут предложить пивка в немойтой майонезной банке, если злы — держись подальше; ко мне однажды подошли такие трое, дыхнули кислым, посмотрели сверху вниз: ну как тебе, жиденок, нравится у нас? Сердце провалилось вниз; я трусливо ответил, что нравится, и они меня не стали трогать.

Сейчас бы я вписал тот эпизод в большую историческую рамку, вспомнил бы борьбу с космополитами, которая задумана была на Ближних Дачах, но какие там ближние дачи! В детстве имелись дела поважнее. Положить на рельсы украденный у мамы пятак, залечь в кусты, переждать проносившийся поезд и отыскать раскатанную битую, горячую, как только что отлитый свинец. Или порыться в мокром шлаке бывшей свалки, найти двадцарик, оттереть его и купить в продуктовом две булки по восемь копеек, одну с маком, а другую с повидлом, еще останется на два стакана газировки в красном автомате, один с сиропом, а второй, уж ладно, без.

На балконах кукарекали петухи, за металлическими гаражами, крашенными салатовой краской, можно было встретить тетку в вечном пуховом платке и с замызганными козами на собачьих поводках; козы презрительно мекали. Вдоль железки были вырыты глухие погреба; обитые жестью тяжелые дверцы затворены амбарными замками. В погребах хранили капусту с проросшей картошкой — и то и другое крали в соседнем совхозе, когда-то носившем имя Сталина. Возле помоек всегда догорали костры, и коленки у любого мальчика были прожжены насквозь. А внизу, в овражной сырости, валялись могильные плиты — следы Аминьевского кладбища; старые кривые буквы были непонятны и поэтому вели тайной.

Но главное было не здесь; главное начиналось на излете Веерной, где городское шоссе обрывалось и тропинка вела под откос, вдоль островерхого высокого забора, бесконечного, как двуручная пила. Поверх забора шла колючая проволока, она проржавела насквозь и где-то уже порвалась, а где-то сбилась в колтуны; некоторые доски сгнили, и через щели видно было заросшую, заброшенную территорию. Что там, за этим забором, меня не слишком волновало — вплоть до четвертого класса. Очередная охраняемая зона. Кем охраняемая, зачем и почему — какая разница? Что-то там такое, краем уха, я слышал про вожда народов и его последнее пристанище в Матвеевке, но никакого интереса не испытывал. Тем более что в темной глубине раздавались утробные гавки, а я особой храбростью не отличался. Мне нравилось книжки читать, а бороться с большими собаками — нет.

Поэтому я шел все дальше, дальше, к милой сердцу речке-вонючке, она же Сетунь; там процарапывался через густой кустарник, проползал сквозь ржавый ельник и через полчаса выныривал возле Поклонной горы. Перебегал, рискуя жизнью, Минское шоссе — и снова терялся в лесу. Имя Поклонной горы должно

было рождать ассоциации с Наполеоном и Кутузовым, но как никого из нас не волновало имя Сталина, так поверх сознания скользили и слова учителей про Бонапарта, понапрасну ждавшего ключи от города: вот, дети, в каком замечательном месте мы с вами живем. Какая там Поклонная гора? Мир вокруг был размечен иначе. Не кровавой историей, а вольной природой.

А чтобы понять, какая то была природа — в самом стугке Москвы, в четверти часа езды от Ленинских гор! — достаточно узнать, что фильм про Дерсу Узала, легендарного таежного проводника, снимался именно в Матвеевке. Представьте себе: чуть вперед, и уже Триумфальная арка, а немного назад — и пошла чередой мосфильмовских посольств. А тут — непролазные заросли. С непристойной силой прут боровики и подосиновики; палая листва гниет так сладко, так опасно; боярышник усыпан круглыми крепкими ягодами, зеленоватые орехи пахнут медом, ты один на целом белом свете, сам себе Дерсу и Узала.

Возвращаться домой никогда не хотелось. Еще немного, еще полчаса... Одну из таких бесконечных прогулок я затянул до сумерек. И вдруг скорей почувствовал, чем осознал, что поменялось время года. Из дому я выходил в разгар роскошной алой осени, а теперь наступила зима. Дунул ветер, небо раскорячилось, встряхнулось — по-собачьи, бурно, и на незавершившуюся осень вывалился первый снег. Он падал ровно и отвесно. Фонари на трассе стали синими, автобусы включили оранжевые фары, и что-то военное проявилось в ландшафте.

Я поспешил домой, пока не развезло дорогу. Быстро становилось скользко, снег таял, ноги мокли. Пришлось тащиться в обход, вдоль шоссе. Добрел кое-как до гигантской больницы, грозно именуемой аббревиатурой ЦКБ, — в ней лечили партийных начальников, прошмыгнул мимо официального въезда на Ближнюю Дачу, один в один складские ворота, и понял, что дальше тащиться — нет сил. А, была не была, и я свернул — на скользкую тропинку вдоль забора.

Она появилась внезапно. Бесшумно проскользнула через выбитую доску. Как в замедленном черно-белом кино. И встала поперек дороги.

Топорщится мокрая шерсть. Глаза почти прозрачные, зрачки как долька, узкие, смотрит ровно, не мигая. Ты уже во всем признался или нет? Подумай.

Я замер как вкопанный. И она в ответ не шевелилась. Надежно расставила лапы, тяжело уперлась в землю; страшная хозяйка этих мест, немецкая овчарка с Ближней Дачи.

Темнело, снег таял и стекал за шиворот; нужно было что-то предпринять, но что? Будучи мальчиком робким, я на всякий случай отступил — тихо-тихо, спокойно-спокойно, усыпим бдительность, а там, глядишь, и отползем на трассу. Овчарка убежденно рыкнула: стоять! И я бы охотно смирился, но в глубине закрытой территории на рык отозвались армейским лаем несколько других овчарок. И стало ясно, что терять-то нечего. Либо эта пропустит, либо другие порвут.

Я резко наклонился, сделал вид, что поднимаю камень, замахнулся. Овчарка глухо заворчала. Не опуская руку, я шагнул вперед. Ворчание перешло в уробный рокот. Следующий шаг. Она открыла пасть, вывалила страшный язык, от которого пошел тяжелый пар, и присела, готовясь к атаке. Третий шаг — она не прыгнула! Отвела глаза, по-детски заскулила, и, огрызаясь, отползла к забору; нырнула в черную дыру, исчезла.

На ватных ногах я добрался в тот вечер до дому. Что-то со мной приключилось, из сознания выбило пробку, стало интересно, важно, до дрожи: что же там было, за этим забором? Почему там никто не живет? Кто такой этот загадочный Сталин? И, даже чаю не попив, чтобы согреться, я полез в черную трехтомную энциклопедию, стоявшую на бабушкиной полке. Сел в продавленное кресло и подряд, не пропуская ни абзаца, от начала до конца прочел огромную статью.

Статья восхваляла вождя, описывала путь героя, клеймила врагов-отщепенцев, была скучна, как смерть, ничего про Сталина не объяснила. Недовольный, я перелистнул страницу и попал на огромную вклейку: портрет усталого мудреца, крест-накрест перечеркнутый учительским карандашом. Жирно, злобно; даже покарябана бумага. Странно. В нашем доме никогда о Сталине не говорили; вообще избегали политики. Не было ничего, не знаем, тссс. Ну тссс, так тссс, какая разница... Оказывается, страсти тут кипели, только до меня не доносились... Я окликнул бабушку и маму: а чего это вы Сталина? Карандашом? За что? Он плохой? И почувствовал, что воздух загустел, как холодец; мама с бабушкой умолкли и надулись, откровенно недовольные друг другом.

— Вырастешь — узнаешь.

И отобранный том был поставлен на полку.

Назавтра я снова спускался к вонючке вдоль щербатого забора. Было страшно. Вдруг опять появится овчарка? Но при этом я сгорал от любопытства. А все-таки что там, на Дачах? Происходило что-то непонятное, меня, как металлическую стружку на магнит, напыляло на эту проклятую дачу. Нельзя туда ходить. Нет сил сопротивляться. Порвут. А, будь что будет. И я отодвинул повисшую доску.

Здесь было безжизненно, глухо. Осины почернели, высохшие заросли чертополоха перемешались с пижмой; передвигаться было тяжело — поваленные мертвые стволы покрылись скользким мхом и струпами наростов. Никаких тебе расчищенных дорожек, никаких протоптанных тропинок. Холодная пустая тишина, поперек которой каркают вороны. И, что очень странно, никаких собак. После долгих мучений я вышел к дому с тыльной стороны. Дом был деревянный, крашенный темно-зеленой краской: цвет сукна на бильярдном столе. Аляповатый, несуразный: очень длинный, а при этом низкий, двухэтажный, с выпирающей пюзом ротондой.

Из-за угла появился облезлый мужик в телогрее и высоких грязно-желтых валенках; в руках у мужика был эмалированный таз. Я отпрянул — спрятался за дерево. Но мужик не глазел по сторонам, он был занят делом. Вывалил содержимое таза на снег, кисло-сладко запахло крупой и тушенкой; от кучи съестного пошел соблазнительный пар; мужик почмокал, посвистел, и в одну секунду на полянку перед несуразным домом набежали собаки. Виляя хвостами, переругиваясь, стаей! Им тоже было сейчас не до меня; их кормили, и они так сладко, так жизнелюбиво жрали! А мужик стоял и любовался на собачек.

Незачем испытывать судьбу; я немедленно ретировался. Не буду врать, что думал про историю, про то, как вот отсюда, из пахнущей талым снегом и солдатской кашей матвеевской Дачи, мог управляться целый мир — и управлялся ли он на самом деле отсюда? Конечно же, я думал только про собачек. Что вот сейчас они покушают, пометят территорию, принимают, побегут за мной.

...Матвеевское разрасталось, разбухало; природной воли становилось меньше, домов и жителей — наоборот; овраг между Матвеевкой и Ломоносовским проспектом превратился в дорогой район, белые дома — как сахарные головы. В лесу перестали попадаться могильные плиты, Поклонную гору постригли под ноль... Только огороженная дача с аляповатым домом, перестроенным в несколько приемов, стоит как стояла. Говорят, что ее обиходили, расчистили упавшие стволы, прорыли дорожки, залили асфальтом.

А еще говорят, что собачки там бродят по-прежнему; я не знаю, проверять не рисковал.*

* Эссе предназначено для сборника, готовящегося к печати в издательстве АСТ. Редакция Елены Шубиной.

Ольга Славникова

Одинокий той-терьер

Лауреатов годовой премии журнала «Знамя» награждают, помимо прочего, фигурками собак. Это вроде медали, носить полагается на шее, на шнурке. Насколько я могла заметить, породы собак на каждый год разные. Мне достался миниатюрный той-терьер.

Я не люблю окружать себя материальными свидетельствами своих достижений, мне они как-то мешают работать. Мои дипломы, лауреатские и за финалы премий, лежат, подобно окаменелостям, стопкой в шкафу. Призы размещаются на полках попеременно с ненагражденными статуэтками и картинками. Так и той-терьер встал на комод в соседстве черных массивов каслинского литья и забавной бронзовой всячины, вывезенной с Портобелло и с парижских блошинок. Стоя там, мой тойчик собирал так мало пыли, что совсем не оставлял следов на влажной салфетке.

Примерно год назад тойчик стал пропадать. Он не обнаруживался во время уборки на своем обычном месте, не было его и в других местах скопления фарфоровых и бронзовых существ. Что ж, фигурка маленькая, могла упасть, затеряться. Но как только я смирялась с утратой тойчика — он как ни в чем не бывало возникал на комод, в боевой веселой стойке, потеснив соседа — ажурного, важного, больше собаки втрое, французского воробья. И вот теперь тойчик, вытираемый салфеткой, мазался, будто крышка от пузырька с тушью. Видимо, побывал в одной из тех таинственных, электрическими паутинами затянутых щелей, куда не добирается ни тряпка, ни щетка.

И наблюдалось при этом любопытное совпадение: когда бронзовый тойчик исчезал с комода, во дворе появлялся той-терьер настоящий. Мелкий, килограмма на два живого веса, с ушами больше головы, этакая помесь собаки с бабочкой, тойчик бодро семенил на красном поводке и улыбался. Все, кто бросал на него хотя бы единый взгляд, улыбались тоже. Было весело наблюдать, как, спущенный с поводка, тойчик бросался по газонам и кустам вынюхивать новости, как делал грациозные батманы преимущественно на колесо тусклой «Тойоты», всегда запаркованной криво, будто забытый на рубашке утюг. Тойчик был умный, обо всем имел свое мнение и не боялся его выражать. Между прочим, он вовсе не считал себя маленьким существом, напротив: с отрывистым лаем шел в атаку на гораздо более крупных псов, а в главные оппоненты выбрал себе громадного, серого, в складках, мастифа, представлявшего собой помесь собаки с бегемотом. Причем момент для нападения наступал тогда, когда велюровый бегемот с кряхтением садился враскоряку и отставлял незащитный, напряженно дрожащий хвост.

Хозяйка, которую выгуливал тойчик, была молодая женщина, при взгляде на которую на ум приходили слова «уездная барышня». Свежее круглое лицо, короткие бровки, круглые серые глаза цвета первых дождевых капель, упавших в пыль. Светлые волосы уездной барышни были гладко стянуты в хвост, но выбивался пух, который доверчиво впитывал всякий свет — и солнечный, и пивную желтизну дворовых фонарей, и рубиново-сапфировый перепляс бессовестной рекламы дрянного ресторанчика, где ничего, кроме разогретых полуфабрикатов, вам не подадут. Хозяйка тойчика приветливо смотрела на всякого, кому нравился ее активный песик — а кому бы не понравился такой симпатяга! Скоро мы с ней уже здоровались. Я останавливалась понаблюдать, как уездная барышня, неловко размахнувшись, кидает подальше ярко-синий мячик, а песик, заливаясь лаем и счастьем, несется вслед. Одновременно с этими играми хозяйка тойчика успевала читать. Читала она много, постоянно, глаза ее трепетали над страницей, как вот трепещет взгляд, когда близко смотришь в лицо дорогого, любимого человека. Тут для круглоты композиции мне бы следовало написать, что в руках у барышни постоянно был журнал «Знамя». Однако правда нам дороже: хозяйка тойчика поглощала романы Дарьи Донцовой.

Между тем мой наградной той-терьер стал отлучаться реже, а потом и вовсе утвердился на комод, довольный и чистенький. Может, он нагулялся, а может, успешно внедрил в реальность свою живую копию, которая существовала теперь самостоятельно и не нуждалась в поддержке. Бронзовый тойчик сделал доброе дело и теперь отдыхал.

Однако картинка в идиллическом роде не может держаться долго, это противоречит законам жизни и законам литературы. На всех нас напознала тень, она становилась гуще, налетали порывы холодного, хлещущего ветра — непонятно откуда, как это бывает перед первым разрядом грозы. На Донбассе военные действия, а по сути война — это не укладывалось в голову. Это была фантастика в жанре альтернативной истории. Казалось, будто на города, рефлекторно, памятью детства, опознаваемые как свои, напали инопланетяне. Лица людей на улицах переменились. Женщины выглядели усталыми, мужчины — усталыми и небритыми. Все получили удар по психике: иные — прямой наводкой, других посеколо осколками.

Не стала исключением и уездная барышня. Милое личико ее приобрело ту мертвенную матовость, какая бывает у перегоревшей молочной лампы. Тойчик был по-прежнему весел, бодро строчил впереди хозяйки, натягивая поводок, все так же задирали во дворе больших неуклюжих собак. Но хозяйка больше не кидала ему синего мячика. Песик бешено вертелся, прыгал, выделявая в воздухе судорожные восьмерки, за пустой хозяйкиной рукой. Если что-то бросали для игры другому псу, тойчик кидался наперерез и, случалось, приносил, преследуемый гавкающим конкурентом, чужую обслонявленную игрушку или палку. Но ничто не развлекало уездную барышню. Она даже перестала читать пестренькие детективы. Вместо этого она копалась в айфоне — должно быть, искала новости, совсем непохожие на те, что оставляет на местности собачье сообщество. Одна такая новость стала сокрушительнее остальных.

— Нет, ты скажи, правда, скажи, мы или не мы сбили боинг? — услышала я однажды, в разнеженную июльскую теплынь, ее потерянный голос и вздрогнула.

Уездная барышня обращалась не ко мне, она говорила в айфон, приложенный ладонью к щеке, тем саму себя жалеющим жестом, с каким пригорюниваются русские женщины. Тойчик вился и молотил шоколадным хвостом, заглядывая снизу на хозяйку, собрав крутой лобик складками. Песик был все еще счастлив и потому одинок в этом внезапно изменившемся мире.

Неизвестно, что сказал хозяйке тойчика телефонный собеседник. Мне тоже страстно хотелось получить ответ на ее вопрос. Теперь стало понятно, что ответа мы не получим никогда. Высоким темпом идет инфляция реальности. Вот выложены в сеть разоблачительные телефонные переговоры, через небольшое время оказавшиеся поддельными, но успевшие своротить набок многие умы. Вот появилась фотография российского, а может, и не российского ЗРК «Бук», удирающего с места преступления в районе поселка Снежный — а может, на Марсе. Вот опубликован спутниковый снимок, на котором видны злосчастный боинг и украинский штурмовик, призрачные стрекоза и комарик, а пунктир между ними — это якобы и есть катастрофа. Вот допрошен на детекторе лжи залетный свидетель... Бешеный оборот информации, фальшивки ходят наравне с доподлинными сведениями, потому что задачи свои выполняют не хуже и в производстве стоят дешевле. Потребитель информации выбирает не то, что похоже на правду, он выбирает то, что более комфортно — а фальшивки как раз и создают для своих максимальный комфорт. Когда-нибудь международные эксперты опубликуют вердикт — но поверим ли мы результату? Нет, не поверим, потому что желаемое и действительное к тому времени перемелются и смешаются в мелкую муку, в однородный прах, а реальность объявит дефолт.

Болезненный интерес представляет для меня феномен «МЫ» — это которые «сбили или не сбили». События последних месяцев заставляют позавидовать соотечественникам, гражданам мира, которые легко вышли за пределы «МЫ» и автоматически встали на сторону всего хорошего против всего плохого. Остальные ощущают феномен как притяжение невидимого ядра, вещества умо-непостигаемой плотности, слышат грохот, подобный звуку тысяч работающих кофемолок, с которым переворачиваются, крутятся кости в щелястых отеческих гробах. С этим ничего нельзя поделать. Активированное «МЫ» внушает лично мне, что это именно я, в каком-то трансе, в дурном кошмаре, сбита «Боинг 777-200», неважно из чего. В реальности у меня на момент катастрофы есть железное алиби. Во второй половине дня 16 июля мы с мужем ехали за город, а в промежутке между 13.20 и 14.40, то есть именно тогда, когда в самолет проникли посторонние объекты высоких энергий, мы завернули в питомник прицепиться к лохматой, привядшей, но еще живой распродаже, состоявшей из шепелявых яблонь и проволочных розовых кустов. Нас видели и наверняка запомнили по меньшей мере четыре продавца. Но какое значение могли бы иметь их показания, если никакие свидетельства не убеждают никого, в том числе меня?

Что станет с литературой в новом изменившемся мире? Писатель, эта странная личность, помесь собаки с бабочкой, помесь профессионала с бездельником, зависающий над пустым открытым файлом в предчувствии первого слова, — он ведь не уймется. Движимый своей неотменяемой программой, он будет создавать при помощи слов некомфортную среду — предоставляя кому-нибудь другому производить комфортные тексты, идущие под глянцевые обложки. Дефолт реальности, скорее всего, загонит в кризис сюжет, но писатель как-нибудь вывернется. Он не признает себя маленьким существом и продолжит гавкать на мастифов. И он все равно будет счастлив, потому что среди наших дней, состоящих из двух страшилок — курса доллара утром и похода за продуктами вечером, — он существует в тех жанрах, в каких сам захочет. Однако одиночество писателя станет таким, каким прежде не бывало никогда.

И еще одного я боюсь. Когда я пишу роман, я сижу одна за компьютером в закрытой комнате. И у меня не будет никакого алиби, если что-нибудь опять произойдет.

Максим Осипов

Риголетто (трагедия вежливости)

моноспектакль, фрагмент

Моноспектакль «Риголетто» написан в 2014 году. Автор посвятил его Адриану Ростовскому, артисту Академического Малого драматического театра (Театра Европы) Санкт-Петербурга. Спектакль готовится к постановке в 2015 году.

Действие происходит в «Обществе анонимных алкоголиков» одного из центральных районов Санкт-Петербурга. Перед собравшимися выступает ФЕЛИКС ГАМАЮНОВ, нарядно одетый немолодой человек. Он не алкоголик, сюда привела его потребность в исповеди. В приведенной сцене ГАМАЮНОВ рассказывает историю своей семьи, говорит о работе, о своих политических взглядах.

ГАМАЮНОВ. Правильно говорят: враги человеку — ближние. Но! Любите врагов своих. А что делать, если, как у меня, например, нету врагов? Разве что вправду — ближние. О чем я? Ах, да...

Вот папаша. Назвал меня Феликсом. Хорошее имя, да? Уж, наверное, не в честь Мендельсона, чтоб ему... (Напевает «Свадебный марш».) Там-там-та-та-та-там... Феликс — счастливый, удачливый. Откуда папаше слышать про какого-то Мендельсона? Всю жизнь колхозником... Животноводческий комбинат, свинокомплекс, почтовый ящик такой-то. Забыл уже номер, да это, я думаю, до сих пор секрет. П/я — понимаете? Пе — дробь — Я. Дочурку свою Лину — Ангелина, Линочка, дочь моя, единственная, кровиночка — спрашиваю: что такое «работать в почтовом ящике»? Не знает. А кто такие были лимитчики, как ты думаешь? Тоже. Тоже нет. А законы этой самой, как ее? — диалектики? Истмат-диамат. Три составные части, три источника. Их вообще надо помнить, как «Отче наш». Помнит кто-нибудь «Отче наш»? Я, честно сказать, нет.

А служил-то папаша не где-нибудь. КГБ СССР! Подполковник, не шуточки. На стол Председателя, самого главного, по пять поросят поставлял ежедневно, молочных, проверенных. И в выходные, и в праздники. Не сидеть же начальству без мяса, оттого что дали трудящимся отдохнуть. Вот вам и диалектика. Сорок тысяч голов скормил папочка родным Органам. Встанет посреди загона в резиновом фартуке, руки раскинет — вот так: «Привести в исполнение. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». У нас и порода существовала особая, называли андроповской. Порядок на свинокомплексе идеальный был: желуды импортные, итальянские, от них совершенно другое амбре. Тоскана, Монтепульчано. Каждый поросенок жил, как наследный принц. И то, между прочим, туда, к Председателю, посылали только достойнейших. Медицинские карты, прививки, анализы, паспорт здоровья — полная документация. Поросяткам звания присваивали. Лейтенантов младших, в предвкушении дембеля.

Все у нас было в истории — шикарно, величественно, да чего уж там?.. Возникали, конечно, трудности по причине разных... ЛГБТ. Но мы решали их, находили выходы. Власть — права, ясно вам? Так было, так будет. Всегда, правильно. Вся власть от Бога. Что это значит? А то и значит. Правильно церкви ломали, и молодцы, что обратно построили: время разбрасывать камни, время их собирать. Демократический централизм. На кого обижаешься, сука? На партию?! Людей наказывали не просто так. Не совершайте преступлений — и вы не будете сидеть в лагере. Папка мой любил повторять. И прекрасно, что повыпускали потом. Мы же не звери какие-нибудь. Отлично все было, а сейчас-то как хорошо! *(Напевает.)* С возвращением двуглавых орлов / Продолжается русский язык! / Москва! Умремте ж под Москвой! А нынешнюю нашу власть, ее любить не так и сложно. Вы попробуйте, только попробуйте!

Надевает георгиевскую ленточку.

Кто не носит такую — тот за фашистов и пидарасов. А значит, и сам пидарас. В плохом смысле. Предатели. Гомосятина. *(Снова поет.)* Москва! Умремте ж под Москвой!

Короче. Отец на заслуженной пенсии. В последние годы опять у нас вспомнили про ветеранов специальных служб: поздравляют с профессиональными праздниками, приносят пожрать. Туловище у папаши крепкое, а голова — того. Как у Ленина. Бормочет: — Делай что должен, и будь что будет. Где-то услышал, наверное. Мапочка недосмотрит — делает под себя. Будь, мол, что будет. Погулять его выведем, он наденет матросскую кепочку, белую, козырьком назад, ходит кругами, бубнит: — Делай что должен, и будь что будет. Пьет только водичку сладкую: — Феликс, миленький, тархунчику притащи. Потребляет его канистрами: у него уже тархунчик этот носом идет. Струйкой зелененькой. Обхохочешься. Раньше любил про высокое, про геополитику, прошлое вспоминал. — Что, папа, — бывало спрошу его, — не стыдно за то, как с мамой-то получилось? — Нет, — отвечает. — Я же сам от этого пострадал. Это теперь: разводись не хочу, а тогда знаешь как меня отымели? Всем свинокомплексом. Из партии чуть не вычистили. — Выходит, совесть тебя ни за что не грызет? — Нет, сынок, не по зубам я ей, не грызет.

Я ребенком в деревне жил. Идиотизм деревенской жизни. Природу вообще сильно переоценивают. Жили-то за колючей проволокой. А как же? Секретный объект. Не такое уж было оно босоногое, детство мое. Да и свинки, как ни ухаживай, а попахивают. С мамой потом перебрались сюда. Тут-то воздух куда как свежей. — Хоть в нормальной школе, сынок, поучись. Она ж Давыдовна у меня. На самом деле — Давыдовна. Так что я на четверть, на ноль двадцать пять... ну, вы поняли. Опять же, как вождь мировой революции. Раньше особо не афишировал, но теперь это вроде в порядке вещей. — Феликс, скажи, — теща все доставала меня, — правду ли рассказывают про вашу нацию, что между вами флюиды какие-то? — Откуда мне знать про флюиды? Ведь я четвертинка, ноль двадцать пять...

Очень мамочку мою беспокоило ее отчество. Папе оно сильно испортило служебный путь. Они с мамой и разошлись, когда с этим делом опять появились строгости. Толку-то. Так в полковники и не произвели. — Как бы, сынок, у тебя тоже неприятностей не было из-за меня, — мамочка все беспокоилась. Теперь-то чего? — на пенсии, снова вместе живут. Всякое было: в школе сначала, уборщицей, потом при буфете, в театре, нет — на театре, так правильно. Дразнили ее и лимитчицей, лимитой... Не говоря уже про «Давыдовну». Было всякое, да... Жили как-то. Тем более что мясца нам папаша подбрасывал. Вот такая она, моя мамочка.

Грудью кормила меня до трех с половиной лет. Молока у нее было — бидонами. Хотя я на аппетит особо не жалуюсь, однако всего не съедал. Поросенка держали, не из этих, не из андроповских, выливали ему. — Гляди, сыночек, вон твой молочный брат побежал. Да, с братом нас жизнь развела... Другим он путем пошел, брат...

А мамочка на старости лет большой демократкой заделалась. Для нее, для мамуленьки, у меня и такая вот есть.

Надевает белую ленточку.

Кто здесь власть?! Не забудем, не простим! Тоже мне. Забудем. Уже забыли. Испугали ежа, называется.

Слышит в последнее время неважно, зато осмелела мамочка: потопала прошлой зимой на марш. Хорошо хоть, товарища подполковника дома оставила. Звонит нам, докладывает: — Я только не поняла. Кто такой Печенкин? — Не знаю, мамуль, никакого Печенкина. — А чего ж мы кричали: «Свободу Борису Печенкину»? — Это они, пап, «Свободу политзаключенным!» кричали, — дочурка моя додумалась, Линочка. Ходит на митинги, моя девочка.

Демократия ужасна, но лучше ничего не придумано! Пфф... Сломаешь язык. Взгляды ваши — отстой, но я жизнь отдам, чтоб вы... что-то там. Ну, вы знаете.

(Обращается к немолодой женщине, которую уже долгое время разглядывал.) Женщина, я не вас той зимой на Энгельса подбирал? *(Окружающим.)* Трас-са скользкая, еду медленно. Вдруг почти под колеса мне — женщина. Вышел, поставил на ноги, отряхнул: — Не ушиблись, женщина? А она два шага сделает, снова — шлеп. Хочу ей помочь — глядит на меня вот так вот: — Шел бы ты... Сама — в дым. Думаю: пусть уж как-нибудь... Не сажать же в салон. Хорошо, что все обошлось. *(Женщине.)* Рад видеть вас в относительно добром здравии. Вы давайте внимательней...

Теперь у всех почти ленточки. К примеру, на службе... Я сейчас в нефтегазовом комплексе. Тружусь — громко сказано. Так, консультантом, советником. На карточке просто написано: специалист. Финансы, то-другое, строительство. Частно-государственные партнерства, софинансирование. Программа освоения новых земель. Денег, извиняюсь, хоть попой ешь. Всякое было в моем восхождении по служебной лестнице... Да и, чего уж там, папочка мой помог, пока у него порядок был с головой. Через спорткомитет. В принципе, одно ведомство. Даже структура, где мы находимся *(обводит рукой помещение)*, тоже, мне кажется, — вот это все. Приду раз в неделю, что-нибудь посоветую вежливо, так и так никому дела нет, да и что стоять у людей над душой? А условия хорошие, можно даже без галстука. Но я уже как-то привык. Звали министром, я — пас. Федеральный министр. Конечно, значительные возможности... — Что же ты, Феликс, от денег таких отказался? — спрашивают. А я не отказываюсь от денег, я от работы отказываюсь. Не люблю неприятных вещей. Если б сенатором... Дочка придумала: пчелы работают в темноте, добродетель в молчании, а папа мой вообще не работает. Ничего, живем-поживаем, не бедствуем.

Да, живем... И в чем, спрашивается, трагедия? Будет трагедия. Вернее, уже была, маленькая. Вчера. Маленькая трагедия. А большая случится, похоже, прямо сейчас.

Маргарита Хемлин

Щедрый вечер

Ну вот. Купила конфет всяких, печенья, семечек, орехов, мандаринок. Грошиков мелких наменяла — одаривать за колядки. Щедрый же вечер, 13 января, Маланки. Придут щедровальники. И колядники придут. Все заодно. Трохи не по правилам — по правилам только девушки незамужние щедруют, потом гадают, ворожат на суженого. Хлопчачье дело — повторно сватов засылать, если в первый раз им гарбуза вручили с отказом. А жиночки-чоловики, соседи, друг к другу ходили мириться на всякий случай, чтоб в новом году не ссориться. Ну и ладно. Хай и одни, и другие, и третьи. Споют на пороге, скажут что положено, а я им скоренько и дам что надо. Праздник же ж.

Жду. Не идут. Ем мандаринки, залузгиваю семечками, одна в родительском доме на берегу реки Десны в городе Чернигове.

А тут звонок в самую дверь. Открываю с улыбкой — праздник же ж. На меня идет красавец-аккордеон с перламутровыми накладками, по ребрышкам — красный кантик, клавиши слоновой костью отливают. На корпусе переводная картинка, давнишняя, из первых, немецких, которые появились у нас: артистки студии ДЕФА, Рената Блюме там, само собой, и как будто хотел кто-то эту картинку счистить, а только по краям пошкрябал, но больше вокруг материал попортил, перламутр и старое дерево поцарапал без толку и на том бросил.

— Хазяечка, дозвольтэ щэдруваты?

— Проходьтэ, щэдруйтэ, будь ласка.

Жиночка. Наверно, бессемейная, семейная б только-только со стола убирала после щедрой вечери. Присела б на краешек табуретки да хоть поела как следует на кухне — за всеми бегала за столом, всех обихаживала, подкладывала, уговаривала, за рюмками-стаканами следила; а до того готовила — и смажэнэ, и варэнэ, и пэчэнэ, и млынцы-сонэчки (блинчики-солнышки), и ковбасу, и гуску, и картополянны из шкваркамы, и локшину (лапшу) самодельную ровненько-тоненько резала старым ножом, еще бабкиным, а тот нож из косы, из самого краешка, короткий, острый, косили той косой, косили, точили-точили, треснуло железо от излишней тонкости прямо посреди косовицы, на лугу, обломок в траве потерялся, нашли и сделали нож.

Ну вот.

Поет хорошо, на совесть. Не абы як. А я зачарована аккордеоном. Планочки, дырочки, особый старый свет эмали и бело-зеленого перламутра, узор из плетущихся вверх цветов и гроздьев винограда; надежность кожаных ремней через плечи, и особенно — ремень, который слева, на него основной упор — тянуть и тянуть, и по кнопочкам рукой давить аккордами особой музыкальной силы и воздействия.

Аkkордеон немецкий. Трофейный. Надпись HONNER железная-начищенная с правого боку, где клавиши. Слева — где кнопочки — VERDI I. Видно сразу. И возраста жиночка не сильно старше меня, значит, отец ее около 26–27-го года рождения, воевал, совсем хлопчиком пошел на фронт, и потому аккордеон именно немецкий, и Рената Блюме на нем прилеплена была в свое время, когда другие лепили ее на дорогушие (девьянсто советских рублей) транзисторы «Спидо-ла», и на мопеды тоже переводили картинки остороженько — на защитное стекло впереди и на торпеду, по бокам, чтоб видней окружающим, замачивали сначала в теплой воде, потом картинкой вниз разглаживали на нужной поверхности и пальцем скатывали толстый слой размокшей бумаги, освобождали из-под него неземное лицо далекой звезды, а если передержать в воде, разлезется и верхний слой, и всё на свете, и никакой красоты у тебя не будет, у всех будет, а у тебя — нет, потому что картинки только у спекулянтов на базаре с-под полы или как, а гроши ж не казенные, и их на ерунду нема больше.

Но картинку, конечно, лепил не батько, а старший ее брат, серьезный человек такую дурню на благородный инструмент не налепит, рука не замахнется, а хлопец — запросто, и ее, младшенькую, может, привлек — девчонка ловчей в таких делах, где терпение и аккуратность, аккуратность и терпение.

И вот он налепил Ренату Блюме на аккордеон.

И взрослые увидели.

И сказали:

— И для чего ты такое сделал, сынку, гад ты такой, сдирай оту гадость своими ногтями и зубами своими выгрызай, шоб и следа не осталось!

И за чуб хлопца, за чуб.

А он от безысходности вины канючит:

— То не я, то она...

И на сестру кивает, и мигает ей двумя своими глазами, спасай брата, ой, спасай, ты ж маленькая, тебя не накажут, а меня на танцы не пустят, а еще штаны мои новые широченные внизу, железной молнией подшитые, шо зубчиками своими блестящими желтенькими по асфальту цокают еле-еле слышно-чутно, выкинут, шоб я семью не позорил, спасай, сестричка!

А уже распаивается шифоньер, и выгребаются могучей батьковой рукой бэлсы-колокола-с-английского самошитые, и растягиваются вдоль и поперек, и цепляются зубчики-зализяки, и тут слышат все твой маленький голос:

— Братик мой, братик, ты ж ни в чем не виноват, я сама тую картинку налепила, ой, простите ж вы меня, а братика пустите, и на танцы его пустите, и вообще, и штаны его отдайте, а картинку я отлеплю, честное октябрытское!

Ну вот.

А щедровальница спрашивает:

— Ну шо, яку вам щэ заспиваты? Можна нэ щэдривку, можна «Черэмшину», чы «Два кольори», або «Чорнобрывци». Я завжды на заказ спиваю. Нэ волнуйтэся.

— Давайте вместе споем, «Чорнобрывци».

— Отож, отож. Ну, з Богом.

Заспивалы. После первого куплета я отступила, чтоб не мешать.

Як на ти чорнобрывци погляну,
Бачу маты старэньку,
Бачу руки твои, моя мамо,
Твои очи я бачу, риднэнька.

Ну вот. И так, и сяк, и водой, и одеколоном тройным ту Ренату терла, и ногтями своими царапала ласково и неласково тоже, и ножницами, и стиральной резинкой красной, той, что в тетрадке дыры делает, а не стирает и еще чернилами потом пачкается, хоть о дерево ее три, хоть как, и лезвием «спутник» пыталась срезать переводнушку, и залилась новыми слезами, а потом еще новей, а потом заснула, уткнувшись в меха, в красную блестящую окантовку каждой складочки, так, что отпечатались они на твоей щеке надолго.

И приснилось тебе, что в пионерки тебя не примут, потому что юбка гофре мятая и не разглаживается, хоть ее чем наглаживай, хоть даже клеем конторским те гофринки мажь, чтоб не расходились, а наоборот — остренько ребрились.

И был это год 1970-й, год 25-летия Победы, и отцу как раз сорок три года, и еще 100-летие Ленина, старухи в нашем дворе обсуждали близость третьей мировой, потому шо «шо-то обязательно будет».

А штаны-бэлсы появятся позже. Это я погорячилась, со штанами. Но так уже они красиво вокруг тонких хлопчатых щиколоток вились! Как знамя. И железячки стукали. И даже иногда некоторых до крови царапали — голую кожу над носками. И кровь текла прямо каплями на землю. Да. А за шо кровь? За моду.

Ну вот.

И Рената Блюме вышла замуж за Дина Рида, а Дин Рид утонул в немецкой речке вроде случайно, но вроде и не совсем, и был он очень красивый, и в черно-белом «Рекорде»-телевизоре пел еще задолго-зadolго до своей безвременной смерти, исполнял в белом парчовом пиджаке песни, в том числе «Элизабет» с припевом, а «Хаву-Нагилу» не пел, хоть на пластинке «Мелодия» такое было.

— Ну шо, хазяечка, зи святамы вас, дорогэнька!

Щедровальница оглаживала аккордеон, успокаивала звук. Наступила пора одаривания.

В чистую белую наволочку (еще мамой стиранную), я сложила гостинцы, сверху посыпала грошиками, завязала, вручила с поклоном:

— Дякую, дякую вид щырого серця.

Жиночка приняла клунок тоже с поклоном. Поклонилась больше не спиной, а согнутыми коленями, как беременная. И инструмент придерживала рукой, будто живот с ребенком внутри. Повернулась к двери, потом снова лицом ко всем раскрытым дверям, окинула пространство одним взглядом: чемодан, узлы, беспорядок нежилого дома.

— Ну шо, однисинька тут? — спросила совсем другим, не праздничным голосом.

— Ага.

— Ну ничего. Ничого. Якось будэ.

Елена Фанайлова

По канве Сергея Жадана «Огнестрельные и ножевые»

Велосипеды

Велосипедный завод Лейтнера был перевезен из Риги в Харьков в 1915-м, когда возникла угроза сдачи города немцам. Затем, после Гражданской, на его базе создан был Харьковский велосипедный, который и штамповал свои машины с удивительными хромированными деталями.

Уже в начале двадцатых при мастерских завода была создана футбольная команда, которой занимались братья Межлауки — грозные красные комиссары, родившиеся в Харькове, возвращённые террором, и им же таки позднее затоптанные в чёрный снег тридцатых.

Для чего я всё это вспоминаю?

Всё, что восстанавливается из руин, всё, что начинается из ничего, пустота, что превращается в руках слесарей и механиков в машины и станки, всё это вложено в нашу жизнь, как вера в тексты псалмов.

Те рабочие, которые выходили утром на смену и которые выбегали вечером на твёрдый, выжженный грунт стадионов, играли солнцами и тенями, разламывали время, как горячий хлеб, зная, что всё в этой жизни начинается впервые, и будущее создаётся обычно в цехах и на футбольных площадках.

«Мы всё начнём сначала, — говорили они, вступая в мартовскую прогорклость пустого цеха. — Ничего до нас, ничего, чего б мы не знали. Мир начинается с утренних паровозных гудков. Движение истории согласуется восьмичасовым рабочим днём. Все наши победы начинаются

с вытоптанных газонов. И никто не отнимет у нас эту странную пророческую уверенность, эту головокружительную ярость, которой мы встречаем наших соперников».

Океаны и подводные растения, наросты серебра в чёрной породе, твёрдость деревьев и волокна внутри тростника — всё только начинается, как только они выбегают из раздевалки. И солнце останавливается в тёмных туннелях трибун, и тени наркомов стоят за спиной, как тени архангелов. Революция всегда оставляет шанс тем, кто готовы в него вцепиться зубами, рвать прогнившую обшивку этого механического мира, выгрызая дымящуюся сердцевину старой истории, ничего не ожидая для себя в будущем, ничего не оставляя после себя в прошлом.

Депо

И звёзды, пролетая над ним,
шептали: «Арон Барон,
ох, Арон Барон,
неси свою правду,
пока снег замечает перрон».

И Арон Барон, пекарь,
опытный революционер,
который вёл за собой в Чикаго
толпы анархистов,
приезжает под Рождество,
будто апостол Павел,
в харьковские железнодорожные
мастерские, в депо.
В кожухе, накрытый мешками и кожами,
на почтовых санях,
привозит чёрную свою
пропаганду,
рассказывает железнодорожникам о братьях,
что пали в восстаниях.

Арон Барон,
в синей рабочей блузе,
с зелёным дымом в бороде,
призывает путейцев и машинистов
держаться вместе
в работе
и борьбе.
Пишет в посланиях:
«Железная дорога проложена там,
где Господь провёл своим
жёлтым ногтем
по густому ландшафту,
это он открывал ворота наших заводов,
он заполнял мужеством наши лёгкие,
как углём шахту.

Нет ничего, чего бы
нельзя было перевезти в наших вагонах.
Нет ничего в прошлом,
за что нам нужно держаться.
Всё, что нам остаётся, — вера,
которую мы вынесем с собой,
когда за нами займутся реки
и падут небеса.

Наше небо,
которое зажигается и гаснет,
наши ежедневные хлопоты,
наша связь с влажным золотом солнца,
наши семьи и умершие родители —
рождаясь и изучая в небе звёзды,
засыпая под шёпот
акаций,
мы строим нашу жизнь,
как невиданный дирижабль,
что плывёт над полотном
железной дороги,
зажигая зрочки
сыновей,
что стоят на перронах
рождественских станций,
полные уверенности
и победы».

Ах, Арон Барон,
чёрный апостол язычников,
тёплые уставшие паровозы
загоняются ими
с вечерних полей
в пропахшие весной депо,
будто скот,
и железнодорожники собираются,
как пастухи, вокруг костров,
и трудно молчат,
разбирая типографские
шрифты его речи:

«Нет страха в отказе
от тяжёлых камней, которые нам
вкладывали в карманы школьных пиджаков,
нет утешения в привязанности
к прошлому. Что может объединить
металлургов и горняков?
Что может держать, кроме корней?

Вера была
создана железнодорожниками,
потому она требует
пространства и терпения».

Арон Барон,
ох, Арон Барон, глубокая тишина

всегда залегает после утренних расстрелов,
революция, как саламандра,
рождается из огня,
революция пожирает младенцев
в рождественском Вифлееме,
революция сжигает в паровозных топках
своих святых апостолов.

И только звёзды
летают над нами в грусти и тревоге.
И только реки
обходят нас и движут плотины,
не в состоянии
оставить нам
хоть что-то,
не в состоянии
хоть что-то
у нас отобрать.

Конец октября-3

Так долго в дороге,
что потерянные между щелей в палубе яблоневого
семена приживаются во влаге и пыли.
Дорога — это время, потраченное нами на понимание
своей потерянности. Деревья вырастают
на кораблях, что движутся реками.
И вот осенью корабли
погружаются в ил и стоят
среди воды и темноты.

Что ты знаешь о деревьях? Деревья пускают корни
в трюмах и машинных отделениях,
добираются до сумеречных глубин
и тех уголков, где спрятано
сухое зерно и запасы питьевой воды.

Что им теперь делать
на кораблях, которые медленно идут ко дну,
отягощённые листьями и ветками?
Когда будешь думать о деревьях,
думай про всех, кого ты видела в своей жизни,
про длинные корни, которые связывают
нас с жизнью. Когда будешь думать
о зелёных яблоках,
думай также о многих, кто работал
на этой реке, пытаясь хотя бы на миг
сдержать её течение.

Конец октября.
Женщины идут с берега.
Ветер полощет тяжёлые полотенца,
как флаги победителей.

Земля нагревается и остывает.
И ты нагреваешься и остываешь
вместе с ней.

Полковые барабаны

Сколько прошло времени,
сколько всего случилось,
а они опять появляются на улицах города,
из которого их выбивали десять-пятнадцать
лет назад, из которого вывозили их
тела в тёплых кожанках, что
дымились кровью и порохом.

Опять держатся тротуаров
и перекрёстков — подростки в кроссовках
и остроносых ботинках, перекрикиваются
по своим телефонам, выкрикивают проклятия
в адрес дьявола, который ведёт их
за собой вперёд
до смерти
и забвения.

История — игральный аппарат,
всегда заряженный для тебя
чьими-то руками.
Ничего не случается по недосмотру,
всё возвращается на свои места.
Страна, что пробуксовывает в жёлтых
снегах депрессии, требует новой крови,
поэтому безымянные агитаторы
снова вербуют в спальных районах
и в трамваях этих юных боевиков,
завтрашних генералов,
готовых приступить к большому переделу,
готовых сражаться за границы,
готовить погромы
в офисах и на автомойках.

Не оставляй меня, отчизна,
не уезжай вслед за звёздами,
оставайся со мной в сумеречных парках
с железными коробками игровых автоматов,
которые кто-то зарядил чёрными
сердцами подростков.
Если и ты оставишь меня,
хватит ли мне уверенности
бить в полковые барабаны,
отправлять их письма,
заниматься корреспонденцией
с дьяволом.

Попробуем ещё раз:
время возвращается на старые квартиры
и не находит там наших следов.

Дети всё такие же отважные
в своём нежелании сдаваться без боя,
поэтому шагают за барабанщиками,
в своих кроссовках, специально созданных
для того, чтобы переходить
в наступление.

Не оставляй нас, надежда,
той поздней золотой порой,
когда мы будем делить добычу,
с отчаянием уничтожая
запасы любви
на военных складах отечества.

Всеволод Бенигсен

«На трибунах становится тише»

фрагмент повести

— Доброе утро, Михаил Викторович.

Голос доносился издалека и в то же время был как будто совсем рядом. Садовников оторвал от обслюнявленной подушки тяжелую похмельную голову и, не открывая глаз, кивнул. Вышло так, как будто он поздоровался с подушкой.

— Да.

— Что «да»? — усмехнулся все тот же голос.

Садовников подумал, что отвечать не будет, пока не определит местонахождения собеседника. Но для начала надо было определить местонахождение собственного тела. Он медленно разлепил веки и, прошуршав небритой щекой по подушке, повернул голову. Мебель, ободранные обои, гитара без трех струн (чертов Ломакин — обещал же струны купить!), пыльные тюлевые занавески (однажды Садовников нашел в них мертвого таракана — бедняга, видимо, задохнулся), книжный шкаф без стекол...

Нет, все не так плохо — он явно находился в своей квартире. Вот только рядом с кроватью кто-то сидел. Картинка была мутной, как в севшей трубке телевизора. После бесплодных попыток «навести фокус» Садовников сдался и уткнулся обратно в подушку. В повисшей паузе ему показалось, что он слышит чье-то насвистывание. Кажется, это был вальс Штрауса.

— Вы меня слышите? — спросил все тот же голос.

Садовников хотел что-то ответить, но не было ни сил, ни мыслей. Только невероятная тяжесть в голове — словно ему вчера вскрыли череп, залили туда расплавленный свинец, а после плотно запаляли.

— Вы помните, что делали вчера? — терпеливо продолжил голос.

— Видимо, забыл запереть входную дверь, — сострил Садовников.

— Смешно, — безэмоционально сказал голос. — Рад, что чувство юмора вас не покинуло. В отличие от чувства собственного достоинства.

— Это вы... тоже неплохо, — великодушно оценил шутку Садовников.

— Значит, не помните, как устроили вчера пьяный дебош в кафе «Ласточка», ударили официанта подносом по голове, а после потребовали соблюдения Женевской конвенции о защите жертв войны?

— Я? — искренне удивился Садовников, по-прежнему обращаясь к подушке, не в силах поднять свое опухшее от многодневной пьянки лицо. — А от кого потребовал? От официанта?!

— Видимо, да. Раз предварительно ударили его по голове.

— А зачем?

— Что «зачем»? Зачем ударили или зачем потребовали?

— Оба, — безграмотно отрезал Садовников.

— Ударили, потому что официант отказался признать писателя Стаценко гением. А почему требовали, не знаю.

— А при чем тут конвенция о жертвах войны?

— Вы меня спрашиваете? Ну, видимо, вы считаете себя жертвой какой-то войны.

— А Стаценко?

— Что Стаценко?

— Стаценко где?

— Наверное, отсыпается после вчерашнего.

— Ммм... — промычал Садовников.

Гость выждал пару секунд, но за мычанием ничего не последовало. Видимо, в сей неопределенный звук Садовников вложил все, что хотел сказать.

— Послушайте, Михаил Викторович, вы в состоянии воспринимать информацию?

Садовников чмокнул пару раз губами, пытаясь размять язык, который разварившимся пельменем катался по полости рта, не желая работать.

— Почему же не в состоянии? В состоянии... Только... простите за бестактный вопрос... а вы вообще кто?

— Мое имя вам ничего не скажет. Считайте, что я тот, кто желает вам добра.

— Всею желая зла?

— Перестаньте ерничать, Михаил Викторович. У вас не то положение.

— Насчет положения это точно, — согласился беспомощно лежащий Садовников и подумал, что с похмелья у него неплохо получается острить.

— Вы в курсе, что ваша жена подала на развод?

— Лиза?! — удивился Садовников. — А чего это она?

— А того это она, — неожиданно грубо отрезал голос.

Новость не то чтобы сильно потрясла Садовникова — уход жены был вопросом времени, но все-таки было обидно.

— Это что же... она к этому Шпицбергену ушла?

— Швейцбергу, — поправил голос.

— А вы откуда знаете? — раздраженно буркнул Садовников. — И почему это я узнаю от вас, а не от нее?

— Потому что, кроме нас, с вами никто и общаться уже не хочет. Да и мы, знаете ли, желанием не горим. Должен сказать, что вы, Михаил Викторович, у нас вот где уже.

Садовников хотел повернуть голову, чтобы посмотреть, где именно, но сил по-прежнему не было, и он только спросил, продолжая вести диалог с собственной подушкой:

— У кого это «у вас»?

— У советского народа.

— Всего? — почему-то удивился Садовников, как будто не мог поверить в такое единодушное мнение относительно своей многогранной персоны.

— Всего, — устало заверил голос.

— А чем я ему так насолил?

— Народу? Своим антиобщественным, антисоциальным и аморальным поведением. Своим тунеядством и нравственным разложением. В общем, всем тем, что привело вас туда, куда привело.

— В мою квартиру?

— Не смешно, Садовников.

Неожиданное обращение по фамилии было дурным знаком. Хуже могла быть только фамилия с приставкой «гражданин».

«Кажется, я влип, — подумал Садовников, стремительно просыпаясь. — Вопрос только, кто именно ко мне пожаловал: КГБ или милиция?»

Ответ на последний вопрос он получил незамедлительно.

— Значит, так, — продолжил голос. — Насколько я знаю, вы хотели уехать на Запад. Так вот, мы решили частично удовлетворить вашу просьбу.

— Частично — это как? Я не совсем «уюду» или не совсем «на Запад»? Или не совсем «я»?

Последний пассаж показался Садовникову верхом остроумия, и он внутренне хихикнул.

— Не совсем на Запад.

— На Восток, что ли? — опешил Садовников и вдруг окончательно проснулся, содрогнувшись от ужасной догадки: — На Север?!

— На Юго-Восток, — успокоил его голос и добавил так же безэмоционально: — В рязанскую психлечебницу.

Садовников резко приподнялся на локте и разлепил веки. «Мефистофель» наконец материализовался и обрел человеческие черты — это был мужчина лет сорока, в унылой рубашке невнятно-темного цвета и с галстуком такого же невнятного цвета.

— А что я там буду делать?

— Отдыхать от трудов праведных, — съязвил мужчина. — От несправедливых трудов отдыхают в других учреждениях. Вы знаете, какое сегодня число?

— Июль, — на всякий случай уклончиво ответил Садовников — вдруг в вопросе содержится подвох, по которому можно определить, болен ли он психически, а стало быть, точно заслуживает отправки в дурдом.

— Десятое июля, — уточнил мужчина. — А девятнадцатого июля в Москве начинается Олимпиада. Если вы не в курсе. Принято решение выслать за 101-й километр всех, состоящих на учете в психдиспансерах, девиц легкого поведения, а также прочие сомнительные асоциальные элементы.

— Надеюсь, я отношусь к последним?

На этот раз шутка была действительно неудачной, и «Мефистофель» пропустил ее мимо ушей.

— Могу вас успокоить — никто из вас политзаключенного делать не собирается. Вас просто изолируют на время. До третьего августа. Потом можете вернуться в свою квартиру. Это, однако, не означает, что вы и дальше можете дебоширить, тунеядствовать и якшаться с сомнительными личностями. Вы — не такая крупная фигура в литературе, чтобы вас высылать за рубеж. Будете продолжать себя вести, как ведете, отправитесь не на Юго-Восток, а, как вы метко заметили, на Север. А теперь вставайте и собирайтесь. Можете взять с собой нужные вам личные вещи, книги, одежду и что там вам еще необходимо. Паспорт не забудьте.

— Крупность писателя определяет время, — с некоторым опозданием обиженно заявил Садовников, пропустив мимо ушей все остальное.

— Как вы мне все надоели, — сквозь зубы процедил «Мефистофель». — Ну, что лежите? Вставайте. Товарищ Лебедев вас сопроводит.

— Какой еще...?

Садовников осекся, только сейчас поняв, что вальс Штрауса ему не померещился — из кухни вышел высокий мужчина в таком же сером костюме, как и у «Мефистофеля». Это, видимо, и был товарищ Лебедев. Судя по белому пятну над верхней губой, на кухне он пил садовниковский кефир. Кефира было не жалко, но сам факт бесцеремонного потребления чужих продуктов покориб Садов-

никова. Мужчина перестал свистеть и посмотрел на Садовникова немигающим и равнодушным взглядом.

— Ну, что лежим, Михаил Викторович? Собираемся, собираемся.

— Всего хорошего, — тихо сказал «Мефистофель» и поднялся.

Садовников проследил одним глазом, как тот пружинистой походкой покидает комнату. После чего повернулся к Лебедеву.

— Простите, а у вас нечем похмелиться?

Фамильярность вопроса явно задела оставшегося гэбиста — тот переменился в лице и сразу съехал на «ты».

— В дурдоме опохмелишься.

— Конечно, — быстро согласился Садовников.

Руслан Киреев

«Я была вам хорошим товарищем»

После публикации в «Знамени» и выхода отдельным изданием мемуарного романа «Пятьдесят лет в раю» работа над ним продолжилась, поскольку продолжилась жизнь. Вот новый фрагмент.

Ее фамилия была мне, конечно, известна давно — по отцу ее, чьи книги я хорошо знал, но никогда его не видел. И вот в самом начале девяностых она, эта короткая, как хлопок, фамилия, прозвучала в Литинституте, но уже применительно не к отцу, а к дочери, стихи которой я тоже знал (правда, не столь хорошо, как прозу ее папы) и которую тоже никогда не видел.

Слетела она с уст Чупринина, — Сергей Иванович вел вместе с другим критиком — Александром Алексеевичем Михайловым — семинар поэзии. Теперь Михайлова избрали руководителем Московской писательской организации, он уходил, и нужно было найти кого-то на его место. Тогда-то Чупринин, в ответ на мой вопрос, и предложил Татьяну Александровну Бек. Он так и произнес — раздельно, внятно и веско: Татьяна Александровна Бек, после чего замолчал, внимательно глядя на меня сквозь очки в тяжелой оправе. «Пошли к ректору», — сказал я.

Ректором тогда был Евгений Юрьевич Сидоров, и вот уж он-то, в отличие от меня, знал Татьяну отлично. Я понял это по его реакции. Он не раздумывал ни секунды. С энтузиазмом, радостно и светло, даже, по-моему, слегка привстав от возбуждения, одобрил предложенную Чуприниным кандидатуру.

На другой день Бек появилась в институте, и уже скоро я убедился, что Сергей Иванович попал в десятку. На семинаре у них я побывал раз или два, не больше, но ведь она работала со своими детьми, которые ее боготворили, не только на семинаре, не только «по расписанию», а всегда и везде. Это, действительно, были ее дети (собственных судьба не дала: «Мои нерожденные дети зовут меня из темноты», — вырвалось у нее в одном из стихотворений), а раз дети, свои дети, то слово *работала* не годится здесь. Она не работала с ними, она с ними жила. Она *ими* жила. Не только ими, конечно, — в ее жизни было много разного, во что она самозабвенно и радостно, без тени самопожертвования, вкладывала всю себя, — но ими тоже. Они могли позвонить ей в любое время дня и ночи, они шли к ней со всеми своими проблемами — соруководитель семинара, важного вида которого студенты побаивались, называл ее с добродушной улыбкой «наседкой». Потом я привык к ее беспрестанным хлопотам, но помню, как удивился, застав ее летом, в полуденную жару, в скверике института — в темных очках, в белой пляжной шляпе и в цветастом, почти курортном платье. Что

она делает здесь? Занятий нет, идут вступительные экзамены по академическим дисциплинам — их проводят другие кафедры, а ей как набирающей семинар надо быть лишь на заключительном собеседовании. (Читка конкурсных работ, этюд — все это осталось позади.) Словом, сейчас она совершенно свободна, а нынче такая погодка... «Ужасно переживаю за них!» — перебила меня Бек чуть ли не со слезами на глазах. И я понял, что действительно переживает. Вот и ходит на все экзамены... Вот и читает все письменные работы...

Я была вам хорошим товарищем.
Вы, надеюсь, заметили это?

Так написала она однажды, обращаясь отнюдь не к студентам, но студенты еще как заметили! И студенты, и участники ее мастер-класса в Липках — там они не отставали от нее ни на шаг. Даже ели вместе, сдвинув столы, а если она отправлялась в бассейн, то вскоре вокруг нее, крупной, ладной, спортивного сложения (не зря занималась в молодости баскетболом), собирались все ее подопечные. От нее веяло здоровьем — и физическим, и духовным, но откуда вдруг в строках, которые я только что привел, прошедшее время? «Вспоминайте с улыбкой — не с мукою», — закликает она, словно боясь, что ее, такую большую и сильную, пожалеют. Не сейчас — сейчас, пока жива, — не позволит, а вот потом, потом, когда ее не станет на свете...

Она думала об этом часто и напряженно — не говорила, но думала, это видно по ее стихам, где никак не спрячешься. Да и не из тех была она, кто прячется, особенно в стихах.

Все кончается! С каждой кончиной
Жизнь уходит, пощады не зная.

Но, просила в другом стихотворении: «Оплакивать не надо...».

Мы не были с нею друзьями — просто коллегами, возможно, товарищами, уж она-то точно и, само собой, «хорошим товарищем»; я понял это как раз в 1999 году в Тарханах, где мы провели вместе четыре дня на лермонтовских торжествах, которые ежегодно отмечают здесь в начале июля. Четыре — правда, неполных — дня среди других писателей, музейных работников, публики и две ночи — совершенно одни. Вдвоем. В фирменном поезде «Сура», в вагоне «СВ» — организаторы праздника не поскупились. И почти все эти две ночи мы проговорили.

Она выказала себя оптимистом — убеждала меня, что дождя в нынешнем году не будет. Дело в том, что в течение многих лет в самый разгар лермонтовского праздника Тарханы поливало как из ведра. «Это неспроста, — убеждала меня Таня. — Это гора Машук напоминает о себе. Помните, какая погода была во время дуэли?» И на память процитировала то место из воспоминаний секунданта Лермонтова князя Васильчикова, где он пишет, как «черная туча... разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу». И вот, стало быть, гора напоминает... Кажется, она всерьез верила в подобные вещи, верила в гадание по ладони и в гороскопы. «А вы небось нет?» — с веселым поддразнивающим любопытством осведомилась она, и я покался: нет. О другой вере, большой, о которой в таком тоне говорить не принято, она не обмолвилась ни словом, угадав, видимо, своим чутким и сострадательным сердцем (не зря крестилась, на пороге сорокалетия, у Александра Меня), что я такой верой обделен.

Уже светало, когда она заговорила о гороскопах, затихший поезд стоял на каком-то полустанке, в приспущенное окно доносилось пенье птиц. Но это для меня — просто птиц, а моя соседка по купе, замолчав и прислушавшись, без труда определила, каких именно. Горожанка, коренная москвичка, она отлично разбиралась в этом.

Итак, черная туча, страшная гроза, и вот спустя полтора века неистовая стихия обрушивается на Тарханы, с корнем выворотив дуб, который, по преданию, посадил Лермонтов. С тех-то пор, как только в день памяти поэта съезжаются к нему гости, гора Машук напоминает о себе.

Но в то утро пензенская земля встретила нас отличной погодой. Вечером был банкет, который закончился — не помню как, зато хорошо помню, что утром Татьяна Александровна украдкой протянула мне бутылку холодного пива. Я даже растерялся слегка. «Берите, берите, — подбодрила она меня. — Со мной тоже случалось». А в глазах — озорные искорки. Она всегда была готова к смеху (к слезам, впрочем, тоже), любила острое словцо и великолепно чувствовала иронию. Не зря дипломную работу в университете писала по Александру Архангельскому, классику пародии.

«Видите, — сказала она, когда я, открыв бутылку, сделал несколько благоговейных глотков. — Я оказалась права». И показала глазами из-под челки на небо — ярко-синее, без единого облачка. Однако часа через два, когда на поляне у дома, где поэт провел детство, собрались тысячи людей, набежали, откуда ни возьмись, тучи, и над головами собравшихся распустились разноцветные зонтики. Народ знал традицию, и народ был припаслив...

Не сбылось и еще одно ее предсказание. «Я буду честная старуха», — написала она однажды, но до старости не дожила. Умерла — внезапно, при так до конца и не выясненных обстоятельствах — пятидесяти пяти лет от роду.

Прощание состоялось в траурном зале Боткинской больницы. Проникновенней всех говорила Белла Ахмадулина. Срывающимся голосом, хотя глаза были совершенно сухими, но даже на расстоянии чувствовалось, как воспаленно горячи они.

Казалось, лежащая в гробу женщина в платке внимательно слушает ее. «Бдим!» Это было последнее слово ее последнего эссе, написанного за три дня до смерти.

Мария Рыбакова

Врата Осириса

В городе N. со мной произошел странный случай. После одной маленькой неприятности (кому угодно она показалась бы пустяковой) я три дня боялась выйти из дома. Мне казалось, что на улице меня ждет что-то ужасное, чего я не могла ни назвать, ни представить себе, ни даже полностью поверить, что опасность была настоящей. Тем не менее у меня не получалось пересилить этот парализующий страх и покинуть квартиру.

Когда, наконец, приступ ужаса прошел и я смогла выйти на улицу, я решила: проблема в том, что у меня слишком много времени. Если занять все свободные от работы часы так плотно, чтобы воображаемые страхи не могли просочиться, то, скорее всего, мне больше не придется столь нелепым образом просидеть дома три дня. Я поставила себе целью найти мужчину и заняться волонтерством на выходных — на кухне для бездомных или в клубе для инвалидов (и главное — не оставаться наедине сама с собой).

Оба желания исполнились в один день, совпав и оставив после себя запутанные следы, как если бы провидение специально объединило их. Но я знаю, что совпадение было случайностью; и то, что оба намерения продлились всего один день, говорит только о моей неспособности совершить что-то солидное и достойное уважения.

Я не верю, что инопланетяне построили египетские пирамиды. Марк верил (когда я покупала у него мороженое, он спросил, видела ли я передачу по телевизору про пирамиды и пришельцев). Марк не взял с меня денег за порцию клубничного и дал мне карточку с номером своего телефона, когда я уходила из его кафе. Наш разговор об инопланетянах послужил предлогом, чтобы позвонить ему на следующий день и предложить одолжить книжку археолога, который доказывал, что египтяне сами построили свои пирамиды с помощью канатов и деревянных повозок, похожих на сани. Марк обрадовался. У него был выходной. Он предложил пойти на море.

Марк мне понравился, потому что он был похож на быка (гораздо больше, чем на человека), с его большой головой, толстой шеей и широкими плечами. Но если бы я знала, что мне придется прождать его сорок минут в душной забегаловке, где мы договорились встретиться, и что на мои звонки по мобильному он будет отвечать сообщениями «Иду!», «Уже вышел!», «Буду через десять минут» и, в конце концов, предложением встретить его «у кромки моря, напротив третьей скамейки справа от причала», я бы осталась дома. Но я уже приехала (сначала на автобусе до старого города, потом на другом автобусе до пляжа), и потому, прождав почти час в кафе, я с облегчением вышла и пошла на пляж навстречу Марку.

Когда я подошла и сняла одежду, он перевернулся на живот, чтобы я не заметила эрекцию. Он был в забавных облегающих плавках, каких здесь никто не носит. Я предложила натереть ему спину кремом от загара. У меня есть время только до пяти, сказала я, потому что после пяти я пойду навещать кого-то, кто скоро умрет.

За две недели до этого я записалась в группу добровольцев при клинике для умирающих. Добровольцы должны были сидеть с пациентами, беседовать или держать их за руку, если у них не было родственников или если родственники хотели отдохнуть. Чтобы тебе дали посидеть с умирающим, надо было окончить двухдневные курсы для волонтеров. Курсы начинались в половине восьмого утра, и я полностью просыпалась только уже по дороге в клинику, когда шла мимо оврага с сухими кустами. Тропинка, выложенная цветными плитками, вела мимо клумбы к стеклянным дверям, а те, в свою очередь, открывались в коридор с мохнатым, поглощавшим звук шагов ковром; коридор вел в актовЫй зал, и в актовом зале, где проходили наши занятия, стояли парты, стулья и столик с кофе и печеньем.

Сотрудники клиники рассказывали нам про пять стадий умирания (отказ верить, гнев, торг, печаль, принятие) и про то, как лучше слушать людей (кивать головой, повторять их слова, не зевать, не закатывать глаза). Нам объяснили, что, поскольку мы добровольцы начинающие, то нам не дадут быть с пациентами в самый момент их смерти. Это разочаровывало. Более того, мы будем посещать их не в клинике, а на дому (сказали нам), потому что большая часть пациентов состоит на учете для домашних визитов. Через несколько дней после курса мне позвонили из клиники и предложили посидеть три часа с домашним пациентом в моем районе. Я согласилась, не зная, что день моего волонтерства совпадет со свиданием на пляже.

Обняв бычью шею на горячем песке, я подумала было позвонить в клинику и сказатьсЯ больной, чтобы не уходить с пляжа. Но потом я решила этого не делать, потому что я уже больше недели ждала встречи с умирающим, и кто знал, когда мне в следующий раз могла представиться такая возможность. Марк проводил меня до остановки и спросил, не захочу ли я после добровольного визита сходить с ним в бар. Он пообещал, что его любимый бар мне понравится. Там бывают только очень счастливые люди, сказал он.

Три раза в детстве я говорила с отцом о смерти, и каждый раз мне приходилось чувствовать стыд за собственную глупость. Однажды мы говорили о самоубийстве. Я сказала, что нужно быть дураком, чтобы покончить с собой. Отец возразил, что бывают ситуации, в которых смерть предпочтительнее жизни, и что если мой ум не созрел до понимания сложных вещей, то мне лучше помолчать, вместо того чтобы обзывать людей дураками. В другой раз я, начитавшись пересказов Библии, заявила, что ни один человек в своем уме не предпочтет атеизм религии, потому что вера в загробную жизнь все же лучше, чем отсутствие всякой надежды. Отец сказал, что можно прожить жизнь и без веры в загробный мир, прожить ее как трагедию. Может быть, он даже сказал «высокую трагедию»; в его словах жизнь без веры выглядела как-то красивее и благороднее, чем жизнь верующих. А третий разговор? Третьего разговора не было: его последним высказыванием была его собственная смерть. Мертвое лицо было настолько неузнаваемо, что казалось, что хоронят другого, и много лет потом он снился мне живым и обиженным на то, что я, ошибочно решив, что он умер, все никак ему не позвоню (и во сне меня снова охватывал стыд за мою глупость).

Человек, впустивший меня в квартиру умирающего, кружился на стройных ногах танцора по комнате и кричал: папа, девушка здесь! Потом смутился, оттого что забыл мое имя (люди часто забывают, как меня зовут). Ему было лет шестьдесят: в этот вечер он уходил на бальные танцы и обратился в клинику, чтобы кто-нибудь посидел с его столетним родителем. Старик выехал на инвалидном кресле и широко улыбнулся, а сын продолжал: папа плохо видит и плохо слышит, так что приходится кричать, но соображает лучше молодых, правда, папа? Старик кивал, не переставая улыбаться.

Когда сын ушел, старик рассказал мне, что служил в армии, побывал во множестве стран, был два раза влюблен: один раз в покойную жену, другой раз — три года назад (увы, без взаимности!) в соседку. Сказал, что пишет философский труд о смысле жизни и спросил, хочу ли я послушать. Конечно, я согласилась. На инвалидном кресле он отправился в другую комнату и вернулся с кипой листков. Я заметила, что он печатал на машинке, не на компьютере, и подумала, что он, может быть, последний человек в этом городе, который еще печатает на машинке. Старик улыбнулся мне опять (во взгляде проскользнуло что-то хитрое) и, откашлявшись, начал читать. Поднося бумагу очень близко к толстым линзам очков, он читал мне о том, что, «снедаемый вселенским одиночеством», человек начинает отчаянно искать смысла в этой самой вселенной. И чем больше человек понимает мир, тем больше он его любит. Любить — значит понимать, понимать — значит любить. Я спросила, можно ли мне записать эти слова на память. Он согласился. Ему было приятно. Мы пили чай, я рассказывала ему о себе (неправду), он кивал.

Потом он извинился и сказал, что пойдет подремлет в соседней комнате. Оставшись одна, когда его кресло исчезло за дверью, я перечитала слова, которые мне так понравились полчаса тому назад, и подумала, что в логической цепи не хватает звена: а именно почему понимание обязательно должно вести к любви. Почему к любви, а не, например, к равнодушию?

Обещанный бар был больше похож на притон (мужчины с татуировками, женщины с золотыми зубами, хриплый смех, взгляды исподлобья). Я рассказала Марку, как прошла моя встреча с умирающим, который оказался совсем не умирающим, а бодрым стариком, хотя и в инвалидном кресле. Восхищаюсь твоим благородством, сказал Марк. Я не из благородства, я из любопытства. А еще пойдешь? Если попросят (но на самом деле мне уже не хотелось сидеть с умирающими, мне хотелось кататься с Марком в белой машине по ночному городу, ходить в бар, целоваться).

Я обыграла его в бильярд. Он купил мне джин-тоник, и я рассказала ему про день, когда поняла, что никогда больше не буду счастлива. Я сидела в парке под самым старым деревом в городе, с детективом в одной руке и бутербродом в другой, в ветвях гукал голубь, и туристы фотографировали друг друга у дерева; и я, отложив книгу и бутерброд, поняла, что жизнь никогда не станет лучше, и что, если я не счастлива сейчас (а я чувствовала себя несчастной), я никогда уже не стану счастливее. Марк сказал, что это, наверное, был просто временный приступ тоски и что в жизни будет еще много радостных моментов; да, в жизни будет много радостных моментов, согласилась я.

Мы подъехали к моему дому часа в три ночи. Я сказала: смотри, заря занимается. Нет, это не заря, это просто очень много огней в центре города, поэтому отсюда кажется, будто там встает солнце, объяснил Марк и украдкой взглянул на сообщение, пришедшее ему на телефон. Я подумала, что ему хочется, чтобы я побыстрее вышла из машины; что он торопится еще куда-то, где меня не ждут. Но, может быть, мне просто показалось.

Вскоре клиника для умирающих закрылась, обанкротившись (страховая компания обязала ее выплатить деньги, потраченные на тех, кто числился умирающими, но десятилетиями все не умирал и не умирал). Всплыла какая-то нехорошая история с подделкой документов, хотя непонятно было, кто от этого обогатился.

Через пару лет я проходила мимо здания, где проходили наши курсы.

Окна были наглухо забиты, но синие и желтые цветы на аккуратной клумбе по-прежнему цвели, и керамические плитки на тропе блестели, и тяжелый замок на воротах ограды казался новым: на нем не было ржавчины.

Когда Марк в ту ночь уехал, а я поднялась к себе, я подумала, что полюбила его (его бычьей шеей, широкие плечи, толстые пальцы, сжимавшие руль, его манеру говорить, растягивая слова, его нелепые плавки, его красный свитер, бар, в который он любит ходить, кафе-мороженое — плод его предприимчивости). На следующее утро я проснулась, протрезвев от этой любви, как просыпаются после похмелья. Марк был смешным, обычным. Мы встречались еще несколько раз, он оставался обычным, и я была обычной в его глазах, и мы скоро забыли друг друга.

Но я помню, как играли в бильярд, и как пили джин-тоник, и как утром на пляже мне не хотелось уходить к умирающему, и как ночью я думала о Марке и любила каждую клетку его тела, каждое слово, слетевшее с его губ. Что это было? Внезапное проникновение в суть вещей, понимание, приведшее к любви (если верить старику)? Или, может быть, просто страх смерти, заставляющий мысль цепляться за все, что еще не успело исчезнуть: узор на ковре, керамическую плитку, белый шрам на груди у мужчины, зарю электрического света на горизонте.

Людмила Улицкая

Семейная сага

фрагмент

Отрывок из нового романа, которым я занята уже три года. Но из работы постоянно выталкивают какие-то события. Последнее — смерть моей подруги Натальи Горбаневской. Бросила я тогда все свои дела и собрала книгу ее памяти «Поэтка. Книга памяти Натальи Горбаневской». Презентация этой книги по небесному стечению обстоятельств произошла в годовщину ее смерти, 28 ноября 2014 года. Я счастлива, что все так сложилось, и у меня была возможность, складывая эту книгу, полгода вспоминать Наташу, читать ее стихи, письма ее друзей, и, в конце концов, я поняла, что она была очень неудобным для окружающих человеком, по крайней мере, в молодости, но, кажется, она и была праведником.

Словом, я снова вернулась к моему роману. Думаю, что еще много времени пройдет, прежде чем я его закончу. Вот фрагмент.

ГЛАВА 5. НОВЫЙ ПРОЕКТ (1974)

Из Внукова Нора приехала к Мзии и две недели провалялась на втором этаже, в постели, где пахло Тенгизом. Дней десять ужасно болели кости, потом перестали. Мзия приносила ей по утрам чай, Нора делала вид, что еще спит, и та ставила на столик с нардовой наборной столешницей чашку и уходила, притворив дверь. Почти каждый день около двенадцати снизу начинали подниматься гаммы — приходили ученики. Были начинающие, с этюдами Черни, несколько уже бегло играющих, а один мальчик, который приходил дважды в неделю в вечерние часы, играл замечательно, и Мзия с ним занималась подолгу. Он разучивал какую-то сонату Бетховена, но Нора не могла вспомнить какую. Точно не Семнадцатая и не три последние... Музыкальную школу Нора бросила в шестом классе, не доучившись. Способностей больших не было, но память музыкальная — от отца — великолепная.

Инструмент у Мзии звучал хорошо, но был слабенький, тихий... Под музыку было не так больно. Проснувшись, Нора говорила себе — сегодня встать не смогу, может, завтра. Но завтра тоже встать не получалось. Иногда Мзия подходила к двери, звала поесть. На шестой день Нора спустилась вниз. Мзия ничего не говорила, и Нора была ей очень благодарна. Только теперь она разглядела породистое лицо в сетке сухих морщин, как будто наброшенной на лоб, щеки, руки, выкрашенные по-кавказски густой хной волосы, собранные в пучок на макушке, тонкие ноги на тонких каблуках, выстукивающие ритм... Пока здесь был Тенгиз, Нора почти не замечала его молчаливую тетюшку. Даже и затейливую квартиру не рассмотрела как следует. Теперь она сидела внизу, за столом, покрытым винным бархатом, и Мзия поставила перед ней тарелку с двумя бутербродами и порезанное лодочками очищенное яблоко.

— С тех пор как мой муж умер, я ни разу еду не готовила, — извинилась Мзия, и Нора улыбнулась, потому только теперь она все про нее поняла, и догадалась, что они, может, одной породы...

Да я своему мужу вообще ни разу в жизни ничего не приготовила, — подумала Нора. Улыбнулась впервые за эти дни и сказала:

— Простите меня, Мзия, что я тут на вас свалилась.

— Живи, живи, девочка. Я привыкла одна жить. Я давно одна. Но ты мне не мешаешь.

— Я еще несколько дней, хорошо?

Мзия кивнула, и больше они не разговаривали. Ни о чем.

Нора пролежала на Тенгизовых простынях еще несколько дней, и запах его почти улетучился, только иногда подушка вдруг отдавала какую-то тень его тела. И Нору передергивало.

Это просто такая химическая молекула, молекула его пота, — думала Нора. — А у меня такая болезнь, сверхчувствительность к этому запаху. Что за напасть? Почему эти короткие разряды так прожигают, оставляют такой след, такой шрам? А если бы он был обыкновенным любовником, с которым едешь на неделю в Крым, или заводишь роман на гастролях — был же чудный мальчишка в прошлом году в Киеве, — или старый Лукьянов, актер, бабник, любитель деталей и подробностей, почти на двадцать лет старше... — не так бы болело?

Четвертый раз Нора с Тенгизом расставалась, и каждый раз это было все тяжелее.

Она нюхала подушку, но тот запах исчезал, пахло сыростью, пылью, известкой. Засыпала, просыпалась. Снизу поднимались гаммы и голос Мзии: Миша! В терцию! Правая рука начинает с ноты «ми»! Правая начинает с ноты «ми», но на октаву выше! Миша!

Разбегались гаммы, Нора засыпала, просыпалась, снова засыпала. Это плавание между сном и забытием, между болью и облегчением бесконечно, невыносимо, и вообще это безумие, болезнь.

Не могу разлюбить, надо его похоронить! Только придумать как. Чтобы не от длинной болезни, а сразу! Пусть утонет в море или в горах разобьется... А лучше пусть погибнет в автомобильной катастрофе. Нет, мы вместе погибам в автомобильной катастрофе. Два гроба закрытых рядом. Приезжает его жена из Тбилиси, в черном... рыдает моя мама. Приходит Витя со своей безумной Варварой. И Варвара тоже плачет! — и тут она улыбалась, потому что свекровь ее на дух не переносила, и, наверное, на похороны Норины пошла бы как на праздник... Бедные, бедные... оба сумасшедшие... Нет, все глупость ужасная.

И она в полусне то получала телеграмму о смерти Тенгиза, то рвала его паспорт, то несла на помойку его куртку, запихивала ее в мусорный бак — освобождала себя от него. На второй неделе она стала придумывать себе новую жизнь. Уйти из театра — это раз. И что-то совершенно новое придумать — даже не рисование преподавать в кружке пионеров, куда давно звали, а совсем другое. Получить новое образование. Химиком стать или биологом. Или классной портнихой... Нет, с бабьем работать не хотелось. Словом, пока что совершенно правильного дела для себя она не находила. Но одна занятная мысль вдруг запала в голову, и она начала к ней потихоньку привыкать, очень осторожно... И это уж будет точно для себя... Прежде это ей даже в голову не приходило...

Еще через неделю Нора сползла с совершенно опустевшей кровати и пошла прощаться. Мзия поцеловала ее, просила приходить, не забывать. Тетка была потрясающая — ни одним словом о Тенгизе не обмолвилась! Нора оценила.

Из замкнутого двора вышла через Знаменку к Арбатской площади. Все рядом. Шла Нора медленно, потому что — оказалось — сил совсем нет. Миновала Арбатскую площадь, подошла к дому. У подъезда встретила соседку Ольгу Пет-

ракову с коляской. Помогла втащить ее в лифт. Соседка была немолодая, за сорок, у нее была довольно большая девочка, лет пятнадцати, и вот еще образовался новый ребенок.

— Чего так смотришь? Это внучка моя. Наташка наша родила. Ты что, не знала, что ли? Весь дом знает!

Понятно, блядовитая школьница принесла в подоле. В девятом, что ли, классе. Интересно. И я в девятом классе... супермена нашла... Никиту Трегубского. Потому что я была смелая и бесстыжая. И гордая. Но рожать? Аборт бы сделала!

Нора заглянула в коляску — один нос торчал из розовой шапки.

— Хорошенькая! — одобрила Нора приплод. Подтолкнула внутрь лифта коляску. — Поезжай, я пешком.

— Да чего хорошенького? Вылитый отец! Смотри, носешник какой! Армянский! — И, задержав рукой съезжавшиеся двери, закончила: — Там вся семья просто на пупе вертится, что значит, армяне!

Нора поднималась на четвертый этаж и, когда подошла к своей двери, уже твердо знала, что теперь устроит себе такую интересную жизнь, какой прежде не было.

Дверь в квартиру была заперта на оба замка — значит, приезжала мама. Сама Нора обычно запирала только на нижний. Мама с мужем Андреем Ивановичем уже восемь лет жила в Приокском заповеднике, в городе появлялись редко. В кухне на столе лежала записка — Нора, тебе звонила Татьяна Ильинична, Коваленко и Перчихина. Позвони. Мы будем в пятницу вечером, останемся на субботу. Целую. Мама.

Непонятно было только, какая это пятница — прошлая или позапрошлая. И дни недели, и числа совершенно выпали из головы.

Не заходя в свою комнату, полезла в ванну. Долго отмокала. Даже задремала. Тенгиз все пытался прорваться к ней в полусон, напомнить о себе, Нора его гнала прочь. Тогда он подослал Антона Павловича с его сепиевыми сестрами, и это было ошибкой Тенгиза, потому что три сестры, унылые и несчастные, вытаскивали ее в жесткую жизнь без дураков, без сантиментов, с задачами и решениями... И она заторопилась, вылезла из остывающей воды, включила очень горячий душ.

У меня новый проект, — сказала она себе, выпрыгнула из ванны, растерлась махровым халатом, потому что чистое полотенце забыла взять, и почувствовала сильный голод.

Сегодня никак не может быть пятница, скорее, среда. Сейчас побегу в «Кишку» — так называли продовольственный магазин с длинным торговым залом у Никитских Ворот — куплю еды и позвоню Вите. Верный, верный Витася! Шуточный муж, с которым ни дня вместе не прожили. Да и невозможно. Гений, аутист, сумасшедший. Поженились сразу после школы... И никакой любви — один расчет. Вернее, глупая месть. Что кому хотела доказать? Никите Трегубскому... Встретила его лет через пять в кафе «Синяя птица», он подошел, шевеля плечами, спортивной походкой, как будто вчера расстались, как ни в чем не бывало... Боже, какой идиот! Манекен пластмассовый! Чучело мужчины! Во что влюбилась, идиотка? И что с этим поделать? Тенгиз, тоже эта суперменская порода! Гормоны чертовы! Новый проект! Новый проект! Витя, Витася!

Позвонила. Подошла Варвара Васильевна, сразу трубку передала Вите. Разговаривать не стала. Свекровь Нору ненавидела, сильно и глупо. Они все-таки оба сильно не в порядке, и мать, и сын. В разном жанре.

— Приедешь, Витася? Сейчас?

— Приеду...

Может, я плохо придумала? От сумасшедших не рожают. Но ведь он гений математический. Нет, все правильно. Вдруг гения рожу? И тогда это нелепое замужество будет оправдано, осмыслено.

И побежала в «Кишку» покупать сосиски... Мужа кормить.

Олег Павлов

Лекция о литературном мастерстве

Есть много определений того, кто такой писатель. Это не какое-то мифическое существо, писатель есть в каждом из вас. Писательскую органику составляют очень простые вещи.

Писатель — это, во-первых, *воображение*, и оно есть у каждого из вас; *жизненный опыт*, и вы им обладаете, и *острота наблюдений*. Острота наблюдений — самая важная вещь, потому что ею может кто-то не обладать. Из всего этого и делается литература.

Сила впечатлений и переживаний как воображение, жизнь как источник этих впечатлений и переживаний, острота наблюдений как способность видеть и чувствовать именно с такой силой, которая рождает художественный текст. Именно поэтому возникает магия литературы.

Но именно литература облекает бессловесное в слова. Мир — бессловесен, если нет литературы. Есть много такого, что обретает выражение только в словах. Именно литература делает язык способом изображения. Слова — краски, средство изображения. Это ваш инструментарий.

Литературное мастерство — это *умение выражать* свои впечатления в словах. Литература — именно источник впечатлений. С одной стороны, жизнь — источник впечатлений, мы берем их в жизни, но мы и привносим эти впечатления в литературу. Мы все, так или иначе, делимся впечатлениями, присваиваем их.

Одного этого умения недостаточно. Есть другой, более простой и одновременно самый важный вопрос: *как писать, чтобы нас читали?* Идея человека, который что-то написал, состоит в том, чтобы его прочитали. Иначе он бы не стал ничего писать. Мы часто не задумываемся, что пишем не для себя. Нам почему-то кажется, что мы в центре всего этого. На самом деле в центре вопрос: как писать, чтобы нас читали?

Писатель — это не тот, кто пишет, а тот, кто *понимает*, что он пишет. Но прежде всего читатель понимает, что мы пишем. Если он не понимает, он нас не читает. Писатель понимает это точно так же, как понимает читатель, что же он читает. Поэтому важно, чтобы мы понимали читателя. И очень хотели его понять. Речь идет не о попытке угодить его вкусам, не о заигрывании с читателем. Гоголь говорил: не хватайте читателя за юбку как продажную девку. Итак, это вопрос мастерства и понимания.

Каждый пишущий человек должен задать себе вопрос о смысле своей работы, или задает его себе, или уже задавал. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно поставить себя на место читателя, своего читателя. Ошибка — это когда ставят себя на место писателя: я — писатель, и в этой позе застывают.

Какие это вопросы? Это вопросы к самому себе, потому что вы же и есть читатели, вы все про себя понимаете. Обратитесь к своему опыту чтения (а именно любовь к чтению становится любовью к литературе), вспомните в себе читателя, почему вам было интересно читать. Что вы помните, прочитав какие-то книги. Какие литературные герои были вашими любимыми, почему вы их любили. Почему вы, в конце концов, верили тому, что читали.

Все эти вопросы вернутся к вам, как только вы начнете писать, то есть это вопросы читателя к вам. Но, чтобы понять их серьезность, вы должны задать эти вопросы самим себе.

Есть *три закона*, которые обеспечивают связь писателя с читателем. Она незримая, но самая важная. В конечном итоге мы все хотим, чтобы такая связь была.

Первый закон. *Читатель должен поверить тому, что вы пишете.* Если читатель открывает книгу и не верит, он ее не читает. Это может произойти из-за разности жизненных опытов. Например, опытный человек, проживший жизнь, не будет читать книгу, написанную тинейджером. Вы своим опытом должны соответствовать опыту читателя. В таком случае именно он ваш читатель, человек, который соответствует вашему жизненному опыту, который в состоянии его понять.

Другое требование — *верность жизненному материалу*, его изучение, знание и понимание. Если вы пишете то, о чем не знаете, то человек вам не поверит, никогда не поверит. Иными словами, потребность написать о чем-то должна быть потребностью узнать о чем-то.

Еще одно требование — *правда характера*. Это правда поведения человека в определенных жизнью обстоятельствах. Феллини говорил: жизнь точна как аптека. То есть жизнь человека настолько точна, поведение человека настолько точно, что, если изменить этой правде, вам не поверят.

Правда характеров все время присутствует в том, что вы пишете, потому что, когда вы пишете, вы именно это и показываете — поведение человека в разных жизненных обстоятельствах.

Следующее требование — *правда образов*. Это точное выражение языка. Только кажется, что все можно назвать любым словом, что каждое слово имеет двадцать пять синонимов. Если я прочту в рукописи «она покраснела», я скажу, что это ложь, это неточно. Возможно — «она зарделась» или «она покрылась румянцем». Мы ищем самые точные слова, потому что именно слова рождают эти образы. Чем точнее слова связаны с тем, что вы хотите показать, тем сильнее правда образа.

Безусловно, читатель поверит тому, что читает, если это будет достоверным. Достоверным текст делают *детали*, не что-то общее, а что-то отдельное. То, что общее может представить читателю. Общие описания, общие изображения несут только общие и размытые впечатления. А читатель хочет сильных и резких впечатлений. Литература для читателя — источник переживаний и впечатлений. Чем выразительнее вы будете в деталях, тем вы и будете достовернее.

Итог — всего один. Сама жизнь точна в мельчайших деталях. Если художественное произведение не обладает ее же точностью, оно безжизненно, ему никто не поверит.

Второй закон. *Читателю должно быть интересно, что он читает.* Это означает тему и все то, к чему можно применить прилагательное «интересный»: интересная тема, интересный материал или провокация, интрига, новизна или мода, шок. Интерес — это то, что приковывает внимание читателя к тому, что он читает. И тема, и материал, и провокация, так или иначе, существуют в тех классических произведениях, которые привлекали внимание читателя. Это свойство литературы, и оно в ней работает.

Но главное, что всегда будет привлекать читателя, — это все-таки не интрига, не тема, не провокация, не игра с ним. Главное — это конфликт героев и

обстоятельств, как приковывает нас это в кино. Все обнажается и открывается только в конфликте. Если у вас в прозе драматическое начало отсутствует, отсутствует проза. Проза — это *соединение драмы с поэзией*. Драма — это конфликт героев и обстоятельств, а поэзия — это уже слова.

Третий закон. *Читатель не должен забыть того, что он прочитал.* Когда мы считаем, что прочитали книгу, мы помним ее только потому, что в ней есть несколько сцен, которые нам запомнились. Если в тексте нет вещей, которые запоминаются, его забудут. Сюжет запоминается потому, что его можно пересказать. Должны быть события, какая-то интересная история — ее не забудут. Но самое важное — детали. Ощущение, что мы помним роман, связано с какой-то конкретной сценой, с чем-то очевидным. Это какое-то изображение, которое мы не можем забыть.

Обычно оказывается, что мы не можем забыть самое страшное. Речь идет о наших впечатлениях. Мы не можем забыть того, что произвело на нас впечатление. Самое сильное впечатление мы не забудем. Самое сильное впечатление — самое страшное, а самое страшное — самое правдивое. Остается в памяти то, где есть правдивые сцены, правдивое изображение. Если вы создали в том, что написали, хотя бы десять сцен, которые принесут такие впечатления, вы уже заставите читателя запомнить это произведение.

Книга — это история, и относиться к ней нужно как к истории. Отношения с книгой начинаются с *названия*, это первое, что должно привлечь и запомниться. Если с самого начала этого не случится, вы уже проиграли.

Мышление современного времени таково, что читатель читает только первую страницу или даже первое предложение, чтобы оценить книгу. Если первое предложение не заставило его читать следующее, значит, вы проиграли. *Название и начало* — этому уделяется огромное внимание. Возможность «взять читателя за горло сразу» — это первая страница, продуманное художественное начало. Если оно не обладает магией, читатель не будет читать книгу.

Конец должен быть так же продуман. Если читатель дочитал до конца, и запомнит он, скорее всего, конец. Он должен быть как «гвоздь, вбитый в голову». Не забываем при этом, что книга — это история, драматическое действие, которое образуется связью композиции, изображения, содержания. У истории должен быть сильный изобразительный ряд, сильное содержание и сильная композиция. Сборка истории должна быть очень жесткой.

Еще одна важная вещь — *интонация*. Читатель должен чувствовать себя свидетелем, когда читает вашу книгу. Он должен чувствовать себя в центре событий, и тогда он сопереживает. Это чувство ему внушает интонация. Я называю это *дистанцией доверия*. Надо найти такую интонацию, такую дистанцию со своим читателем.

Лучше всего вообще его представить — для кого вы пишете. Или представить себе близкого человека, то, какова будет ваша с ним интонация общения. Она задается буквально с первого предложения. Интонация — бессловесна, но именно она несет настроение прозы, настроение пробуждает чувства, а после чувств приходит желание о чем-то мыслить. Когда пишешь без образа, интонацию сложно взять.

Мы — сентиментальны, и сентиментальность — это интонация, вот где она рождается. Если вы пишете о том, что пережито и увидено вами лично, это и значит — искать и находить сопереживание. Сопереживание все равно будет личным.

Есть всего два вопроса, которые нужно себе задать перед тем, как начать писать: *есть ли у вас что сказать своему читателю и кому и зачем нужно то, что вы хотите написать?*

Владимир Тучков

Бабочка 3.0

Дни поздней осени бранят обыкновенно те, кто вынужден, сидя в городской квартире, вздыхать и думать про себя, когда же, черт возьми, они батареей-то затопят!

И совсем другое дело на даче, где человек сам хозяин своего температурного счастья, где ему плевать с высокой колокольни на то, какие козни против народонаселения затевают городские коммунальщики. Затопил печку и — кум королю.

Любишь, чтобы как в июле на Средиземноморском побережье? Пожалуй-ста! Делаешь себе какую-нибудь Ниццу, распахивая печку до белого каления. И даже щебет птиц в воздухе улавливаешь.

Можно и как в мае в Средней полосе. С соловьями, коих имитирует булькающий в чайнике кипятилок.

А можно подобрать и что-нибудь для взбадривания организма, создавая себе рабочую атмосферу.

Печка в сравнении с центральным отоплением обладает очевидными преимуществами. И не только практическими, но и эстетическими. С чем, например, может сравниться удовольствие лицезрения завораживающей пляски языков пламени? А вслушивание в чистую мелодию трубы, гудящей, словно взлетающий вдалеке самолет? А вдыхание аромата принесенных с мороза березовых поленьев?

Ведь не станешь же, сидя в кресле, любоваться отопительной батареей и прислушиваться к булькающей в ней воде.

Однако есть у печки и еще одно достоинство. Она обладает магическими свойствами, способностью приоткрывать дверь, за которой притаилось неведомое. Или, как говорят умные люди, трансцендентное.

И вот тому подтверждение. Естественно, наглядное и неопровержимое.

Однажды осенью, на границе между сентябрем и октябрем, я вернулся из похода за грибами. Был он совершенно бессмысленным. Грибы, до которых в свое время не дошли руки профессиональных грибников, уже давно попрятались в землю, ушли в свои грибовьи берлоги, чтобы всю зиму сладко сосать лапу под завывание ветра и морозное потрескивание суставов деревьев. Абсолютно впустую прошелестел я по пожухлой листве километров пятнадцать с гаком, принеся домой в корзинке один лишь нож.

Затопил печку. И, наслаждаясь живым теплом, сел за ноутбук и продолжил забивать в онлайновый мизантропический текст про непрочность земного счастья, которое всегда склонно к обману, про иллюзии, которые, будучи извлеченными на свет божий, неизменно лопаются, словно глубоководные рыбы, изъятые из пучины морской, и т.д. и т.п.

Пальцы порхали по клавишам, на дисплее выползала предельно пессимистическая строка: «Прожив немалое количество лет, я понял, что в этой стране человеческая жизнь наиболее точно моделируется при помощи рулона туалетной бумаги. Вначале ситуация более чем оптимистическая: крути-верти сколько хочешь, а ничего практически и не убавляется. Не видно никакого убывания. Но проходит определенное время — и ты уже весь в дерьме. И, как говорят юристы, закон обратной...».

И вдруг я услышал за спиной какой-то легкий трепет, какое-то эфемерное колыхание звуковых волн, которые нежно массировали барабанные перепонки или что-то еще, находящееся внутри меня. Я закрыл свой файл и обернулся.

То оказалась совершенно роскошная бабочка, если не ошибаюсь, Павлиний глаз, трепетавшая своими сказочными крыльями в унылом пространстве комнаты. Отогрелась, то есть, по сути, вернулась с того света, и стала порхать. И вряд ли понимает, кто она на самом деле: то ли бабочка на этом свете, то ли Чжуан-цзы на том. И неясно ей, бедной, куда же надо лететь, то есть где же оно — вожденное лето, где цветы, солнце и теплый ветерок?

За окнами крошечная темнота. К тому же и шторами они завешаны. Лампочка бабочке абсолютно не в кайф, потому что на лампочкикупаются лишь одни обделенные солнечным счастьем ночные мотыльки...

Мечется, бедная, по комнате — и ни хрена!

И кот мой Гаврик, недоуменно глядя на нее, кажется, вот-вот спросит: какое сегодня число-то, какой месяц? Что здесь, вообще-то, происходит? Мы в стылом Подмоскovie или же в Ницце?

И вдруг бабочка замечает стоящий на столе ноутбук. И видит, что на дисплее этого самого ноутбука есть именно то, что ей надо: нежное лазурное море, островок с тремя пальмами, в отдалении — парус одинокий белеет, и огромное синее небо с легкими облаками. Короче, конкретный рай, который является стандартной майкрософтовской заставкой.

Вполне естественно, бабочка устремляется в этот рай. И, понятное дело, попасть в него не может, поскольку этому препятствует закрывающий экран прозрачный пластик. Пластик довольно мягкий, в связи с чем от удара бабочка не только не получает инвалидности, но и сознания не теряет. Затем предпринимается еще несколько попыток. И с тем же самым результатом.

Бабочка садится на левый верхний угол дисплея, где голубеет иконка «Мой компьютер» с набитым внутри хламом, то есть файлами.

И с тоской смотрит в рай, куда ее, очевидно, не пускают грехи, совершенные в предыдущей жизни. Как говорится, против кармы не попрешь.

Отдышавшись, она вновь предпринимает несколько попыток пробить голой невидимое препятствие, границу, которая разделяет сладостные мечты и горькую реальность.

И в конце концов выбившаяся из сил бабочка садится на клавиатуру, устроившись между клавишами «F5» и «4». Сидит, тяжело дышит и думает свою горькую думу, распластав прекрасные крылья, которые смотрят на меня двумя парами — совершенно не соответствующих моменту — радостных глаз. Так уж устроены эти создания, чтобы в любом состоянии, даже абсолютно катастрофическом, радовать человеческий глаз. Разве можно ей не сочувствовать?

И я сочувствую. Дура ты, думаю, дурная! Тебе нужна клавиша «F1» — «Help»! Подползи к ней, собери последние силы, и стукни по ней головой. Дядя Билл Гейтс — он самый могущественный в мире, потому что у него больше всех долларов. Он все может. Он, несомненно, знает в своей операционной системе такую заветную форточку, через которую можно запросто попасть в эту картинку

и жить в ней вечно и счастливо. Напрягись, бабочка, Гейтс обязательно тебе поможет, обязательно! Ведь ему же это ничего не стоит!..

Но не поняла меня бабочка. Пришлось действовать самому, хоть заранее было ясно, что ничего путного из этого не получится. Потому что Windows совершенно по-разному реагирует на людей и на бабочек.

Нажал я «F1» и в открывшемся окошке после слов «Введите свой вопрос и нажмите кнопку Найти» написал: «Как помочь бабочке попасть в рай?». И, надеясь на чудо, нажал на это самое Найти.

Увы, чуда не случилось.

В ответ вылезла всякая ахинея: «о получении справки во время работы; разрешение вопросов, связанных со справкой; установка мастеров и шаблонов; указания по поиску справки; использование справочной системы без помощника по Office; о технических ресурсах корпорации Майкрософт; добавление подсказок к форме...».

В общем, Билл Гейтс поступил совершенно по-свински: сделал вид, что не понял меня. Словно я у него сто долларов попросил!

Пока я проделывал эти бессмысленные манипуляции, злясь на подлого Гейтса, заклятого врага всех ламеров, юзеров и программеров, бабочка отдышалась и куда-то обреченно улетела. То ли смирилась с тем, что рая нет, то ли решила искать его в другом месте.

Поразмышляв некоторое время, я все-таки нашел верное решение данной проблемы. Что свидетельствует о том, что я обладаю более высоким интеллектом, чем Билл Гейтс. И вопиющая разница в наших имущественных положениях есть величайшая несправедливость.

Весь следующий день я печку не топил, разогреваясь физическими телодвижениями типа колки дров и марш-броска в сельский магазин за ненужными мне спичками и солью. И вечером стоически поддерживал лишь такую температуру, чтобы нам с котом Гавриком не впасть в анабиоз. То же самое проделал и на следующий день. В результате получилась эвтаназия. Ну да, именно так. Ведь бабочка страстно хотела попасть в рай. То есть добровольно уйти из жизни. Ведь нельзя же одновременно одной ногой быть здесь, а другой там, в раю. И я ей в этом помог в соответствии с гуманными законами Нидерландов, где эвтаназия разрешена.

Теперь я часто и подолгу вглядываюсь в картинку на дисплее. Где там моя бабочка? На какой из трех пальм сидит, наслаждаясь остановившимся временем? Ведь рай — это вечность, не так ли? А в вечности, как и на картинке, не должно быть никаких изменений. Однако изображение мелкое (скупой Гейтс пикселей пожалел!), и разглядеть бабочку невозможно. Но она там есть, я уверен! Есть! И, может быть, она порой с благодарностью вспоминает обо мне. Ведь именно я подарил ей это вечное блаженство.

А через три года к бабочке присоединился и мой кот Гаврик. И теперь они там вдвоем греются на солнышке, слушают нежный шорох волн на золотом песке, любуются проплывающими по небу облаками.

Ждут, когда к ним присоединюсь и я.

Неужели, черт возьми, я этого не заслужил?!!

Стефано Гардзонио

Двенадцатый год

Пизанский пастиш

Косые тени на Лунгарно. День был тяжел, и воздух пронизан запахом бензина в этот неожиданный вечер конца лета. Странное впечатление, будто все давно известно и уже прожито. Есть такие лица, которые, думаешь, ты уже где-то видел, неизвестно когда... лица, которые незаметно мелькали перед твоими глазами. «На Арно надета каменная риза, и река дугой течет...». Это, кажется, пробормотал человек средних лет в сюртуке и пенсне, стоя у перил перед рекой недалеко от кружевной церквушки Делла Спина... Слова эти я повторяю, неизвестно откуда, неизвестно почему.

Теперь мне на вокзал, но какая-то расслабленность тащит меня в обратном направлении. У Лоджии ди Банки толпится народ: торгуют барахлом. Я иду дальше через мост. Там «Призрачная Пиза лежит красавицей нагой...». В начале Борго Стретто доска гласит о доме, где родился Галилей. Сюртук будто за мной. Исчезаю в грязных улочках рынка. В переулке Делле Дондзелле моют мостовую. Пахнет мочой. Хмурые лица пьяниц вдруг злобным взглядом поворачиваются ко мне под мрачными арками площади делле Веттовалье и производят свои ругательства.

Куда же иду, сейчас, без дел, без направления? На опустевшей площади Данте старьевщик закрывает свой жалкий магазинчик и собирает с улицы неуклюжие подражания картинам Джека Веттриано. Чтобы содержать старую жену-инвалидку, некий Ваннуччи, последний эпигон либурнских маккияйолов, все рисует элегантных мужчин в черном и танцующих дам под зонтиками на берегу желто-кремового моря. Вместе с картинами высокий, худощавый продавец, у которого на затылке торчит странная косынка, несет обратно старые календари, книги и комиксы секонд-хенд. Вдруг он уронил что-то вроде рукописи. Я подошел и поднял пожелтевшую тетрадку. На рваном титульном листе я прочел: *Il Sangue*. Роета.

Имя автора вырвали, я перелистал всю тетрадь: зря, ничего не нашел. Без очков, правда, мне было трудно читать мелкий почерк. Спросил у старьевщика о цене. Тот посмотрел на меня с насмешкой. «Не продается. Это я читаю по вечерам, и никому другому не дано ее читать!». Резким движением он взял тетрадку обратно и засунул ее в задний карман штанов. Из всего я запомнил лишь несколько слов. Запомнил, потому что они странно прозвучали в моей голове: *Trionfo della Morte, bagitto, pastinaca, Sant'Ippazio*. На закатных клочках неба вырисовывались крестами три пальмы и смутная тень магнолии. Сожглась благовонная тосканская ночь.

Еще призрачнее мне показалась площадь, где грустно горбилась башня Уголино. Напротив белой горной стеной поднималась церковь, где «знамена, в боях

изорванные, спят...». Санто Стефано деи Кавалиери. Церковь Мальтийского ордена. Вечереет. Вдруг мне кажется, что я куда-то опаздываю. Мой коллега, лысый, горбатенький историк-анархист с вечной своей сигарой в губах, выходит из библиотеки Нормальной школы. Я бегом под арку мимо ворот бывшего заведения трактирщика-болтуна, вдруг голодный вопль... и дальше прохожу возле книжного антиквариата, закрытого после смерти владельца.

Теперь иду по Санта Мария, около пустых кафе, баров и ресторанов и там, где улица немного поворачивает, слышу русскую речь. Из любопытства обернулся. Мне показалось, прозвучало: «Вернемся в Марину». В какую Марину? Туда, куда трамвайчик некогда привозил кричащую детвору на пирс в жаркие солнечные дни лета? Теперь трамвая больше нет, или мерещится мне. Ведь где-то лежала открытка цвета сепия с видом главной улицы Марины и неожиданной черной тенью трамвая на рельсах. Вдруг прошла большая группа китайских туристов. Будто «дети в красном, По домам от поздней обедни»... Очень любопытная сцена. Человек среднего возраста в куртке и пенсне ходил рядом и будто изучал лица послушных посетителей пустого города. Мне даже показалось, что он что-то набросал в блокноте, который держал в левой руке. Скоро передо мной появилась мощная башня, криво стоящая, как рука белого неподвижного мертвого тела. На пустынном зеленом лугу золотилось зарево заката.

Вдруг из-за собора вдалеке появилась мирно и медленно шагающая пара. Он и она. Невысокого роста, или мне так показалось. Он слегка хромотал на одну ногу и в руке держал Бедекер по Италии. Мне показалось, что их взгляды блистали. Они вдруг повернулись и удалились в сторону Кампосанто. В небе вечерние огни дрожали неожиданной волной, и я заметил, что человек в куртке сурово стоял перед статуей с загадочной улыбкой. Он все записывал и нервно осматривался вокруг. «Как будто милого ошибкой, все было, данное векам»... Хожу я бесцельно, будто кого-то или что-то ищу, сам не знаю. «Мраморные чудеса по поросшей траве площади доверчиво смотрят на меня». Опять, высказалось откуда-то. Только тогда мне показалось, будто куртук начал скороговоркой басом произносить какие-то стихи про молчаливый баптистерий, наклонившуюся колокольню, поляны, взморье и виноград. Прозвучала рифма «Апуаны / Тосканы». Я сразу перевел взгляд на бело-розовые склоны гор, которые вечерний разреженный воздух будто увеличивал и приближал. Я только тогда понял, что должен был посетить Кампосанто. Посмотрел на часы. Подбежал к кассе. По расписанию еще можно было его посетить. Вынул сольдо (это слово в единственном числе мне обязательно напоминает детство...) и передал кассиру. Поднял взор и с ужасом узнал лицо старьевщика с площади Данте. Он сидел в кабине и держал в руке рулон билетиков... рукопись лежала открытой перед ним, но я не смог прочесть ни одного слова. Правда, мне показалось, что он как закладкой пользовался карточкой «с побуревшим, запекшимся пятном».

Вскоре я оказался в огромных коридорах двора монументального кладбища. Огни заката проливались через трифоры, и на урнах мраморные тела будто вздрагивали от неожиданного посещения. Крылатый ангел возлагал изваянный венец на мраморную книгу. Гибеллины и гвельфы рядом... Я не был один. Я это чувствовал. Куртук точно был здесь. Я его пока не видел, но был уверен, что он где-то записывает свои наброски. Вдруг передо мной предстали знаменитые фрески Maestro della Morte. Несмотря на увечья, нанесенные бомбежкой во время Второй мировой, они сурово и величаво окутывали красками висящую полутьму...

Вдруг в зал вошла парочка. Он держал в руке Бедекер и был полностью погружен в чтение. Будто ничего больше не существовало вокруг него. Девушка шла рядом, и по выражению лица было ясно, что ей было ужасно скучно. Она бы поцеловала его, а он все читал и поднимал глаза на фрески. Да и я тоже поднял

глаза на них — и чудо: они торжественно и красочно дышали новым светом, как это было до бомбежки. Ведь время существует лишь в нашем воображении. Я стоял от них недалеко и не знал, что со мной. Посмотрел на них повнимательнее, и вдруг мне померещилось, что у молодого человека одна рука завязана, и сквозь повязку видны пятна крови. Опять долго любовался фресками и трепетно переживал все мытарства осужденных и экстаз блаженных. Потом повернулся: парочки больше не было. Они тихо ушли, и как только я почувствовал свое дыхание, сразу заметил, что фреска опять взгрустнула от своих военных ран.

«Безмятежный сад!» — шепнул сюртук и удалился. Я про него совсем забыл. Вдруг как шепот: «Сатана в нестерпимом блеске, Оторвавшись от старой фрески, Наклонился с тоской всегдашней Над кривою пизанской башней».

«Si chiude!» — воскликнул толстый дежурный в очках и в сером фартуке. Я вдруг опомнился. Поздно, очень поздно. Уже стемнело. Вышел на площадь, как во сне. Никого не было. Только далекие фонари и кочующая группа тихих китайцев вслед за гидом, который знаменем в руке поднимал зонтик. Взглянул на часы. Пора домой. Быстро. Всю Пизу я прошел бегом. По реке ещё катался речной трамвайчик с туристами, и цветные полосы до самой Гвельфской башни старой Цитадели оживляли замершую воду. Мне показалось, что и Корсо Италия — это пустое крыло Кампосанто, где тихо стоят саркофаги, гробы и могильные памятники... Наконец, я на вокзале. Нет, конечно, ни носильщиков, ни ямщиков... где-то громко болтают зеваки арабы в черных куртках и кроссовках. Я бегом подошел к кассе за билетом.

«Во Флоренцию, второй класс».

Кассир не смотрит на меня, стучит по клавишам компьютера. Из принтера достает билетик:

«Три сольдо!» — бормочет он, не поднимая головы.

Я ничего не понимаю. У меня красная купюра десяти евро. Плачу. Получаю билет и какую-то сдачу. Все хватаю в спешке и бросаю последний взгляд на железнодорожника. Это был он, да, он, старьевщик. Я это вдруг прекрасно осознаю. Бегу на платформу и рассеянно смотрю на билет. Там вдруг с ужасом читаю: Пиза — Феррара. Ведь мне не туда, я не это попросил. Я обратно весь в негодовании. Зал пуст. Все кассы закрыты. Никого больше нет... На лавочке лежит пакетик, перевязанный бумажной ленточкой, на которой написано «Рондольфина!». Вдруг проходит усталый проводник. Окликаю его, он останавливается.

«Вот, я должен во Флоренцию, а в кассе мне продали другой билет!» — кричу.

Он берет мой билет, осматривает его, читает:

«Пиза — Флоренция, 8 евро». Смотрит на меня, как на идиота. Возвращает билет и удаляется. Смотрю на часы. Хотелось прочесть «вечность», а на деле десять двадцать. Пора домой. Никому о моем дне лучше не рассказывать.

Александр Иличевский

ДНК и книга

МНОГОСЛОЙНОСТЬ

У Тарковского ничего не имеет отношения ни к мысли, ни к имитации ее в сознании зрителя. Его язык — предельной визуальности. Такая изобразительная музыка. Когда мы слышим музыку, мы слышим себя. Примерно того же добивается Тарковский, но не мысли.

Выраженный антипод Тарковского — Триер. Вот этот господин умудряется создавать кино, как манипулирующий вами сон. Со всеми вытекающими насильственными имитациями процессов сознания. Отсюда послевкусие кошмара, именно дурного сна, при всей яркости и незабываемости. Его трудно раскусить, так что многие ограничиваются лишь эмоцией к нему.

Тарковский очень близок к живописи — его фильмы по сути многослойные полотна.

Любая хорошая живопись — это сжатый до одного кадра фильм.

Иногда фотография похожа на живопись именно в этом смысле.

ПЕРЕКРАШЕННАЯ ТРАВА

«Сталкер», в общем-то, весь — о ландшафте моего детства. «Зона» — это ровно то, где я пробыл с третьего по восьмой класс: единственно доступное пространство тайны в той бесплодной эпохе. Мы плутали по заброшенным карьерам, лазали по складам, цементным мельницам, прыгали с обрушенного элеватора в гору керамзита, поджигали бочки с краской и клинкером, глушили из рогаток тритонов в пожарных прудах.

Так вот. Неизменно раздражал этот сюжет с невыясненными желаниями, ибо человек всегда знает, чего хочет, если только хочет. А если не знает, то не хочет ничего.

Желание — любое, помимо инстинктов и денег — уже достижение. Мало кто на него способен на деле. А невыясненность — она от нежелания признать себе, что никаких желаний-то и нету.

Кстати, вот что такое счастье? Мне нравится такое определение: счастье — это когда знаешь, что делать, и делаешь это. Здесь ключевой момент: знание (желания). Вот почему счастье — невыносимо трудная штука.

Где-то читал, что при съемке «Сталкера» Тарковский ради верного цвета в кадре однажды велел перекрасить траву.

ШКОЛА ВЕЧНОСТИ

Музыка лучше иного открывает доступ к сакральному: смысл в ней защищен отсутствием семантики. Звук ничего не означает, кроме эмоции, а область чувств наиболее честная область. В то же время, представляя себе утопическую религию, где нет слов, а есть только музыка, — понимаешь, что и между таких концессий неизбежны смертельная вражда и крестовые походы. (Чего только стоят эти надписи в подъездах: metal vs hip-hop.) В принципе едва ли не вся культура есть пример таких «конфессиональных», а на самом деле иерархических борений между поклонниками того или другого. Но в музыке битвы гораздо вероятней, в то время как в словесности противостояние (к счастью, или — напротив) нисходит на нет в современности благодаря отступлению вербального перед визуальным. Кстати, когда думаешь о «райском всеязычии» (Цветаева), вспоминаешь Арто и Полунину, ибо они имеют дело с разработкой языка, на котором возможна преимущественно метафизика. И тоска по «великому немому» того же происхождения. Но именно потому, что мир был создан с помощью букв, чисел и речений, но не с помощью жеста и изображения (которые отчасти тоже слова, но второго ряда), словесность никуда не денется. Математика, физика и литература пребудут в университете вечности.

Разумеется, понимание приема усиливает эстетическое наслаждение, получаемое от результата этого приема. И концерт может вызвать массу эмоций, а не одну-единственную. Но и дополняющая эту истину другая истина важна. В детстве я точно знал, что есть такая музыка, которую нельзя расслышать с первого раза, и она может быть великой, и наслаждение от нее может нарастать с опытом жизни. Связано это не с «культурными кодами», а с широтой экзистенциального опыта, с широтой и детализацией палитры твоих собственных эмоций. Звук не вызывает в голове ничего вербального, это заблуждение. Звук не отыскивает себя в толковом словаре, он прям и точен. Он — эмоция опыта.

ХВАЛА СВИФТУ

Тридцать лет назад я никак не мог понять, почему мне интересней читать о приключениях Гулливера среди великанов, чем о его страданиях среди лилипутов. И отчего приключения Карики и Вали, уменьшившихся ростом и оседлавших стрекозу, для меня увлекательней ремесла Левши. Тогда я свалил все на свою близорукость, решил, что подзорная труба интересней лупы, и точка. Дальше я стал заниматься наукой, которая научила меня оперировать качественными методами, понимать, что сложность Большого соотносима только со сложностью Малого; научила кое-что разуметь про масштабы и перемещаться по их линейке — от планковской длины до размеров Вселенной, от гравитационного эффекта, вызванного массой электрона, до числа всех частиц в мироздании. Но мне все равно оставалось интересней в стране великанов. При прочих равных я выбирал для себя вглядывание в трудно представимое Большее, — а не в трудно осязаемое Меньшее. Иными словами, кружева и завитушки мне никогда не были близки, в отличие от силуэта. С одной стороны, можно списать это на bias — склонность. С другой, когда я оказался на Манхэттене впервые, меня захлестнул такой властный, иррациональный восторг, не остывающий, что у меня снова нет понимания, почему восприятие искусства масштаба так жестко увязано с мировоззрением.

ВЕСНА ИДЕТ

Саврасов был горьким пьяницей. Выходил из запоя с помощью своих благополучных покровителей, которые забирали его из ночлежки, селили у себя, мыли, кормили и умеренно похмеляли. В благодарность перед уходом он оставлял им вариант своих «Грачей», которых именно поэтому много, коллекционеры уточняют сколько.

Мне иногда кажется: запой Саврасова — это такая русская зима.

А грачи — добрый знак, который может и не возникнуть.

И прилет их особенно прекрасен.

О ЧУВСТВАХ

Бунин написал «Окаянные дни», Чехов же, вероятно, просто бы не пережил или промолчал и уехал, но в новой редакции собрания сочинений непременно вычеркнул бы все места, где употребляет свое футуристическое заклинание: «через сто, может быть, через двести лет...».

Бунин, вероятно, благодаря аристократической выправке, выглядит более пристрастным (но и страстным) в своих чувствах к персонажам, чем Чехов. Однако это обманчивая убежденность. Невозможно вызвать у читателя сопереживание, доверие к словам, если не испытываешь эмпатии к своим героям. (Пишущие с презрением к героям — это только люди, вымещающие свои чувства на бумаге, занимающие у случайного читателя безвозвратно.)

Чехов попросту тоньше в своем отношении, которое куда более развитое, чем у читателя, — отсюда его чувства и кажутся поначалу ненаблюдаемыми и принимаются за бесстрашие, которое тоже есть — но только ради свободы персонажей, только для нее. Я не могу назвать ни одного произведения зрелого Чехова, в котором имелся бы персонаж, обделенный авторским отношением. Вот почему также Толстой и есть Анна Каренина. Отсюда его, Толстого, огромная любовь к ней и физиологическая беспощадность, достигающая в финале, по сути, библейского масштаба.

СЛОВА

Бывают такие люди, что тень, отбрасываемая ими, имеет большее отношение к реальности, чем они сами. Если долго с ними общаться, внутри поднимется исподволь саднящее чувство горечи. С этим мало что можно сделать. Иногда помогает мысль, что это не люди, а выпавшие со страниц книги герои, настойчиво требующие полноценного воплощения — или возвращения под обложку. Вообщем было бы справедливо, если бы за каждым человеком была закреплена его собственная книга. Пруст писал: «Если не написал свою жизнь, значит, и не прожил». Довольно простое утверждение на первый взгляд. Но если внимательней вдуматься, станет ясно: глубинное желание человека ощущать свою жизнь осмысленной и цельной может быть осуществлено только при помощи письма, необязательно прямого, необязательно биографического. Эпистолярный жанр — лишь малое следствие этого.

ДНК И КНИГА

Да, главное, чтоб никто не заблудился: XX век уничтожил русского человека, начав с дворянства, продолжив крестьянством, расстреливая пролетариат и вырастив на выжженном поле нравственности homo soveticus: народную национально без-

личную массу, подразделенную на люмпенов, номенклатуру и опричнину — социальные группы, сформированные принципом низости — насилия, рабства и власти.

Русского человека больше нет — ни с точки зрения статистики, ни тем более с точки зрения смысла. Последний в моей жизни русский человек — воспитавшая меня бабушка — ставропольская крестьянка, чья семья была уничтожена сталинским временем. Всю жизнь я оглядываюсь, вчитываюсь в Платонова и других, стараясь уловить крупницы великого русского характера, так хорошо мне знакомого из детства. И прихожу к выводу, что Мандельштам и Цветаева, Пастернак и Бродский, Платонов и Гроссман, Ахматова и Бунин, Зощенко и Булгаков — вот русские люди. (Причем «адов извод русского человека», составленный Платоновым, — это глубинная критика, которая настолько велика, что оказывается хранителем человека. Более русского народного писателя, чем Платонов, нет.)

Все они — причастные к созданию великого русского языка — в плане национального сознания ничего не имеют общего с языком масс, языком лжи и силы и дают в сравнении с героями торжествующего в настоящем «русского марша» деление единицы на ноль.

Но то, что язык сохранен и выпестован горсткой людей — таких писателей и таких читателей, — это залог победы света над тьмой. Классический корпус — тот текст, из которого впоследствии будет восстановлен генофонд русского сознания. По одной буковке в его «ДНК-цепочке». Так что книга — наше оружие и крепость. И победа неизбежна*.

* Из книги «Справа налево», готовящейся к выходу в издательстве АСТ. Редакция Елены Шубиной.

Ольга Бугославская

«Волк не похож на бабушку», или Почему люди не читают?

Кто-то читает постоянно. Кто-то не читает никогда. Одни пробуют начать и втягиваются. Другие пробуют и сразу бросают. По поводу последних возникает вопрос — почему?

Не знаю, как обстоят дела сейчас, но во времена моей далекой юности в школе, да и не только там, а повсеместно, царил культ «великих русских писателей». Одним из побочных следствий этого культа явилось массовое убеждение в том, что русская литература уже давно пережила свой «золотой век», а значит, ждать от нее новых откровений не приходится: планка задана настолько высокая, что приблизиться к ней, а тем более превзойти невозможно. Стоит назваться филологом или критиком, как тут же получаешь: «Ну что? Есть там у вас сейчас Толстой / Достоевский / Чехов?». Несмотря на нелепость положения, отвечать нужно уверенно и кратко: «Есть», иначе дискуссия захлебнется, не начавшись. Но даже если удастся вклиниться с перечислением «мастеров художественного слова» нашей с вами современности, то в конце концов дело все равно закончится недоверчивым: «Неужели этот ваш такой-то и в самом деле не хуже Толстого / Достоевского / Чехова?». «Не хуже» значит «похож». А «не похож» значит «хуже»: «Почитал я Водолазкина. Он молодец, конечно, но не Гоголь». Пробриться к такому читателю нелегко: «не Гоголь» его не устраивает, а Гоголь уже есть.

Школьный учебник обязательно разъяснял «идейный смысл произведения» — прозрачный, доступный и четко выраженный. Соответственно, одному произведению полагалась одна правильная интерпретация: «Автор хотел сказать то-то и то-то».

Разного рода «варианты прочтения» — не что иное, как искажение авторской мысли, попытки приписать великому писателю собственные глупые идеи. В другом случае — способ завуалировать пустоту и бессмыслицу: «Я пробовал читать современную литературу. Больше пробовать не буду. Осилит “Сто лет одиночества”». То ли “лучший роман двадцатого века”, то ли “главный”. Скрывать не буду: я ничего не понял. Вообще. Почувствовал себя полным дураком. Потом заглянул в предисловие, и оказалось, что это “новая Книга Бытия”. Автор, как мне подсказали, имел в виду Библию, когда писал. Может быть, конечно, спорить я не могу, но сдается мне, что под Библию все что угодно можно подверстать. В том числе и галерею каких-то странных персонажей. Вроде бы все мне объяснили, но в дураках я, по-моему, все равно остался».

«А я твоего Фаулза выбросил. Прямо на помойку. Он мне голову морочил-морочил... Я думал, что он хотя бы в конце расскажет, что и как. А он говорит,

что, мол, ничего не знаю, как хотите, так и понимайте. Ну, я взял его тогда и в мусорное ведро».

«Ты только не обижайся, но этот твой “Венерин волос”... Нет, написано, я согласен, хорошо. Про девочку и про певицу мне все понравилось. Но то, что он вокруг навертел... Главное — зачем? Сказать-то что хотел? “Посмотрите, как я здорово пишу”?».

Некоторые профессиональные комментарии только подтверждают худшие опасения читателей: «Не помню точно, что была за книга, но на свою беду я решил заглянуть в примечания: “В христианской традиции красный цвет — это цвет крови Христа, носит сакральный характер, обозначает жертвенность и так далее. В то же время, красный соотносится с адским пламенем...” И обозначает, соответственно, все прямо противоположное “сакральному характеру”. А еще красный цвет — это война и бог Марс. А еще — победа коммунизма и пионерский галстук. В общем, я понял, что красный цвет обозначает все. Что хочешь, то и обозначает. И белый цвет, наверное, тоже. И синий. Конечно. Сама посуди: небо — синее, море — синее. Море — это вода. Вода — это жизнь. Но в воде можно утонуть, значит, она же — смерть. Про Всемирный потоп не забыть. Посейдона куда-нибудь пристроить. На пять диссертаций хватит».

«Лошадь — символ благородства, верности, выносливости...». Дальше — полный список всего хорошего, что есть в нашей жизни, и символом чего является лошадь. До момента: “однако, миф о троянском коне позволяет трактовать этот образ в другом ключе. Он может символизировать”... и далее — полный список всего плохого, что тоже есть в нашей жизни: вероломство, обман, хитрость, предательство... Это все про Птицу-Тройку, представляешь? Мол, от России всего можно ожидать».

«Когда я училась на экономическом, у меня были друзья с филфака. Заглянула как-то в их книжку и чуть со стула не упала: “Верх — это Царствие Небесное, а низ — преисподняя”. Поэтому, когда Анна Каренина выходит из вагона и спускается со ступеньки вниз, она как бы попадает в преисподнюю. А когда поднимается обратно по ступеньке в вагон — становится ближе к Отцу Небесному. Я никогда так не хохотала. “Это у вас наука такая, — спрашиваю. — Вы всерьез этим занимаетесь? У нас бы с волчьим билетом выгнали”».

С классической литературой, если читать ее в строго историческом контексте, возникает еще одна проблема: она теряет актуальность. Почему Онегин спасовал перед каким-то Зарецким? Что заставляет Катерину терпеть совершенно дикую свекровь? Как Катерину Львовну утوراзило так неудачно выйти замуж? А Анну Каренину? Впрочем, замуж тогда не выходили, а выдавали. Значит, сегодня всех вытекающих проблем легко избежать. И никакой Зарецкий в наше время не заставит взрослого человека застрелить какого-нибудь ни в чем не повинного старшеклассника или первокурсника. Ситуация изменилась, причины несчастий героев «школьной» литературы устранены, значит сама эта литература интересна лишь любителям древностей.

При этом все прекрасно знают, что инструменты подавления и подчинения чужой воли изменились, но само стремление к подавлению никуда не делось. Публика по-прежнему любит кровавые зрелища и с любопытством посматривает на людей, готовых на какие-то отчаянные шаги. А если действие затягивается, зрители подталкивают «актеров», чтобы те не разочаровывали публику, и собравшимся не пришлось скучать. Но классические произведения почему-то не об этом. Они о необходимости запрета на дуэль, правах женщины и процедуре развода.

Замечу вскользь, что с подлинно глубокой архаикой в литературе сталкиваются прежде всего читатели сказок — то есть дети: «Затем ее (злую королеву) заставили вставить ноги в раскаленные башмаки и до тех пор плясать в них, пока она не грохнулась наземь мертвая»; «Ну, солдат взял да и отрубил ей голо-

ву. Ведьма повалилась на землю мертвая, а солдат сунул огниво в карман и зашагал прямо в город»; «И моряк Робинзон увез ее (вредную Варвару) далеко-далеко, на необитаемый остров, где она не могла никого обижать. А доктор Айболит счастливо зажил в своем маленьком домике...»; «Я (Мюнхгаузен) не спеша подошел к лисице и начал хлестать ее плеткой. Она так ошалела от боли, что — поверите ли? — выскочила из своей шкуры». Здесь как раз и нужны были бы комментарии, ведь сказки читают почти все, а представления о «торжестве добра» ими формируются не вполне, так сказать, современные. Но именно детские книжки очень редко сопровождаются какими-либо «пояснениями к тексту».

И, наконец, еще один фактор, который если не отвращает от чтения совсем, то в лучшем случае разворачивает читателя в сторону нон-фикшн — авторские недоработки, сюжетные, логические, психологические нестыковки, разного рода натяжки, слишком высокая степень условности, которые порождают недоверие к художественному вымыслу как таковому. Причем свою роль этот фактор начинает играть уже на этапе чтения опять-таки детских сказок: «А зачем ткачиха, поварица и сватья баба Бабариха “допьяна гонца поят и в суму его пустую суют грамоту другую”? Это же их гонец, он с ними и так заодно»; «А старики всегда делают то, что им велят злые старухи?»; «В стеклянных туфельках можно танцевать?»; «Настоящий волк узнал бы все, что ему нужно, у Красной шапочки да и съел бы ее сразу»; «Волк не похож на бабушку»; «Если бы ведьма сама съела всю еду, которой откармливала Гензеля, она не была бы такой голодной и не захотела бы уже есть ни Гензеля, ни Гретель»; «Поросенок не может бежать быстрее волка»; «Спящая красавица и Принц — родственники. Ну как же? Король и королева не заснули, а остались править страной. Значит, Принц, наверное, их внук или правнук, а Спящая красавица — дочка» (ужас, но правда). И так далее, и так далее. В один прекрасный день ты слышишь: «Мам, это про то, что было на самом деле, или это кто-то придумал? Придумал? Ой, нет, давай что-нибудь другое почитаем».

А еще считается, что дети очень доверчивы. Скепсис взрослых менее удивителен: «Почему брат Лоренцо не объяснил монаху, которого послал к Ромео, что письмо очень важное, и передать его надо обязательно?»; «На месте Дездемоны любая женщина сто раз успела бы понять, что муж ее в чем-то подозревает»; «Почему баронесса Штраль не может внятно рассказать Арбенину про браслет? А он почему ее не слушает? В такой ситуации человек, наоборот, все бы выслушал и все бы расспросил»; «“Капитанскую дочку” надо было назвать “Сказкой про заячий тулуп”»; «При всех оговорках не мог такой человек, как Чичиков, довериться такому человеку, как Ноздрев»; «Собакевич обо всех имеет дурное мнение. Ему понравиться невозможно. И Чичиков тоже не мог ему понравиться»; «“Преступление и наказание” — абсолютно надуманная трагедия. Нельзя не знать о самом себе, способен ты на убийство или нет»; «Достоевский слишком хорошо думал о людях: если человек убьет, то обязательно раскается. Да ничего подобного»; «Женщина очень быстро позабудет о любом Вронском, если у нее отнимут ребенка. Странно, что Толстой этого не понимал».

Школьные навыки плохо помогают сориентироваться в каком-нибудь магическом реализме или того хуже — постмодернизме. К тому же нельзя не признать, что литературные игры иной раз и впрямь ведут в никуда. Некоторые ученые люди тоже подсказывают, что пытаться понять что-либо бесполезно, при желании художественному высказыванию можно придать любой смысл, поскольку, условно говоря, и «благородство» и «подлость» символизирует одна и та же лошадь. И получается, что читатель оказывается между смыслами статичными и окаменевшими, с одной стороны, и бесконечно текучими и трудно определяемыми, с другой. Авторы не всегда еще и умеют скрыть белые нитки и убедительно связать концы с концами. Чего же ради читать? Слишком много выстроено барьеров, не всем хочется их преодолевать.

Ирина Ясина

Мой отец Евгений Ясин

Давно упрашиваю папу написать мемуары. А он отказывается, причем аргумент приводит для меня неубедительный — а кому это интересно? Ему кажется, что про экономику интересно, а про него — нет. Я продолжу уговаривать. Надеюсь, что меня ждет успех.

Папа родился в 1934 году. Что забавно, в день его рождения — 7 мая, постановлением ВЦИК была образована Еврейская автономная область. Это та, где столица Биробиджан. Но папа родился в Одессе. Прожил там детство и молодость, а потом уехал в Москву делать карьеру, становиться большим человеком. Впрочем, в семь лет ему пришлось из Одессы уезжать. В эвакуацию. В Одессу он вернулся только весной 1944 года. А до этого Акмолинск, Верхний Уфалей, потом только что освобожденный Харьков и станция Лозовая. Несколько лет тому назад я начала его расспрашивать, что он помнит из тех лет. Помнит, что был все время голодным, помнит вкус пшенной каши на станции Эмба, помнит, что болел тифом, что в Уфалее жил с матерью в половине проходной комнаты, а во второй половине жил православный поп, что по дороге бомбили, и он, любопытный мальчишка, смотрел на бреющий полет мессершмиттов, прильнув к окну, а в это время взрослые прятались на полу, под полками. У меня возникает странное чувство полного несоответствия сегодняшнего Ясина и его военного детства. Кажется, что он весь целиком принадлежит нашему времени. Представляю, что по этому поводу должна чувствовать моя дочь. Просто война — это история, а папа — здесь.

Мне были бы интересны его мемуары. Как боялись, что Сталин сошлет всех евреев на Дальний Восток, в тот самый Биробиджан. Как после войны он учился в Одессе, как и кто потом объяснил ему, что только одного еврея возьмут на географический факультет Одесского университета. И этот один еврей уже известен, и это точно не Ясин. Как он пошел в Одесский строительный, на котором был факультет архитектуры. Но в эти годы архитектурный был не нужен и факультет упразднили, создав на его месте что-то типа «промышленного строительства». Его он и закончил и поехал работать на строительство моста в Рыбницу. Прорабом. Опять несоответствие. Где он сегодняшний, рассуждающий о влиянии культуры на темпы развития того или иного общества, и тот молодой прораб? Я спрашивала, была ли страховка, когда он ходил по недостроенным пролетам моста? Какая страховка? — он смеется, слыхом не слыхивали... Матом научился ругаться, чем потом шокировал родителей в Одессе.

Но тянуло, тянуло куда-то прочь из провинции, хоть эта провинция и была у моря. Уехать туда, где делается если не история, но по крайней мере большие дела. А на стройке можно научиться только закрывать наряды так, чтобы и рабочие деньги получили, и проверить, что наработали меньше, чем было в уже

закрытых нарядах, нельзя. Поэтому, как в анекдотах, сколько раз провезли тачку с мусором по стройплощадке, никому не известно. Но моему Ясину это все пригодилось. Он написал письмо на экономический факультет МГУ, с какими-то «рацпредложениями» по совершенствованию экономики строительства. И они его позвали. Сначала на вечерний, потом по специальному разрешению — на дневной. Даром что второе дневное советскому человеку не полагалось.

Я расспрашиваю его про то, когда он перестал верить в коммунизм. Ведь верил же. Почему-то он мельком про XX съезд партии и более подробно про ввод советских войск в Чехословакию. Но все-таки говорит и про книгу Дудинцева «Не хлебом единым», и про стихи, которые еще не запрещены, но как-то уж чересчур свободны. А про Чехословакию подробно. Он уже был женат на моей маме, которая в совершенстве знала чешский язык и выписывала чешские газеты. Для того чтобы их читать, он выучил чешский. Через много лет он выучит польский для польских газет тогда, когда и там начнется...

Про годы застоя этот неугомонный человек скажет мне: «У меня было ощущение, что меня уже похоронили». Нет роста, нет возможностей, даже поехать за границу, даже в Болгарию, даже говорить о многом надо только шепотом. Он и меня потом научит — эту книжку в метро не читай. Я спрошу, достаточно ли будет обернуть обложку газетой, чтобы никто не увидел названия — «Доктор Живаго»? Нет, недостаточно, читай только дома. А жаль, до университета час дороги на метро. Можно с толком провести время.

Он придумал для себя развлечение, которое создавало слабую иллюзию путешествий по миру. Он выписывал большое количество чешских и польских журналов про путешествия, вырезал из них блеклые картинки с изображением недоступных египетских пирамид или дворцов Камбоджи, собора Парижской богородицы или небоскребов Нью-Йорка. Он и меня привлек к этому. Отличать дорические колонны от ионических и от коринфских. Романские церкви от готических. Мы путешествовали по всему глобусу, а над моей детской кроватью висела географическая карта.

Чем папа занимался в те годы, я плохо помню. Но потом, когда я была старшей школьницей, за столом все чаще стало слышаться словосочетание «хозяйственный механизм». Я тогда слухом не слыхивала, что это такое, но потом, когда папка уговорил меня поступать в университет на тот же экономический факультет, который закончили они с мамой, я узнала. Я хотела на исторический. Но он пуганул меня перспективой работы в школе. Я сразу вспомнила свою историчку Анну Иванну, которая страшила родителей на собрании тем, что будет учить нас любить партию и Брежнева так, как Анна Иванна любила партию и Сталина. Так что я поступила на экономический и стала понимать, о чем папа часами говорит со своими коллегами.

Потом началось интересное время, которое Ясин считает лучшим в своей жизни. Перестройка, реформы, Ельцин, Гайдар. Я к тому времени была уже взрослой девочкой, была замужем и жила отдельно. Потому папу видела нечасто. Но, впрочем, если бы мы и жили вместе, это не многое бы изменило. Он пропадал на работе. Он горел возможностью сделать то, о чем мечталось.

Еще он очень плохо видит чужие грехи. Когда я с жаром пытаюсь убедить его, что имярек ворует, Ясин грустнеет и пытается оправдать.

Он сейчас очень печальный. Ему тяжело видеть то, что происходит. Он все время повторяет: «Это борьба Путина с Гайдаром». Он уверен, что рыночная экономика выдержит. Иногда я ругаюсь на него и обзываю «Кашпировский» за то, что он пытается оставаться оптимистом. Конечно, он оптимист, но еще и философ. И поэтому, когда он говорит, что все кончится хорошо, он-то имеет в виду дистанцию лет в срок.

Евгений Бунимович

раз два три четыре

из стекла и бетона

дома из стекла и бетона
не умеют стареть
на них страшно смотреть

люди из стекла и бетона
не умеют стареть
на нас страшно смотреть

дети из стекла и бетона
ушли в социальную сеть
не вернуть не согреть

из недавнего

ужели всё и я старик
и женщина моя не истерит
не рвётся не ночует на вокзале
сидится интернета на краю
накинь платок озябнешь говорю
недобрый ветер в русском виртуале

из давнего

раз два три четыре пять
вышел зайчик?
расстрелять!

из пиндемонти(?)

когда выступал президент
я разрыдалась от счастья
доктор это не опасно?

когда выступал президент
я захлебнулся от смеха
доктор это не смертельно?

когда выступал президент
мне стало страшно
доктор это не страшно?

когда выступал президент
я испытала восторг
я испытал шок
я испытала странное чувство
я испытал угрызения совести
я испытала оргазм
я испытал самолёт

доктор это нормально?

Наталья Громова

Заметки на полях архивной и музейной жизни

Как-то я шла из магазина, нагруженная сумками, и увидела ворону на детской площадке, которая увлеченно катила перед собой большой детский мячик. Другие вороны с интересом за ней наблюдали. Так она катала его некоторое время, пока не заметила меня. Тогда она медленно отошла от мячика и стала делать вид, что она обычная ворона, без всяких там затей. Подумалось, что это и есть настоящая «черная курица», а где-то сидит мальчик Алеша, который умеет разговаривать с ней на ее языке.

Так и у исследователя есть свой невидимый мир, который охраняет «черная курица», она говорит на своем языке и открывает тайны только особо доверенным лицам.

ИССЛЕДУЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Я всегда относилась к ним с огромным почтением. Как музеи, архивы, библиотеки мерещились огромной задрапированной сценой, за которой — чудеса, так и любой исследователь творчества, биографии был похож на человека, владеющего ключом от тайных дверей. Некоторые по сей день такими для меня и остаются. В юности, когда я встречала их в стенах Энциклопедии, они больше всего напоминали добрых городских сумасшедших, которые в одиночестве крутятся в лабиринтах архивного Минотавра, разыскивая крохотное известие о месте службы какого-то очередного литератора из «штаб-офицерских детей». На летучках долго кричали и спорили про этих «штаб-офицерских детей», мол, неясно, да и зачем такая дефиниция, но потом успокоились, так они и остались этими детьми. Однако те исследователи были бескорыстны, чисты сердцем и близки к обычным людям. Часто это были химики, физики, пенсионеры, журналисты или вообще люди без звания.

Иное дело крупные исследователи, к которым я приблизилась в пору своих изысканий. Одни из них поразили меня тем, что, занимаясь тем или иным писателем, поэтом и т.д., как бы это точнее выразиться, любили в своем герое скорее себя. Где-то со второй-третьей встречи вдруг открывалось, что он или она — скорее пьедестал к собственному величию. Но так бывает во всем, даже в семейной жизни, ничего удивительного тут нет. Мы любим за то, что любят нас.

Исследователь часто превращается (абсолютно неожиданно для себя) в некое подобие мужа или жены исследуемого, он, как медиум, начинает говорить от него сильным или срывающимся от обиды голосом, заступаться за своего ге-

роя так, словно он один знал ход его мыслей. Это, конечно, оправданно, потому что исследователь оказывается порой намного ближе к своему герою, чем муж или жена. Исследователь ложится и встает со своим героем, видит его во снах, с трепетом перебирает его бумаги, обрывки, иногда даже предметы. Разве муж или жена на такое способны?! Исследователь знает, как его герой относился к родственникам и знакомым, что любил есть, какие читал книги. Самое сложное — отношение исследователя с наследниками. Исследователь, с одной стороны, их, можно сказать, любит, ведь в них течет кровь его героя, но с другой — относится к ним, как к неразумным детям. Они могут что-то сломать, испортить, выкинуть, не туда положить, засунуть и т.п. в большом хозяйстве героя. Их надо умищать, говорить жалобным тонким голосом, утешать, успокаивать. Исследователь — великий психоаналитик и в то же время существо нервное, иногда страдающее параноидальными комплексами.

Попадались и такие странные случаи, когда человек был как бы наполнен своим героем, то есть говоришь с ним, а он словно сам Пастернак, или Цветаева, или даже Булгаков, но потом оказывалось, что их герой с легкостью извлекался из них, и исследователь становился полым. То есть сам по себе он не имел никаких особенных мыслей и взглядов, никаких особых талантов.

НАСЛЕДНИКИ

Это люди, которые получили право владения ушедшим гением. Драма взаимодействия наследников и всего остального мира — сродни античной, здесь все правы и все виноваты. Я знала случаи, когда вдова одного художника, как зеницу ока хранившая, никому не показывая ни одной бумажки, перебирая, кому лучше отправить, ценное наследство, внезапно умирала, и все бумаги, наброски, переписка в один день оказывались на помойке, отправленные туда дальними родственниками, не испытывающими никакого пиетета перед талантом художника. Были почти комичные случаи, когда наследие утонченного литератора оказывалось в руках полуграмотной дальней родственницы. Или когда всеми правами распоряжается некто под названием «седьмая вода на киселе». Или просто человек, для которого гений был неприятным отчимом, и он отыгрывается за это в уже новой жизни. Это все великие уроки того, как все бrenно и что человек не может предвидеть последствий своих действий.

Но самое драматичное — это семейные партии. Классик любил, женился, бросал детей, не подозревая, какую мину он закладывает под свою посмертную жизнь. Тот клубок обид, которые были при жизни, опрокидывается в его посмертное существование, навсегда лишая его потомков покоя. Чем крупнее автор, тем тяжелее проходят водоразделы между «партиями» его родственников. Первые, с кем столкнулась, — это две партии булгаковских жен. Партия Белозерской и партия Елены Сергеевны Булгаковой. С горестью могу сказать, что выбрать все равно приходилось, над схваткой не удерживался никто.

ПРО НОСИТЕЛЕЙ АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ КОРНЕЙ

Пять поколений очень образованных людей — и что? Почему так странно выдыхается, истончается род и утыкается в людей без воли (я имею в виду, не семейную волю), без интереса к собственной истории, заменяющих настоящие интересы светской болтовней. У меня есть только одно преимущество, то, что я выросла из земной толщи, и то, что моя энергия призвана делать что-то, и мне до конца не ясно.

Вспомнила молодую женщину, с которой ехала двое суток из Бухареста в поезде. Она обманывала мужа, крутила роман с румыном, который, кажется, тоже ее разоблачил. Все это она радостно обрушивала на мою голову. Она была очень милостивой, книг почти не читала, но невероятно гордилась страной, ее полями, лугами и президентом, при этом откровенно мечтала свалить из нее куда подальше. Я старалась не слышать ее стрекотанья, но вдруг она поведала, что бабушка, скрывая происхождение, вышла за какого-то рабочего, но однажды повела ее на Арбат и показала свой желтый особняк с гербом над парадным входом. Она девочкой поразила этому гербу, комнатам, которые могли принадлежать ей. Правда, она путалась в том, где стоял дом, но что-то выплыло из ее глубин сознания. Я подумала тогда, что ведь была когда-то Элен Безухова и масса ничтожных созданий аристократического происхождения, единственное, что их отличало от нынешних, они были вынуждены нести память рода. Глупые, умные — несли такую память. Эти — уже ничего не несут.

МУЗЕИ

Я давно поняла, что каждый герой заслуживает того музея, который имеет. Сколько лет я проходила мимо придавленного зданием КГБ-ФСБ бритого черепа Маяковского, в дом к которому можно было попасть через арку этой организации, и всегда думала, что он сам вошел через эту дверь в историю. Да, он — великий поэт, но есть связи, которые никак не преодолеваются, и история проявляет их в виде ярких отпечатков.

Фокус в том, что если классик тяготился своим домом, который спустя время стал музеем, это скажется на его судьбе. Именно работая в музее, я поняла, что прошлого нет и что великие тени продолжают ходить рядом, задевая вещи, опрокидывая стулья, хлопая форточками.

Георгий Давыдов

Девушка, грызущая карандаши

Стивенсон, помнится, сочинял нередко во сне. Так была создана «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — жутковатая, между прочим, вещь. А вот «Остров сокровищ» начинался с нарисованной карты пиратского острова. Метод неожиданный, но действенный (во всяком случае, со Стивенсоном). Иногда достаточно посмотреть на открытку: в московских букинистах ко мне прибило столетней давности карт-посталь (невнятно-серого цвета) — склон швейцарской горы, дамы в немыслимых шляпах и в платьях с кринолинами-чудохвостами (это, надо полагать, удобно при посещении гор) бредут по склону, срывая нарциссы. Нет, про рыжие сапожки героини в швейцарских горах (они, сапожки, почему-то особенно волнуют, не правда ли?), итак, про сапожки автор «Крысолова» придумал самостоятельно, но, согласимся, после открытки это было уже плевое дело.

Да что Стивенсон! — если Менделеев увидел таблицу Менделеева (вот совпадение) во сне, хотя, признаться, и наяву она представляется полутуманно. Сюда же, в эту компанию гениев, видящих сны, — подкинем веселенького Чаплина, сочинявшего во сне вальсы к собственным фильмам. Он ложился, зная, что ему должен, должен прийти сон, поющий музыку, — сон приходил, музыка приходила, Чарли, путаясь в пижаме и пританцовывая, поднимался, черкал ноты — а утром — бац! — можно скакать на премьеру.

Если бы (выдохнут профессионалы литдрампоэтрства) всегда было так легко. Поэт Пушкин (Василий Львович) говорил: «Ох! Дайте отдохнуть и с силами собраться!». А поэт Пушкин (Александр Сергеевич) добавлял: «Усталый, с музою я прекращаю спор». Вот именно — лучше встретиться с музой во сне. Что ж, не каждое лето плодоносит даже самая сильная вишня, как и не каждое лето появляется «Вишневый сад».

Тем более что в волшебном саду искусства бытуют совсем не волшебные порядки. В этом саду, например, принято у садовников (т.е. у деятелей литпроцесса — я продолжаю метафору, если кто не усек) старательно поливать пластиковые деревья, а вкус тешить пластиковыми ягодами, ну а поскольку разжевать, проглотить, переварить и, наконец, санитарно-безвредно извергнуть их невозможно, — то получается, что это занятие растягивается у иных поливал на всю жизнь.

Насколько проще пичугам: не в метафорических, а в подмосковных садах они расклеивают не пластиковые шарики, а ягоды, с черным, чуть пьяным, бочком, если, конечно, на их долю оставила ягоды коза, т.е. я хотел сказать — дачная обитательница, которая день целый лопает ягоды, перепачкав юные губы, нежится в гамаке, задевая ногой теплую пыль внизу, на проплешине,

листает томик о чем-то, о чем-то — о чем? — в том и вся штука, что этого никто покамест не знает. На страницах еще нет ничего — только капли от вишен, но на них должно появиться или, вернее, присниться — потому что девица эта — литература.

Ей всегда шестнадцать (я хотел поставить четырнадцать — потому что обыкновенно в этом возрасте она начинает появляться в саду), но при всем при том ей давно тысяча лет и еще, и еще столько тысяч, сколько умеет хоть кто-то травить байки, болтать, завираться, нет, быть серьезным и решать мировые вопросы, главное же — ждать прихода девицы всю ночь и болеть, если она не придет. Да, скажем проще, быть писателем. Т.е. иметь такое занятие, когда рядом с обыденным миром вырастает мир из слов (я хотел сказать — снов).

В каком-то смысле писатели — люди несчастные. Ведь заметил Флобер: «Я не обучен ремеслу под названием жизнь». Можно быть девственником, как Гоголь, можно перешупать всех женщин, как Есенин, — но в первом и во втором издании ты как будто за тонким стеклом — и ты помнишь всегда про девицу, которой шестнадцать (я хотел сказать — четырнадцать), которая листает томик с пустыми страницами и грызет карандаш, и пока у вас с ней не вышло, рисует завитки на полях — нет, не страниц, на полях литературы. Иногда кажется, что ты ее приручил, т.е. закармливал бабл-гамом, а может, запер в чулан — так, я утверждаю, поступил граф Толстой (Лев Николаевич) — но приходит пора, — писатель ложится в землю, а девица с карандашами выпархивает из чулана — «Иная красота сменила прежнюю», как сказал граф Толстой (Алексей Константинович). А запастись бессмертием все же труднее, чем ботинками. Впрочем, ботинки бывают нужнее — полуграф Толстой (Алексей Николаевич) хвастался Бунину в эмигрантском Париже, что отхватил три пары.

Я не начинаю здесь русскую тему прославления нищеты, напротив, я вспоминаю, что в тучные годы для русской словесности писатели жили тучно (я намекаю на писателей-дворян, если кто не расчихал). И, надо думать, в хилые годы (в смысле калорий) писатели грустили, что не могут профукать тысяч хоть десять царских рублей или зажечь с княгиней на лоне угодий и замка. Кстати, Жан-Жак Руссо признавался, что чувства аристократок его волновали особенно.

Но закавыка вся в том, что и в замке, и в коммунальной квартире, и в каких-нибудь сильно похуже местах рядом шуршала карандашами по всегда белой бумаге девица, вообще-то предпочитающая карандаши эти грызть.

Я хотел бы еще сделать экскурс по вещам ее гардероба. Там будут зубила древних египтян и кисточки древних китайцев, разумеется, просто пруттик, которым Христос любил чертить на песке, там будет первопечатная машинка Марка Твена и последнепечатная машинка Солженицына, а что явится лет через сто, не угадаешь — может, будет достаточно поплевать на экран — и вот, собрание сочинений готово? Я вспоминаю еще некоего средневекового модника, который писал, нет, не гусиным, а павлиньим пером. И собратья по перу (метафорическому, а не павлиньему) не назовут его павлином. Ведь чего не сделаешь, чтобы приглянуться девице четырнадцати лет (разумеется, я всегда подразумеваю, что ей восемнадцать).

В ее гардеробе пюпитры, письменные столы, портфели, в которых рукописи едут в редакцию, — в ее гардеробе еще помянутые выше ботинки — нет, не золотые туфельки (здесь я намекаю на недавнее собственное творение, если кто не врубился), — а ботинки, потому что от перипатетика Аристотеля до футуриста Маяковского много было сочинено на ходу, т.е. посредством ботинок (впишите — сандалий).

У китайцев есть выражение — «Сы бао» — «четыре драгоценности» — кисть, бумага, тушь, тушечница. Я добавил бы к списку пятую, вернее, первую драго-

ценность. А именно: самая большая роскошь некогда роскошного дома Набоковых на Большой Морской в Петрополисе — это огрызенные карандаши в жестяных колченожках. Потому что, когда их видишь за пыльно-мутной витриной, понимаешь, что ради девицы и ее карандашей способен совершить любое преступление — а хотя бы хлопнуть до стеклянных брызг — потому что девица рядом — она смеется, она играет — и, взаимно, «как сладко с ней играть глазами» — заметил Давыдов (Денис Васильевич).

И вот, ты держишь карандаши-колченожки, а девица их тянет к себе (надо думать, звенит сирена музеума, а снайперы расставлены по местам), и вспоминаешь, как заметил и, между прочим, грустно заметил Давыдов (Георгий Андреевич): «На сколько же встреч у нее предназначено расписание для тебя?» (Несколько тарабарски, но смысл понятен).

Алексей Макушинский

Молчание

Границы Эрисейры на карте едва различимы, в действительности их нет. Поезд скользит задумавшись между мягких холмов; замирает на сонной станции с уже герцогскими гербами и флагами; опять набирает скорость; отмахав окраины, влетает под стеклянные своды, железные сваи вокзала. Из которого вышедши, я сразу почувствовал запах моря, порта, большого пространства. Море, в самом деле, открывается за каждым вторым углом. То вверх, то вниз идут улицы, соревнуясь друг с другом в крутизне, изгибчивости, обилии лестниц, внезапности перспектив. Я не знал ни слова на местном шипучем наречии. Таксист молча кивнул, прочитав адрес гостиницы; гостиница оказалась от вокзала в пяти шагах. В окне моего номера тоже было, разумеется, море, портовые краны в уже вечернем небе, черепичные крыши. Тишина ошеломила меня. Звуки были, но звуки не сливались друг с другом. Каждый звук в Эрисейре — стук каблучков по мелкой скользкой брусчатке, звон и скрежет трамвая, женский голос, сообщающий непонятно что неведомому кому-то, гортанный горестный крик попугая — отделен от всех других звуков пускай мгновенной, но всякий раз отчетливой паузой. Мне предстояло две недели не говорить вообще ни с кем. Я вспомнил молчание в монастыре, величайший опыт молчания, который был в моей жизни. Я не собирался повторять его; он, похоже, сам решил повториться... Машин почти нет в Эрисейре; туристов нет тоже. Я встретил двоих; встречал их чуть ли не ежедневно; высокого толстого японца и крошечного хрупкого шведа; на третий день мы начали молча здороваться. Оба фотографировали: пустынные площади; развалины крепости на вершине высочайшей из городских гор; витражи готического собора и золотые завитки барочных церквей; корабли и канаты в порту; красные катера у бетонного пирса; старые сваи и колыхание водорослей в зеленой воде. За гаванью город кончается; море, уже всевластное, бьется в черные скалы, к восторгу и ужасу кружащихся над скалами чаек. А с другой стороны от дороги, мощью плит напоминающей Аппиеву, после немногих вилл, садов с желто-крапчатой айвой на ветках, начинается изрезанная временем равнина, разброс олив, надгробий, колодцев, камней... Я дошел до ближайшего, уже совсем безмолвного, совсем белого городка; на странно новом пригородном поезде, с огромными окнами и кондиционером в вагонах, возвратился в столицу.

В Эрисейре случайные мысли смолкают; по крайней мере, смолкали мои, смолкали во мне. Словесный сор, на этом морском ветру, вылетает из блаженно пустой головы. Я вышел однажды на идеально квадратную, идеально каменную площадь, прекраснейшую, на мой взгляд и вкус, во всем городе. С двух сторон она замкнута пандусами уходящих вверх узких улиц; в глубине — двукрылой загнutoй лестницей и высокими балконистыми домами. Каменные скамейки,

на которых никто не сидит; на солнце, на высоком постаменте, памятник легендарной герцогине, от всех напастей укрывающей своего не менее легендарного наследного принца. Она улыбается так, словно никаких напастей и нет в Эрисейре, никакого зла в мире; полная рука ее на мраморных складках платья кажется тоже детской, доверчивою рукою. Я подумал, садясь на одну из дальних верхних ступенек (море, мерцающей полосой, появилось снова над крышами), что вот эта Эрисейра (этот город, эта страна) и есть страна молчания, город молчания. Вот площадь молчания, вот лестницы молчания, вот окна молчания. Вряд ли это так для живущих за этими окнами; тем менее для портъе в гостинице, официанта в кафе. Для меня это так. А там, за городом, — дороги молчания, еще не пройденные, камни молчания, сады молчания, бездонные колодцы молчания. Ландшафт молчания, быть может, никем не описанный... Затем подумал я, что могу и не вернуться отсюда, потеряться в молчании. Соблазн был, признаться, велик. Чем дольше шло время, тем отчетливее чувствовал я огромное, абсурдное счастье этого молчания, этого одиночества. Я никому не звонил, не писал электронных писем; убрал в чемодан все рукописи; закрыл и забыл тетрадь. Слова и фразы всегда чего-то хотят, куда-то идут, бывает, что и ведут. Молчание бесцельно, свободно. Оно никуда не ведет, никуда не идет. Оно сразу все уже здесь.

Любимые цитаты еще звучали во мне. Я вспомнил чудесные стихи Рильке, начинающиеся все с того же слова — «молчание», Schweigen. Стихи переводу не поддаются. Schweigen. Wer inniger schwieg rührt an die Wurzeln der Rede... Тот, кто молчит в самом деле, от всей души и всем сердцем, тот прикасается к корням речи... Как это замечательно сказано, думал я, сидя на согретой солнцем ступеньке. Речь вырастает из молчания, происходит из молчания, в молчание, наверное, возвращается. Einmal wird ihm dann jede erwachsene Silbe zum Sieg. Для прикоснувшегося к корням речи каждый слог когда-нибудь будет — победой. Победой — над чем же? Über das, was im Schweigen nicht schweigt, über das höhnische Böse. Победой над тем, что в молчании не молчит, над насмешливым злом... О, конечно, думал я, то, что в молчании — не молчит и в речи не говорит, это и есть зло, насмешливое или не очень насмешливое. Не темнота и не свет, не пустота и не полнота, не отсутствие, но все же и не присутствие. То, что есть, и то, чего все же нет... Daß es sich spurlos löse, ward ihm das Wort gezeigt... Чтобы исчезло оно без следа, это зло, и было ему показано, ему дано — слово.

Эрисейра славна своими поэтами. Нигде в двадцатом веке — даже в Англии, даже в России — не было, судя по всему, поэзии столь величественной, столь могущественной, как здесь. В книжной лавке на трамвайной горбатой улице они стояли все, эти великие эрисейрские поэты, в виде бюстов и в виде книг, которые, увы, прочитать я не мог. Один из них, слишком похожий на свою собственную фотографию, выставленную в витрине, чтобы я мог не узнать его, сидел в углу, склонившись над альбомом, как я заметил, де Кирико, затем поднял голову, невидящими глазами посмотрел на меня. У него были черные усики и лицо, похожее на трагическое лицо клоуна, только что смывшего грим. Я пошел за ним следом, когда он покинул лавку. Мы вышли к герцогскому дворцу, в тот час, казалось, пустому. Лишь мохнатые часовые стояли возле своих полосатых будок. Герцог молод и, по слухам, тоже не чуждается литературы. Каждый год, мне сказывали, выходит новый том его бесконечного романа, охватывающего историю Эрисейры с древнейших времен, истории людей, здесь живущих, сюда приезжающих; последний том, говорят, лучший, называется, кстати, так же, как называются мои заметки — «Молчание». Поэт долго смотрел на дворец, его синие окна, балкон с золотыми перилами, на котором герцог имеет обыкновение показываться взволнованным подданным. Герцог не показался, и мы пошли дальше, поэт по одной, я по другой стороне улицы, мимо табачных лавок, кафе с гнутыми стульями, лотков, с которых всегда совсем юные, не знаю почему, де-

вушки продают излюбленное обитателями Эрисейры пирожное, круглое, не слишком сладкое, посыпанное свеженатертой корицей... Горбатыми переулками вышли мы, к моему изумлению, все к той же площади, которую я нашел накануне... или два дня назад... дни уже путались, и время сдвигалось куда-то, как сдвигаются дюны, барханы. Поэт сел на ступеньку на одном крыле лестницы, я на другом. Море над черепичными крышами было сплошным белым блеском, с едва заметным намеком на синеву. Вдруг девушка — или, скажем, молодая женщина — с огромным фотоаппаратом появилась на площади; ожившая герцогиня. Почти так же были уложены ее волосы, такие же были у нее белые полные руки. И так же улыбалась она, фотографируя себя саму с ребенком на постаменте, затем скамейки, и лестницы, и поэта с записной книжкой в руке, и, наверно, меня; с той сосредоточенностью фотографируя все это, которая туристам свойственна бывает нечасто. Она и не казалась туристкой. Скорее казалось, что она совершает некий танец на этой площади, передвигая по ней свой штатив, припадая к глазку своей камеры... Поэт следил за нею, иногда отвлекаясь, склоняя трагическое лицо к записной книжке, грызя конец ручки, очень простой, очень шариковой. Чем дольше я наблюдал за обоими, тем отчетливей чувствовал, что они знают друг друга, и что вообще здесь происходит что-то, чего я не понимаю, наверно, никогда не пойму. Я, может быть, оказался в чужом романе, я думал, в романе здешнего герцога под названием «Молчание».

Их молчание молчанием все же не было. Что-то она сообщала ему своим танцем на площади, и что-то сообщал ей он своими взглядами, своим склонением над книжкой. Но для меня это страна молчания, я думал, для меня это город молчания, и я не буду даже пытаться заговорить с ними, на английском ли, на французском. Я дойду, думал я, до той точки молчанья в себе, в которой еще можно возвратиться к словам, после которой наверно, уже нельзя. Мне вдруг стало страшно и захотелось уехать. «Как упоительно и трудно, привыкши к слову, — замолчать...» Трудно — может быть; но ничего упоительного здесь нет... Животный, детский, разрывающий небо крик покончил с моими мыслями, с перебором любимых цитат. В доме наискось окно распахнулось; что-то звякнуло; стукнуло; чайка закружилась над статуей; мопед загрохотал где-то рядом. Я пошел к гавани, сквозь ожившие звуки. Слова возникают из молчания, они же возникают из отчаяния, из греха и горя, просто из одиночества. Конечно, есть зло в Эрисейре, как есть оно вообще и везде, и если я оторвусь от своих мечтаний, я увижу здесь такую же жизнь, как в Лиссабоне или во Франкфурте. И само молчание бывает страшным, бывает бездной. Вечное безмолвие этих бесконечных пространств меня ужасает, говорил Паскаль. Что-то слишком много в этой фразе бесконечного-вечного, и не зря Поль Валери так над ней издевался... А все-таки оно ужасает, это безмолвие. Смерть не менее страшна оттого, что жизнь всегда разыгрывается на ее фоне, из нее исходит и в нее возвращается. В порту в тот день торговали длинной, змеистой, перламутрово-переливчатой, насквозь электрической рыбой...

Они все были в поезде, персонажи моего молчания, и я не стану утверждать, что был удивлен, их увидев. Я ничему не удивлялся уже в этом городе. И хрупкий швед, и толстый японец, и поэт с трагическими усиками, и герцогиня с фотоаппаратом — все они сидели в одном вагоне со мною, у разных окон, на фоне плывущих холмов. Теперь хотелось мне говорить. Все-таки нужно было дожидаться, вновь, сонной станции с ее флагами и гербами, вновь пересечь, в обратную сторону, невидимую границу Эрисейры, чтобы разговор с людьми стал возможен.

Александр Подрабинек

Наша кампания за амнистию

Надо было что-то делать. Шумно объявленные перестройка и гласность давали повод так же шумно требовать освобождения политзаключенных. Казалось естественным, что люди, севшие когда-то за требование гласности, должны быть теперь немедленно освобождены. В этом вопросе власть сама загнала себя в угол. Надо было подтолкнуть ее к неизбежному решению.

Летом 1986 года мы часто виделись с Ларисой Богораз. Она жила на даче в Карабанове, в двадцати пяти километрах от Киржача, и мы приезжали к ней в гости на велосипедах или моем мопеде. Лариса тоже считала, что нельзя сидеть сложа руки. А еще какой-то неведомый инстинкт подсказывал нам, что на переломе истории возможно всякое и надо поспешить.

В начале августа Лариса узнала, что ее муж Анатолий Марченко объявил в Чистопольской тюрьме голодовку с требованием освобождения всех политзаключенных. Требование это казалось тогда настолько невыполнимым, что Лариса раздумывала, объявлять ли его публично или ограничиться более привычными мотивами протеста. В первых сообщениях главными требованиями голодовки назывались прекращение издевательств над заключенными, открытый суд над лагерной охраной, избившей Марченко перед отправкой в крытую тюрьму, и предоставление свидания с женой.

Голодовка Марченко подстегнула нас. Он требует справедливости из тюрьмы, мы будем добиваться ее отсюда. Надо развернуть общественную кампанию за политическую амнистию. Пусть ее поддержат писатели, ученые, артисты — люди с именами и положением. Нам казалось, что наступило время, когда они уже могут не бояться.

Мы с Ларисой поехали советоваться к Каллистратовой. Софья Васильевна нашу затею не только поддержала, но и согласилась принять в ней участие. Правда, поначалу она предлагала обращение не за амнистией, а за помилованием. Это юридически проще, считала она, и потому реальнее. Лариса колебалась. Но тут уперся я: просить помилования — это косвенным образом признать вину. Невиновные не просят милости, невиновные требуют справедливости. Амнистия тоже не лучший способ освобождения, это тоже не восстановление справедливости, а согласие все забыть. Когда-нибудь дойдет очередь и до восстановления правосудия, но сейчас иных приемлемых способов, кроме амнистии, нет. Я был категорически против помилования. Софья Васильевна и Лариса со мной немного поспорили, но в конце концов согласились. Мы решили написать в Верховный Совет СССР обращение с просьбой об амнистии и разослать копии известным людям с предложением поддержать наше письмо или написать свое.

Начались проблемы с текстом. То, что я написал, не очень понравилось Ларисе и совсем не понравилось Софье Васильевне. Они считали мой текст чересчур резким, слишком задиристым. Я смягчил самые острые места, но Софье Васильевне этого показалось мало, и она решила написать свой вариант обращения. Еще некоторое время мы пытались привести все наши тексты к общему знаменателю, а потом нам пришла в голову светлая мысль разослать разным людям разные тексты. Одним — мой текст, другим — текст Софьи Васильевны, а некоторым — оба текста, на выбор. Почему, в самом деле, обращение должно быть непременно одно?

В результате получилось два текста. Мы с Ларисой в своем обращении в Президиум Верховного Совета СССР призывали объявить амнистию всем людям, осужденным в последние десятилетия по политическим мотивам за ненасильственные действия. Мы писали, что «в наше время, когда социальная справедливость и демократизация стали лозунгом дня и надеждой дальнейшего развития всей жизни, когда самостоятельность мышления и гражданского поведения признаны условием действительного преодоления пороков прошлого, когда открыто обсуждаются острые проблемы современности, — крайним анахронизмом является содержание в тюрьмах, лагерях и ссылках тех людей, которые обладают как раз этими качествами и лишились свободы за действия, продиктованные нравственными импульсами и чувством гражданского долга». Обращение свое мы заканчивали словами надежды на то, что «наше обращение не останется без ответа и понимания».

Софья Васильевна старалась быть понятнее и убедительнее. Свое обращение она адресовала Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву и председателю Президиума Верховного Совета СССР А.А. Громыко. Она писала по-адвокатски, будто выступала в суде, где приходится принимать установленные процессуальные правила. Начиналось обращение газетно-возвышенно: «В эти дни, когда вся страна охвачена стремлением к обновлению и глубокой перестройке во всех областях политической, экономической и культурной жизни, неизбежно встает вопрос о судьбе осужденных по политическим, религиозным и культурно-национальным мотивам». Софья Васильевна сознательно обходила вопрос об обоснованности приговоров, сосредоточившись на неуместности дальнейшего пребывания политзаключенных в лагерях. Она писала: «Многим из них вменены в вину высказывания и распространение в «самиздате» своих мнений по разным вопросам политики, экономики, нравственности и культуры, подобных тем, которые сейчас широко и свободно обсуждаются в нашей прессе, по радио и на экранах телевидения, это касается осужденных по ст. 70, 72, 190¹, 190², 190³ УК РСФСР (и соответствующим статьям УК других союзных республик).

Что касается религиозников, то большое число католиков, мусульман, православных христиан, пятидесятников, баптистов, иудаистов и даже кришнаитов (последователей вероучения Бога Кришны) отбывают наказания по ст. 142 и 227 УК РСФСР (и соответствующим статьям УК других союзных республик) за действия, совершенные исключительно по религиозным мотивам, и также за устное и письменное слово, не содержащее призывов к насилию».

Софья Васильевна приводила в пример Польшу, где амнистия политзаключенным «имела огромное значение для улучшения атмосферы в стране и повышения международного престижа Польского государства». Закончила она свое обращение словами уверенности в том, что освобождение всех политзаключенных и ссыльных «еще больше укрепит внутренние и внешние позиции нашего государства, повысит стремление к подлинной перестройке, которая сейчас происходит в нашей стране».

Конечно, и в нашем обращении, и в обращении Софьи Васильевны было слишком много авансов и необоснованных надежд. Но с надеждами так всегда и бывает — они чаще всего продиктованы не расчетом, а желанием, жадной перемен. В глубине души мы таили зыбкую надежду, что власть проявит чудеса вменяемости и поддастся либо давлению, либо уговорам.

Забегая вперед, скажу, что ни отстаиваемая мной резкость в отношении с властями, ни свойственные Софье Васильевне мягкость и убедительность одинаково не принесли ровно никакого результата. Власть нас не услышала. Но не наше собственное обращение к властям было главной задачей. Мы рассчитывали на общественную поддержку.

Нам предстояла большая работа. Если с размножением в десятках экземпляров наших текстов все было понятно — сиди да перепечатывай на пишущей машинке по три-четыре копии в каждой закладке, — то с адресами получателей были проблемы. Где найти адреса известных людей? Большую часть этой работы сделала Лариса, а точнее, множество людей, вызвавшихся ей помочь.

Работа длилась всю осень. Мы отправляли наши обращения по мере получения новых адресов. Все письма — заказные и с уведомлениями. Уведомления иногда возвращались, иногда нет. Мы отправили больше ста десяти писем деятелям науки и культуры.

«Ни наше обращение к Вам, ни Ваша (если сочтете возможным) поддержка этого начинания не предполагает того, что Вы непременно разделяете взгляды тех, кто осужден по политическим обвинениям, — писали мы. — Да это и немислимо — среди политзаключенных люди самых различных идеологических взглядов, политических направлений, религий. Они были осуждены за действия, не сопряженные с насилием или наживой; как правило, они тем или иным путем способствовали распространению своих идей. В обществе, построенном на началах гласности, это не только не должно быть наказуемо, но и должно всячески приветствоваться. Вот почему мы рассчитываем, что призыв об амнистии этим людям теперь, наконец, может быть услышан правительством и принят во внимание. Вот почему мы просим Вас поддержать наше обращение в Верховный Совет».

Мы не настаивали на подписании именно наших обращений, «форма поддержки может быть любой», писали мы. Мы взывали к гуманистическим традициям российской интеллигенции и милосердию, мы выражали надежду, что наш призыв будет услышан, мы были готовы лично встретиться в любое время, если кому-то это покажется нужным. Мне казалось, что ветер перемен унесет все страхи и разбудит чувство солидарности.

В списке тех, кому мы отправили письма, были:

кинорежиссеры Вадим Абдрашитов, Тенгиз Абуладзе, Алексей Герман, Лана Гогоберидзе, Георгий Данелия, Отар Иоселиани, Элем Климов, Александр Митта, Глеб Панфилов, Эльдар Рязанов, Сергей Соловьев, Игорь Таланкин, Петр Тодоровский, Инесса Туманян, Марлен Хуциев, Григорий Чухрай, Реваз Чхеидзе, Георгий и Эдуард Шенгелая;

актеры и театральные деятели Алексей Баталов, Ролан Быков, Валентин Гафт, Михаил Глузский, Людмила Гурченко, Алла Демидова, Александр Калягин, Станислав Любшин, Владимир Мотыль, Алексей Петренко, Евгения Симонова, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Ульянов, Ион Унгурияну, Юрий Никулин;

писатели Алесь Адамович, Игорь Акимушкин, Чабуа Амирэджоби, Эрлом Ахвледиани, Олег Волков, Даниил Гранин, Леонид Леонов, Израиль Меттер, Юрий Нагибин, Эдвард Радзинский, Давид Самойлов, Аркадий Стругацкий, Александр Червинский, Натан Эйдельман, Виталий Коротич, Андрей Битов, Юрий Давыдов, Владимир Дудинцев, Грант Матевосян, Борис Можаяев, Чингиз Айтматов, Владимир Карпов;

драматурги и сценаристы Александр Володин, Александр Гельман, Виктор Демин, Александр Миндадзе, Виктор Розов, Александр Свободин, Эдвард Радзинский;

искусствоведы и критики Ирина Гращенкова, Дмитрий Лихачев, Андрей Плахов, Станислав Рассадин, Игорь Виноградов;

поэты Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Давид Самойлов, Анатолий Жигулин, Булат Окуджава, Михаил Дудин, Олег Чухонцев, Иван Драч;

композитор Моисей Вайнберг, певец Иван Козловский, журналист Юрий Щекочихин и художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Это примерно половина списка. Другая, половина, состоящая преимущественно из представителей научного мира, к сожалению, не сохранилась.

Я был в нетерпении. Мне казалось, что многие должны откликнуться, ведь все же чувствуют новые веяния! Лариса предполагала, что массовых откликов не будет. Софья Васильевна считала, что результат будет вообще нулевой.

Все-таки настоящая мудрость приходит с годами. Результат был если не нулевой, то весьма плачевный. Из примерно ста пятидесяти самых известных представителей российской творческой и научной интеллигенции на наш призыв отреагировали всего пятеро, а поддержал, прямо и безоговорочно, только один человек — мультипликатор Юрий Норштейн. Он пришел к Ларисе Богораз и сказал, что не умеет писать такие обращения и хочет присоединить свои усилия к нашим.

Писатель Олег Волков отозвался на наше обращение статьей о политических репрессиях, которую он отправил Софье Васильевне Каллистратовой.

Поэт Давид Самойлов написал мне такое письмо: «Уважаемый Александр Пинхосович! Ваше письмо долго доходило до меня, пока его переслали из Москвы в Пярну. Нельзя не сочувствовать делу, о котором вы пишете. Несомненно, выскажусь и я, способом наиболее для меня эффективным. Рад был бы встретиться с Вами, но в скором времени в Москву не могу приехать. С глубоким уважением, Ваш Д. Самойлов».

Еще одна писательница, просившая не называть ее имени, сказала Ларисе, что ей очень стыдно, но она не может подписать — ее много лет не печатали, а теперь, похоже начнут. Она боится спугнуть удачу.

Пятым отозвавшимся был Булат Окуджава. В конверте без обратного адреса я нашел листочек из блокнота, на котором сухо и официально было написано: «Уважаемый тов. Подрабинек! Благодарю Вас за информацию. Б. Окуджава».

Вот и все. Остальные вообще ничего не ответили, просто промолчали. Потом, даже очень скоро, многие из них стали шумными прорабами перестройки и певцами новой свободы. Но, как пел Александр Галич, «так ведь это ж, пойми, потом!».

Правда, мы не настаивали, чтобы нас обязательно извещали о предпринятых шагах. Кто-то мог отреагировать самостоятельно, не поставив нас в известность. Теоретически такое было возможно, но я в это не очень верю.

Был и еще один отозвавшийся на наше обращение — старший прокурор Ю.Е. Овчаров из Прокуратуры СССР. В марте 1987 года он прислал мне письмо:



ПРОКУРАТУРА СССР

Отдел по надзору за следствием в
органах государственной безопасности

103793, Москва, К-9, Пушкинская, 15-а

16.03.87 № 13/352-79

Ра № _____

601010, Владимирская обл,
г.Киржач, ул.Кирова, д.10
Подрабинеку А.П.

В связи с Вашим и гр.Богораз Л.И. письмом об издании амнистии сообщаю, что вопрос об освобождении от дальнейшего отбывания наказания лиц, осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду, рассматривается Президиумом Верховного Совета СССР при обращении их с просьбами о помиловании.

Старший прокурор отдела
государственный советник
юстиции 3 класса

Ю.Е.Овчаров

Какая связь между нашим обращением об амнистии и освобождением политзаключенных по помилованию, государственный советник юстиции 3 класса не объяснял. Да и не мог объяснить. За это дело взялся его старший товарищ. Нас с Ларисой пригласили в Прокуратуру СССР. Мы пришли в это казенное здание на Пушкинской, где в большом кабинете за казенным письменным столом сидел человек в черном костюме с казенным лицом и стеклянными глазами. Заместитель начальника главного следственного управления Прокуратуры СССР Виктор Илюхин говорил с нами через силу, будто ему трудно дышалось или очень нужно было в туалет. Пересиливая отвращение, он уведомил нас, что наше обращение в Верховный Совет рассматривается компетентными органами, но об амнистии политзаключенных и речи быть не может.

Беседа была короткой, бесполезной, и мы с Ларисой пожалели, что пошли. Было понятно, что, если амнистия зависит от таких мерзавцев, как этот, то сидеть нашим политэкам и сидеть. К счастью, все сложилось иначе. Илюхин был уже вчерашним днем. Освобождения политзаключенных весной 1987 года действительно начались. В сущности, закатная история диссидентского движения, последняя его страница.

Алексей Конаков

Сугубо личная теория зауми

Кто знает — быть может, наиболее отчетливым свидетельством поражения, которое потерпел в итоге легендарный русский футуризм, является крепость отечественной водки... Уж конечно, победы в долгосрочной перспективе идеи И. Тендрякова и А. Крученых, она составила бы не нормативные сорок градусов, как выдумал когда-то периодический символистский тест, но сорок один. Собственно, ничтожного сдвига, перебора, поворота на один градус зачастую не хватает и в многочисленных (вполне добросовестных) работах о футуристическом наследии; солидные академические изыскания, зная и зная все, упускают из виду самую малость — пьянящий аромат того непрерывного перформанса, который упорно разыгрывали в начале двадцатого века маргинальные корневоды и грандиозари русской поэзии. И вот вопрос: не следует ли для достижения исследовательской конгениальности обязать всех участников конференций, посвященных будетлянам, раскрашивать себе лица акварелью, а доклады печатать только на обойной бумаге? Характерно, что первым действительно адекватным интерпретатором футуризма оказался К. Чуковский — критик, в значительной мере склонный к игровому пониманию поэтической практики. И вдвойне характерно, что единственный бесспорный прокол в своих «Футуристах» К. Чуковский допустил, когда на мгновение отказался от ироничной аналитики в пользу увещательного пафоса: «И вот без души, оскопленные, без красоты, без мысли, без любви — с одним только нулем, с пустотой — сидят в какой-то бездонной дыре и онанируют заумными словами: “Кукси кум мук и скук!..”»¹ Дело в том, что в цитируемой здесь фразе В. Хлебникова «кукси, кум мук и скук»² нет ни одного «заумного» слова. Удивительным образом, полшага в сторону от нормы, — повелительное наклонение глагола «куксить», родительные падежи существительных «мука» и «скука» во множественном числе, — незамедлительно ставят в тупик одного из опытейших читателей русских стихов! Отталкиваясь от этой аберрации и самонадеянно считая отечественный футуризм понятным до сих пор недостаточно хорошо, предложу ниже и собственную, осознанно игровую, «теорию» его текстов.

«Какая страшная бездонная тоска слышится в их гиканье и свисте <...> прислушайтесь: за всеми их бунтарскими ревами вы услышите тихие, старые, вечные русские жалобы», — писал К. Чуковский в той же статье. Действительно, русский футуризм (как и почти вся русская поэзия) прорастает из чувства глубокой тоски. Фокус в том, что это тоска не серой жизни и не мятущейся души, но собственно литературы — по своим далеким истокам. Отвлекаясь на мгновение от будетлян, рассмотрим здесь популярную песню А. Макаревича: «Вот / Новый поворот. / И мотор ревет. / Что он нам несет? / Пропасть или взлет? / Омут или брод? / И не разберешь, / Пока не повернешь», и т.д. Ведь основной посыл этого

текста гораздо ближе к иным идеям И. Бродского, нежели к нормативному шансону для шоферов-дальнобойщиков. Достаточно вспомнить, что «стих» (лат. — *verse*) по определению означает «поворот», а практика стихосложения, версификации, есть не что иное, как искусство поворачивания — строки и смысла. О пропастях и безднах («омутах» по А. Макаревичу), которые открываются в этом процессе пишущему, говорилось неоднократно. В качестве самого знаменитого комментария приведем фрагмент нобелевской лекции упомянутого выше классика: «Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось <...> и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, — и дальше, может быть, чем он сам бы желал»³. С данной точки зрения простенькая песенка А. Макаревича прочитывается как рефлексия о рискованной природе поэтического творчества — выполненная в совершенно другом жанре, но с тем же прицелом, что и возвышенные спекуляции И. Бродского перед Шведской академией. Таким образом, сопоставление двух авторов, выглядя внешне комичным, внутренне обусловлено именно тем, что оба они «припадают к истокам», подспудно помнят о сокровенной правде поэзии как особого вида производства («пойэзиса»), как древнего искусства движения с плугом по непаханому весеннему полю, когда самый размер строки — есть размер этого поля, и проч., и проч.

Собственно, наша гипотеза в том и состоит, что русская поэзия отчаянно тоскует о самом первом повороте (*verse*) в истории «пойэзиса», бывшем поворотом бычьей упряжки на краю пашни. Такое движение напрямую зафиксировано в особом способе письма, называемом бустрофедоном (др.-греч., *bous* — бык, *strofo* — поворачиваю) — наиболее «почвенной» и «аутентичной» фиксации поэтического текста. Бустрофедон — при котором первая строка пишется слева направо, вторая справа налево, третья опять слева направо и т.д. — практически неосуществим в русской поэзии, но память о нем постоянно бережит и тревожит отечественных авторов. Вспомним, например, детские стихи А. Барто: «Идет бычок, качается, / Вздыхает на ходу: / Ох, доска кончается, / Сейчас я упаду!»⁴ Ведь они в буквальном смысле слова написаны о «бычьей походке» (бустрофедоне)! Прелесть знакомой с детства вещицы в том и заключается, что она непосредственно посвящена сугубо текстуальной практике; деликатное и вместе с тем остроумное прикосновение к античности, реализованное А. Барто, стоит очень многого! Вообще, весь знаменитый цикл «Игрушки» соблазнительно рассмотреть как своеобразную рецепцию приемов античной эпиграммы для нужд детской поэзии СССР. В пользу этого говорят и малый объем стихотворений, и внешняя простота речи, и весьма специфический юмор, и даже выбор четырехстопного хорея (использованного для античных стилизаций еще А. Пушкиным⁵) в качестве основного рабочего размера. Пример А. Барто, конечно же, не является единственным. И как раз в проекте русского футуризма ностальгия, — воспользуемся формулой румынского религиоведа, — по истокам стала главным принципом, исторической и стилистической экспликацией которого по очереди занимались почти все ведущие представители движения, от Д. Бурлюка до А. Крученых. Пафос этой ностальгии (вычитанный и ошибочно принятый К. Чуковским за тайную любовь футуристов к русской архаике) был закономерно выражен уже в древнегреческом самоназвании группы, созданной в 1911 году братьями Бурлюками: «Гилея». И следующим же шагом на избранном ими пути стала как раз проблема «аутентичной» записи текстов.

Это случилось в 1912 году, в декабрьской Москве, полной поэтами и террористами. В консерваторском общежитии на углу Малой Бронной улицы и Тверского бульвара собрались четверо смелых, чтобы, споря над каждой буквой, создать текст, ставший в итоге одной из главных вех русской литературы. И под хохот и

шутки один из них предложил фразу «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с глыбы слова “мы”», а другой предложил «стоять на пароходе Современности среди моря свиста и негодования», и третий предложил дополнительно перемешать и рассыпать, украсив «опечатками неуважения» в фамилиях старших коллег, всех этих горьких, куприных, блоков, соловугов, аверченко, черных, кузьминых, буниных и проч. А когда веселье достигло своего пика, и лысый фонарь сладострастно задержался, не в силах сдерживаться, в набитой инвективами комнате, и весь мир вывернулся (вы так не можете!) в одно сплошное бобэоби — самый тихий и прозрачный из четверых сказал внезапно: «И еще мы потребуем от поэтов вернуться к бустрофедону!» Рухнула тишина. Ах, это странное, дикое, несуразное предложение, понимает читатель, было лишь выдумкой полумного будетлянина, лишь одной фантазией в ряду других, вроде числовых предсказаний русской революции, и призывов сдать власть звездному небу, и проектов круго-гималайской дороги, лишь поэтической шуткой, понимает читатель, коих много наблевано на различных досках судьбы, на рукописных страницах сверхповестей, и ничего нет в этом «бустрофедоне», потому что нет в нем ничего, понимает читатель, ведь и Крученых с Бурлюком были не такие уж дураки, чтобы тратить время на столь выдающийся бред, чтобы пытаться создать для себя что-то кроме уютного местечка меж литературного истеблишмента, сомнительной славы ниспровергателей, боязливой памяти в потомках потемках подонках, понимает, все понимает, ни хера не понимает читатель. Ибо это дерзновенное заявление Велимира Тишайшего, Велимира Тончайшего, стало главной движущей силой русского футуризма — история которого может быть заново переписана как вереница обреченных на неудачу попыток прийти к бустрофедону.

Проще остальных пробовал решить поставленную В. Хлебниковым задачу В. Маяковский. В 1913 году он пишет стихотворение «Из улицы в улицу», где бустрофедонное движение намечается к реализации на уровне слогов. Вспомним начало этого текста: «Улица. / Лица у / догов / годов / резче. / Через»⁶ — одно и то же слово последовательно прочитывается по слогам сначала слева направо, а потом справа налево, воспроизводя античную поступь быка. В силу огромной трудоемкости эксперимент остался незавершенным; текст продолжается обычным манером («с окон бегущих домов / прыгнули первые кубы. / Лебеди шей колокольных, / гнитесь в силках проводов!») — так же как и более раннее стихотворение 1912 года, где чистый бустрофедон просуществовал всего три строчки: «Угрюмый дождь скосил глаза. / А за / решеткой». Спустя много лет, в 1926 году, В. Маяковский иронично вспоминал о своих юных попытках осуществить бустрофедон, препоручив эти усилия карикатурному герою из детского стихотворения, Власу Прогулкину: «Прочел с начала буквы он, / выходит: “Куафер Симон”. / С конца прочел знаток наук — / “Номис” выходит “рефаук”». Как всегда у В. Маяковского, насмешка здесь тонко переплетена с аналитикой: при всей кажущейся бессмысленности занятия Власа оно выявляет две основные стратегии, которыми пользовался, как подпорками, русский футуризм в своем преследовании бустрофедона — палиндром («прочел с конца») и заумное слово («Номис рефаук»). Собственно, пример из В. Хлебникова, с которого мы начали этот текст, как раз и замечателен невольным смешением двух указанных стратегий. Строчка «кукси, кум мук и сук» принимается читателем за откровенную заумь, будучи при этом совершенно обычным предложением — которое, правда, можно одинаково читать с обеих сторон. К. Чуковский, не заметив этой второй функции, В. Хлебникова пожурил; впрочем, и помни он, что поэт написал палиндром («перевертень» — в терминах самого поэта), вряд ли бы это смягчило оценку. Но дело в том и состоит, что сочинение палиндромов не было для В. Хлебникова банальным «штукарством» — оно все так же взывало к поиску «исконного», «исходного» движения стиха.

Кажется, вдумчивому читателю все уже совершенно ясно: оказавшись куда более последовательным и радикальным, чем В. Маяковский, В. Хлебников сам решил ответить на вопрос о писании бустрофедоном — и сделал это со всем возможным блеском. Его легендарный «Перевертень» сочинен в 1912 году «в чистом неразумии» (автоцитата, намекающая на религиозный аспект прикосновения к истоку), и начинается так: «Кони, топот, инок, / Но не речь, а черен он. / Идем, молод, долом меди. / Чин зван мечем навзничь». Сокровенная тайна В. Хлебникова заключается в том, что принимаемый за цель палиндром оказывается в действительности лишь средством для осуществления бустрофедона. И здесь мы заявляем со всей ответственностью: стихотворение «Перевертень» должно читаться на античный манер, когда первая строка идет в одну сторону, вторая возвращается в другую и т.д. Любая другая интерпретация выставит В. Хлебникова банальным эквилибристом, бездушным фокусником, ради шутки нанизывающим читаемые с обоих концов строки. И только предположение о попытке поэта воссоздать в русском языке античную практику бустрофедона реабилитирует его перед ценителями поэзии. С этой точки зрения любопытно сравнить два текста, принадлежащих классикам советской неподцензурной литературы. Огромный перевертень Д. Авалиани («Не летим, отуманены, / но с осени в варваре ветер, / тропа нужна хилым смерти, / и трем — смыли ханжу на портрете / ... вера в равнине / ... Сосо ныне нам утомителен»⁷), кажется, способен поразить воображение любого читателя именно неочевидностью своего приема. На таком фоне составленный из палиндромов текст Л. Аронсона («Город дорог. / Искать такси. / Дом мод. / Возле леди сидел, ел зов / баб, / пил вино — он и влип»⁸) выглядит слишком сделанным и примитивным. Однако с учетом озвученных выше доводов он оказывается «объективно лучшим» — т. к. последовательность палиндромов позволяет читать себя в качестве бустрофедона, принимая к античной подкладке стиха. Текст же Д. Авалиани (будучи сквозным, а не построчным перевертнем) лишает читателя такой возможности, оказываясь манифестацией лишь голого, «беспочвенного» мастерства.

Упорство и бескомпромиссность В. Хлебникова известны очень хорошо, однако с самого начала было ясно, что избранный им способ реализации бустрофедона в русской поэзии почти неосуществим. И хотя в 1920 году Председатель Земного Шара, вдохновляя возможных последователей, написал бустрофедоном огромную поэму «Разин» («Сетуй, утес! / Утро чорту! / Мы, низари, летели Разиным. / Течет и нежен, нежен и течет. / Волгу див несет, тесен вид углов. / Олени. Синело. / Оно. / Ива пук. Купавы. / Лепет и тепел / Ветел, летев, / Топот. / Эй, житель, лети же!»), его исходная идея почти сразу была подвергнута пересмотру и трансформации. Ключевой фигурой оказался здесь А. Крученых, чья продуктивность, как известно, почти всегда была связана именно с концептуальными моментами футуристического письма. В качестве примера вспомним блестящую догадку В. Маркова, предположившего в одном из крученыховских текстов («о е а / и е е и / а е е»⁹) сокращенное до гласных букв начало известной молитвы: «Отче наш, иже еси на небе»¹⁰. С интересующей нас точки зрения необходимо отметить, что это стихотворение может читаться бустрофедоном — за счет палиндрома «и е е и» во второй строке. Таким образом, преследуя поставленную цель, А. Крученых осуществляет жест радикальной редукции: «Бустрофедоном может быть записан даже “Отче наш”, если оставить от него только «решетку» гласных и потом умело поделить ее на строки!» Тогда и «восстановленное» из гласных букв стихотворение А. Крученых «правильно» должно записываться как «Отче наш / исе ежи / на небе». Отчетливая непристойность литературного продукта, возникающего при совмещении текста христианской молитвы, полудетективной шифровки слов и античного способа письма, странно бережит сознание читателя и, возможно, вообще лежит в основе всего пре-

словутого футуристического «эпатажа». Продолжая нашу «реконструкцию», отметим, что разобранный здесь стихотворение является крайне важным в том плане, что знаменует собой переход от хлебниковской попытки непосредственного писания бустрофедоном к хитроумному обходному маневру — чуть позже в полном объеме реализованному самим А. Крученых.

Сводя начало «Отче наш» к набору гласных, А. Крученых зашифровывал смысл исходного текста (восстановить который, спустя много лет, удалось В. Маркову). Но уже другое стихотворение, также состоящее из гласных букв («е у ю / и а о / о а / о а е е и е я / о а / е у и е и / и е е / и и ы и е и и ы»), сопротивляется попыткам расшифровки, также предпринятым В. Марковым (как показывает Н. Богомолов¹¹). Кроме того, это стихотворение не поддается и «бустрофедонному» чтению, так как в нем нет строк-палиндромов. Можно предположить два выхода из ситуации: либо «исходный текст» все-таки существует, а дошедшее до нас разбиение на строки противоречит истинному замыслу А. Крученых и должно быть «исправлено» («е у ю и / а о о а / о а е / е и е / я о а е у и / е и и е / е и / и ы и / е и и ы»), либо в этих стихах вообще нет никакого смысла — т. е. он не скрыт путем сокращения слов, но изначально элиминирован автором. Второй точки зрения придерживался В. Хлебников, интерпретировавший оба цитированных стихотворения А. Крученых именно в качестве асемантических сочетаний букв¹². И здесь мы можем наконец оценить все изящество предложенного А. Крученых решения: для реализации в русском языке бустрофедона совсем необязательно действовать «в лоб», составляя сложнейшие цепочки палиндромов, как это делает В. Хлебников в своих «Перевертне» и «Разине», — вполне достаточно перейти от «обычных» к «заумным» словам, вовсе не имеющим никакого смысла и потому допускающим чтение как слева направо, так и справа налево! Таким образом, генезис футуристической зауми может быть понят нами в абсолютно новой перспективе — это и не зашифровывание конкретных смыслов (Г. Левинтон¹³), и не моделирование звуковой решетки языка (Н. Богомолов¹⁴), и не литературный ресайклинг сектантских глоссолалий (А. Эткинд¹⁵), но вполне закономерный итог работы русского футуризма по осуществлению бустрофедона в отечественной поэзии. Главное достижение А. Крученых в том и состоит, что он сумел дать не частное, а универсальное решение поставленной проблемы, в свете которого и должны прочитываться все «заумные» тексты будетлян — включая и написанные ранее.

Основываясь на сказанном выше, можно предложить и строгий формальный критерий для верификации поэтической зауми: «заумью считается любой поэтический текст, который можно без ущерба семантике читать бустрофедоном». Данная точка зрения должна внести определенные коррективы в текущее применение термина: так, вполне понятные строчки В. Хлебникова «А жулики — лужа! / У крови воркуй! / Сажусь, сужась. / Отче, что / Манит к тинам? / Молись илом! / Я рога — горя» следует считать именно «заумными», в то время как глоссолалия И. Зданевича «чизалом карыньку арык уряк / лапушом карывьку арык уряк / ашри кийчи / гадавирь кисайчи / ой балавачь / ой скакунога канюшачь»¹⁶ заумью не является, ибо слова «арык» и «скакунога» при чтении справа налево очевидным образом изменяют (потеряют) свой смысл. Кроме того, при использовании такого критерия автоматически исключается из рассмотрения различная «квазизаумь», вроде длинных верениц географизмов, экзотизмов, арготизмов и т. д. Отметим, что наиболее солидное представление о зауми как о моделировании «языковой фактуры», высказанное на примере знаменитого «дыр бул щыла» самим А. Крученых («Вот я и попытался дать фонетический звуковой экстракт русского яз<ы>ка> со всеми его диссонансами, режущими и рыкающими звуками»¹⁷) никоим образом не противоречит намеченной здесь «теории» — звуковая решетка ничего не теряет при «бустрофедонном» чтении стихотворения («Слово можно читать

с конца»,¹⁸ — заявлял тот же А. Крученых). Во всяком случае, высказанный выше тезис — о необходимости перечитать корпус футуристических текстов с учетом возможных поисков бустрофедона — следует понимать буквально: и потому стихотворение «Та са мае / ха ра бау / Саем сию дуб / радуб мала / аль» должно «правильно» звучать как «Та са мае / уаб ар ах / Саем сию дуб / алам будар / аль», а навсегда привычное «дыр бул щыл / убешшур / скум / вы со бу / р л эз» — как «дыр бул щыл / рущшебу / скум / уб ос ыв / р л эз». Да возможно вероятно не исключено скорее всего нужное подчеркнуть кто-то сочтет написанное шуткой шуткой всего лишь шуткой но автору данных строк это кажется действительно и чрезвычайно важным

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1 — К. Чуковский. Футуристы. // Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания. — М.: Наследие, 1999 г.;
- 2 — В. Хлебников. Собрание сочинений в 6 томах. — М.: ИМЛИ РАН, 2005 г.;
- 3 — И. Бродский. Лица необщим выраженьем. // Сочинения Иосифа Бродского. В 7 томах. — М.: Пушкинский фонд, 2001 г.;
- 4 — А. Барто. Игрушки. — М.: АСТ, 2012 г.;
- 5 — «Но в 1835 году перед Пушкиным встала высокая задача — освоить античность. (О если б он успел!..) И в е щ е с т в е н н о с т ь, реальность древних он верил хорею...» Цит. по: В. Чудовской. Несколько утверждений о русском стихе // Аполлон, кн. 4-5, 1917 г.;
- 6 — В. Маяковский. Собрание сочинений в 12 томах. — М.: Правда, 1978 г.;
- 7 — Д. Авалиани. Пламя в пурге. — М.: Арго-риск, 1995 г.;
- 8 — Л. Аронзон. Собрание произведений, в 2 томах. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006 г.;
- 9 — А. Крученых. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера. Новая библиотека поэта. Малая серия. — М.: Академический проект, 2001 г.;
- 10 — Манифесты и программы русских футуристов / ред. В. Марков. — Мюнхен, 1967 г.;
- 11 — «Марков своей волей добавляет в начало второй строки две гласные — “о е”, чтобы получить более точное соответствие, он же убирает (ставя в квадратные скобки) слова “же всем”, т.е. еще две гласные оказываются “пропущенными”. Цит. по: Н. Богомолов. Дыр бул щыл в контексте эпохи. // Новое литературное обозрение, 2005 г., № 72;
- 12 — «Замечание Хлебникова о гласных цепочках, по всей видимости, означает, что он отнесся к опытам “вселенского языка” как к подлинной глоссолалии, не увидев той игры, на которой основаны оба примера». Цит. по: Г. Левинтон. Заметки о зауми. I. Дыр, бул, щыл. // Антропология культуры. — М., 2005 г. Вып. 3. К 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова;
- 13 — Г. Левинтон. Заметки о зауми. I. Дыр, бул, щыл. // Антропология культуры. — М., 2005 г. Вып. 3. К 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова;
- 14 — Н. Богомолов. Дыр бул щыл в контексте эпохи. // Новое литературное обозрение, 2005 г., № 72;
- 15 — А. Эткинд. Хлыст. Секты, литература и революция. — М.: Новое литературное обозрение, 2013 г.;
- 16 — Поэзия русского футуризма. Новая библиотека поэта. Большая серия. — М.: Академический проект, 2001 г.;
- 17 — Память теперь многое разворачивает: Из литературного наследия Крученых. / Сост., послесл., публ. текстов и комментарии к ним Н. Гурьяновой. — Oakland, 1999 г.
- 18 — А. Крученых. Новые пути слова. // Манифесты и программы русских футуристов / ред. В. Марков. — Мюнхен, 1967 г.

Сергей Боровиков

Бессонница

(В русском жанре-50)

* * *

Какой пиетет перед Чеховым испытывали Бунин, Куприн, Горький, Андреев, а был он всего-то на восемь-десять лет их старше. По нынешним временам и нравам они называли бы его Антошей и приглашали выпить...

* * *

Чехов, несмотря на врачебную профессию и жизненный опыт, сам, видимо, не страдал бессонницей. Герой повести «Скучная история» старый профессор описывает ее так: «Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я бы ответил: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии». Он читает, прислушивается к звукам в доме и с нетерпением ждет утра или дня, когда «имеет право не спать».

У профессора какая-то идилическая бессонница. Он не знает, что такое мучительно хотеть спать, более того, ежесекундно засыпать и тут же вздрагивать и пробуждаться от чьей-то безжалостной руки, которая стучит по затылку, едва сомкнешь веки. И так до бесконечной перемены поз, верчения, вскакивания, до истерики. И об утре мечтаешь не потому, что можно не спать, а совсем наоборот, потому что, измучившись, наконец заснешь.

* * *

Героя рассказа Бунина «Визитные карточки» возбуждало «крайнее бесстыдство» соития, а вот партнерше оно даром не прошло: «Потом он ее, как мертвую, положил на койку. Сжав зубы, она лежала с закрытыми глазами и уже со скорбным успокоением на побледневшем и совсем молодом лице».

Бог мой, да ведь словно о покойнице!

* * *

В воспоминаниях о Бабеле есть два схожих, не раз цитированных эпизода.

Эренбурга Бабель удивил, заташив в грязную, со скандалами и драками, московскую пивнушку. «Я не выдержал: “Пойдем?” Бабель удивился: “Но ведь здесь очень интересно...”»

Воспоминание Утесова относится к встрече в Ростове, где Бабель пригласил его к «знакомому чудаку». Тот держал во дворе клетку с матерым волком, которого злобно дразнил палкой.

«— Скажите, чтобы он прекратил, — прошептал я.

— Молчите, старик! — сказал Бабель. Человек должен все знать. Это не-вкусно, но любопытно».

А ведь так мог сказать и Чехов.

* * *

Не меня одного, конечно, занимает вопрос о «доле» одного и другого соавтора в произведениях Ильфа и Петрова.

Сами писатели в заметке «Как мы работаем» (1935) сообщали: «...пишем вместе, не отходя друг от друга, за одним столом <...> даже эту маленькую заметку». Впоследствии Петров вспоминал о том, как впервые порознь начали писать «Одноэтажную Америку» и «оказалось, что за десять лет работы вместе у нас выработался единый стиль».

В заметке «Соавторы» (1934) они пишут о себе: «...один русский (загадочная славянская душа), — другой еврей (загадочная еврейская душа)...» И ниже: «Тогда как один из авторов полон творческой бодрости и горит желанием подарить человечеству новое художественное произведение, как говорится, широкое полотно, другой (о, загадочная славянская душа!) лежит на диване, задрав ножки, и читает историю морских сражений. При этом он заявляет, что тяжело (по всей вероятности, смертельно) болен».

Но ведь в реальности был болен и «увиливал» от работы обладатель загадочной не славянской, а еврейской души, он же и любил «специальную, в особенности военную и морскую литературу». К чему писателям понадобилась такая игра с перенесением черт одного на другого? Можно предположить, что их раздражал порядком надоевший вопрос о секретах совместной работы. (Все цитаты взяты мною из книги «Евгений Петров. Мой друг Ильф. Составление, комментарии А.И. Ильф, М.: Текст, 2001.)

И все же не сиамскими ведь близнецами они были! Я смею предположить, что коньком Петрова могли быть сюжетные ситуации, а Ильфа — их наполнение. Скажем, Петров придумал, что Бендер заставит Воробьянинова просить милостыню, а Ильф — говорить слова «Гебен зи мир битте...» и «Подайте бывшему члену Государственной думы», истоптать пиджак Воробьянинова — это Петров, а «Не бойтесь, он скоро не будет как новый» или «У вас талант к нищенству заложен с детства» — Ильф.

В «Золотом теленке» пожар «Вороньей слободки» мог принадлежать Петрову, а пятистопный ямб, «Мужчина и женщина», желтая барабанная пятка Васисуалия — это, скорее всего, Ильф. Охмуреж Козлевича ксендзами — Петров, но гневное бормотание по этому поводу Остапа «Не уберegli нежного Козлевича, меланхолики! Всех дезавуирую!» — это Ильф. И уж конечно: «Костел был огромен. Он врзался в небо колючий и острый, как рыба кость. Он застревал в горле» — это, уверен, Ильф, о метафорах которого Олеша вспоминал: «Так сказал он однажды, что видел девушку, у которой прическа была прострелена тюльпаном. И еще однажды и тоже о девушке — что ноги ее в чулках были похожи на кегли. Это давно было сказано, лет десять тому назад. Нигде не написано». (Насчет второй метафоры Юрий Карлович ошибся — она была в «Двенадцати стульях».)

То, что Ильф более созерцатель, чем сочинитель, более лирик, чем эпик, я знал, но особенно утвердила в этом публикация А.И. Ильф «Ильф до Ильфа и Петрова» (ВЛ, 2004, № 1), где прямо-таки царит, извините за выражение, *штучный* Ильф, ни на кого не похожий стилист-философ.

А вот Петров в опубликованных посмертно комедии «Остров мира» и неоконченном романе «Путешествие в страну коммунизма» неожиданно напомнил мне Эренбурга. Да и в своих рассказах Евгений Петрович почти всегда детерминированно социален, заряжен на попадание в цель.

* * *

В 1973 году я в журнале «Волга» напечатал фельетонного толка рецензию «Крупный поэт в мелкотемье увяз», в форме открытого письма работникам Куйбышевского книжного издательства. Этот в 60-е годы популярный жанр тогда уже подзабывался. И рецензия произвела неожиданно шумный эффект. В Куйбышеве не знали, как к ней отнестись. Как позже мне там рассказывали, обком чуть ли не вменил издательству дать официальный ответ журналу о принятых мерах. Только вот каких?! Ограничились, насколько помню, признанием критики справедливой.

Да, в молодые годы я напечатал немало разного. Но — по совести — не было ни печатных доносов, ни клеветы, ни славословий родной партии, ни даже цитирования Брежнева. На последний счет могу вспомнить, как во время вакханалии восторгов вокруг автобиографической трилогии Леонида Ильича мне позвонили из главной саратовской газеты «Коммунист» с предложением о ней написать, что было знаком высокого политического доверия. Я отказался, и что? Да ничего. Меня не стращали, не вызывали на ковер в обком, просто газета обратилась к саратовскому стихотворцу П. и тот разразился одой в прозе о гениальном сочинении генсека.

Но однажды я все же писал по принуждению. В издательстве «Современник» при одобрении сборника «Отзывчивость» (1981) мне прямо заявили: «Про партийность и соцреализм ты писать не хочешь, романов о рабочем классе не читаешь, Брежнева цитировать не желаешь — смотри, не по чину берешь! Молод ты еще выеживаться — в срочном порядке сочиняй в книгу про кого хочешь — Маркова, Михалкова, Сартакова, Бондарева, а то из плана вынем». И я взял сборник коротких рассказов-зарисовок Юрия Бондарева «Мгновения». Рецензия как рецензия, да и тогдашний Бондарев — это все-таки не Сартаков, но ни в журналы, ни в «Литгазету» я ее не предлагал, хотя можно не сомневаться, что прошла бы она как по маслу.

* * *

В 70-е годы московские друзья делали несколько попыток перетянуть меня в столицу.

Одна из них — помощником к секретарю СП СССР Егору Исаеву. В ознакомительной беседе со мной лауреат Ленинской премии прищурился и спросил: «Знаешь, чего более всего я не люблю? — и сам ответил: — Примитивизма!»

* * *

Дочь Федина вспоминает, как во время случившегося на переделкинской даче пожара отец, «удивительно, что, никогда не управляя машиной, вывел ее из гаража и отогнал в безопасное место. Воля его была собрана в кулак».

Но что более подвигло его на такое действие — храбрость или рачительность?

* * *

Впервые прочитал сверхкороткие рассказы Аркадия Гайдара, написанные для детского отрывного календаря. Один — «Маруся» — поразил меня.

«Шпион перебрался через болото, надел красноармейскую форму и вышел на дорогу.

Девочка собирала во ржи васильки. Она подошла и попросила ножик, чтобы обрывать стебли букета.

Он дал ей нож, спросил, как ее зовут, и, наслышавшись, что на советской стороне людям жить весело, стал смеяться и напевать веселые песни.

— Разве ты меня не узнаешь? — удивленно спросила девочка. — Я Маруся, дочь лейтенанта Егорова. Этот букет я отнесу папе.

Она бережно расправила цветы, и в глазах ее блеснули слезы.

Шпион сунул нож в карман и, не сказав ни слова, пошел дальше.

На заставе Маруся говорила:

— Я встретила красноармейца. Я сказала, как меня зовут, и странно, что он смеялся и пел песни.

Тогда командир нахмурился, крикнул дежурного и приказал отрядить за этим “веселым” человеком погоню.

Всадники умчались, а Маруся вышла на крутой берег и положила свой букет на свежую могилу отца, только вчера убитого в пограничной перестрелке».

Тут есть тайна, завязка, кульминация и развязка, есть сюжет, три живых персонажа и один мертвый, пейзаж, место и время действия, эпоха действия, атмосфера страны, психология дочери пограничника, есть узнаваемый стиль автора.

И на все — 147 слов, 970 знаков!

* * *

Отовсюду слышу: фуагра, фуагра, а когда наконец узнал, что это такое, в памяти всплыла фаворитка Петра I Анна Монс: «...в парусиновых мешках, высушив головы, висели гусыни, — их за две недели, перед тем как резать, откармливали орехами; Анхен сама каждой гусыне, осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе...» (А. Толстой. «Петр Первый»). А еще в романе за польским столом едят жареных пиявок с гусиной кровью. Тьфу!

* * *

Ключ от каюты в кармане... сколько раз и как давно это со мною было и, судя по всему, уже никогда не будет.

* * *

«Я все более не жалею о том, что не выпало крутой судьбы, с нею богатства и проч., но тишина досталась вместе с незаметностью». В.А. Жуковский.

Григорий Кружков

Революция снизу

Айсберг

А что, моя радость, у нас впереди? —
Не надо, не спрашивай, не береги.
Я знаю — растаять мне вскоре,
как льдине в Саргассовом море.

Я — мёрзлая глыба, ты — тёплый Гольфстрим,
я — айсберг, согретый дыханьем твоим,
согретый дыханием с юга
почти у Полярного круга.

Прости же, подруга. Ты — тайна моя,
струя сокровенных глубин, что меня
незримо ласкает и точит
(не зная, чего она хочет), —

пока этот замок огней, этот сон,
играющий гранями *иллюзион*,
приданое Герды и Кая,
хрустальною дружкой сверкая,

не сделает переворот оверкиль —
и всё, что приснилось, рассыплется в пыль;
останется только дорога
отсюда до Господа Бога —

да тот, кто плывёт по течению дней
туда, где теплее —
теплей —
горячей,
где истинно можно поклониться:
всё прежнее — только прохлада.

Любовь как двуручная пила

Любовь — это двуручная пила, которой пилят сосну,
или всё вместе: и пила, и смола, и голоса
других пильщиков невдалеке.

Совершенно не обязательно, что любят тех, которые
 умеют классно пилить,
 многим нравится, когда дергают и пищат
 и быстро устают.
 Этими тёплыми опилками
 можно выстлать гнездо...
 Но даже самая идеальная любовь
 не может
 не пилить сук.

Шатры

Над высью пламенной Синая...
И. Анненский

Рыжие скалы Синая,
Отблеск в волнах золотой.
Линия волосаяная
Между тобою и той.

В парке цветут иммортели.
Рыжий, песчанику в масть,
Кот одноглазый в отеле
Держит хозяйскую власть.

На берегу под обрывом
Пляжный непрочен уют,
И муэдзины с подвывом
О непостижном поют.

Белые пятна проказы
Втоптаны в жёлтый песок.
Так отдыхай, одноглазый,
Навоевался ты впрок.

Пусть тебе снятся, сияя,
Как золотые дары,
Рыжие скалы Синая,
Близкого неба шатры.

Сезонное

Из окна

Ваня с Маней во дворе —
Парень с девкой, липа с клёном —
Загрустили в октябре
О своем, вечнозелёном.

Что зима недалека,
Всей корою знают оба —
И раздевшись донага,
Вздрагивают от озноба.

Оранжевая революция

Только, пожалуйста, не фыркай.
Я сам это видел. Таял снег.

И вдруг... из земли выколупнулась дырка,
А из дырки выколупнулся человек.

Я подумал: можно свихнуться!
Человек был оранжевый, без усов.
Я спросил его: — Неужто началась революция?
Революция снизу? То есть, с самых низов?

Он покачал головой: мол, не спрашивай...
Весь таинственный, как рыбак.
Но тут подошёл другой оранжевый,
И они пошли. Наверно, в кабак.

**Вид града Москвы
в лето 2014 от Р. Х.**

Воробью приткнуться некуда
От колёс. А человеку-то
И подавно.
Люди древние
Жили лучше,
Задумшевные.

* * *

На прогулке

Грабать холодный миновал
и наступил Саврасов смутный —
щемящий, зябкий, неуютный —
и неба дрожь нарисовал.

Сгибаясь под крикливой ношей,
стоят берёзки, погрузнев,
и грач в сугробе — как галоша,
нашедшаяся по весне.

Екатерина Кюне

Соседка

1.

Запах извести знаешь? Приснился запах извести. Противней всего, когда гасишь. Она бурлит и воняет химической реакцией. И когда после с синькой в тазу колотишь, пахнет как сумасшедшая. А сухая беленая стена уже не пахнет. Только если подмокнет, а сильнее всего, когда известь мокрыми потемневшими кусками вместе со штукатуркой отваливается. И Курочкин протянул куда-то руку и поставил перед дочерью оцинкованное ведро, из которого торчали обломки побеленной стены. Мокрый запах пополз из ведра. От него Курочкин проснулся, как всегда просыпался, когда ему снился этот запах. А он снился несколько раз за последние недели. Запах и какое-нибудь непреодолимое препятствие. Камера велосипеда, которая никак не накачивалась. Утюг, который не получалось починить. Но теперь совсем уж белиберда: во сне он зачем-то рассказывает дочери свой сон. Наяву он никому ничего не рассказывал и не собирался. Чепуха это все, винегрет из причудливо нарубленных дневных впечатлений. Не о чем там думать. Курочкин услышал, как во дворе жена зовет собаку, вспомнил, что для собачьей похлебки остался последний суповой набор, что нужно сегодня пораньше поехать на рынок, чтобы застать хорошие кости. Он протянул руку, надел очки, посмотрел на часы и, убедившись, что давно пора вставать, стал делать утренние дыхательные упражнения.

И все же известка снилась неслучайно. Два года назад, после неудачной операции, Тоня, соседка Курочкиных, живущая через кладбищенскую площадь, ослепла. «И ведь говорили ей — зачем тебе на старости лет рисковать, но она как наивная». Сколько Курочкин помнил Тоню, она в старушечьей косынке сидела у входа на кладбище над ведрами с цветами. Цветы выращивала ее мать. Он даже не выдерживал пару раз: «Что ты сидишь как старуха, ты же на три года моложе меня!». Цветы хорошо брали, особенно по воскресеньям и церковным праздникам.

Бывало, женщины просили Курочкина помочь: обобрать высокую старую сливу, починить электроприбор. Курочкин помогал и не брал предложенную плату. Жена ворчала на него за это, но он коротко «отгавкивался» и уходил подвязывать помидоры. Бабки были жадные, и если давали деньги, то такие смехотворные и так отчаянно жалуясь на бедность, что Курочкину всегда становилась неудобно и он побыстрее уходил. Даже если они расплачивались излишками — грушами, сливами, то всегда выбирали ведро поменьше и чтобы фрукты в нем были поплюгавее.

Когда Тоня ослепла, мать ее уже умерла. Из родственников был один племянник, он приезжал раз в неделю, закупал продукты, помогал по хозяйству. Он отдал Тоне свой старый мобильник и настроил на нем горячие кнопки, чтобы она в случае чего могла позвонить. Но первое время она звонила редко, а чаще выходила из дома с палочкой и, отойдя на метр от калитки, затравленно тыкалась в пустоту, пока кто-нибудь из прохожих не доводил ее через площадь до калитки Курочкиных. Переходить через площадь одна она боялась, и сколько Курочкин ни тренировал ее,водя туда-сюда за руку, ей казалось, что одна она непременно заблукается, выйдет на проезжую часть и ее собьет машина. Единственный маршрут, который она освоила где-то за год, — до церкви при кладбище. Туда можно было все время идти по бордюру, а подняться на ступеньки при входе охотно помогали.

В тот год у Курочкиных было много крупной моркови, он накопал пучок и решил угостить Тоню. К тому моменту она была слепой уже полтора года и по идее должна была привыкнуть. Он позвонил в калитку, но никто не открывал. Курочкин снял защелку, поднялся на веранду и кликнул Тоню. «В огороде сидит, не слышит» — решил Курочкин, когда никто не отозвался. Он двинулся в огород, из-за отложения солей в колене прихрамывая на левую ногу. Тоню он нашел за летней кухней. Она стояла, уткнувшись лицом в стену. С одной стороны ей преграждала путь большая жестяная бочка с дождевой водой, с другой — старый виноградник. Во время дождя вода отбрызгивала от бочки, стена подмокла и выразительно пахла известкой. «Почему же ты бочку не обошла? — допытывался пораженный Курочкин, ведя Тоню в дом, — что же ты огорода своего не знаешь, что ли?» Оказалось, Тоня простояла там, у стены, несколько часов. Вот откуда была известка во сне.

Чаще всего Тоня просила Курочкина что-нибудь купить. Он и без этого ездил на рынок и ходил по магазинам. Но иногда Курочкин собирался на рынок только завтра, а Тоня жаловалась, что покупки нужны ей непременно сегодня. И каждый раз, когда он отдавал пакет, Тоня, не имевшая возможности заглянуть в чек, подозрительно выспрашивала: «Что же, так молоко подорожало?». «Что-то легкий пакет...». И потом слепыми пальцами долго пересчитывала сдачу. «Ты думаешь, я тебя дурить буду? Ты что, первый день меня знаешь?» — обижался Курочкин и решал, что в следующий раз откажет Тоне. «Женя, она привыкла чужими руками жар загребать, всю жизнь у матери на загривках просидела, теперь ты ей потакаешь. Пусть бы племяннику звонила! Ты не видишь, что она все больше наглеет?! И что же она к другим не ходит по-соседски, или ты у нее один сосед?» — обрабатывала его жена. И хотя он рационально понимал, что жена права, внутренне он с ней не соглашался. Что-нибудь приходило ему на ум — то, как Тоня стояла, уткнувшись в летнюю кухню, то, как тыкалась в пустоту на краю площади, и он думал: что она шипит и шипит как безжалостная... И молча уходил на огород. Но когда однажды Тоня, не дозвонившись на мобильный, позвонила на домашний, и жена, взявшая трубку, грубо ее отшила, Курочкин почувствовал облегчение.

Он не добился толком от жены, что именно она сказала Тоне. Но Тоня перестала ходить, а впервые позвонила где-то спустя месяц, извиняющимся голосом попросила прийти к ней. «Я не дома, в Краснодаре» — ответил ей Курочкин, который и вправду гостил в Краснодаре у двоюродного брата. Но Тоня, видно, истолковала это по-своему и больше уже никогда не звонила.

2.

Когда приезжало местное телевидение, Курочкин был на рынке, выбирал суповые наборы для собаки и комбикорм для кур, привязывал к багажнику велосипеда полмешка картошки. Он узнал о телевидении от соседки, она видела девушку и мужчину с камерой и даже сказала несколько слов в микрофон. Сюжет снимали о том, как невидящая пожилая женщина-инвалид умерла от истощения, потому что единственный родственник запил и перестал приезжать и покупать ей продукты. В десять часов в вечерних новостях должны были показывать. Зная, какой Курочкин рассеянный, соседка для верности позвонила его жене. «Как будто в жизни на нее не насмотрелись... телезвезда... думает, я буду весь вечер выжидать у телевизора, когда она мелькнет на секунду!» — насмешливо говорила жена, не прекращая шинковать капусту на борщ. Курочкин хотел возразить, что передача-то ведь будет не о том, но настроение было такое скверное, что не хотелось открывать рта. Сил не было. Да и тот тон, в котором жена обсуждала произошедшее, резал Курочкину слух. «Не о том, а ты как бесчувственная» — подумал он и сел на диван. После слепящего глаза солнца приятно было посидеть в полутемной комнате. Курочкин по привычке взял с полки большую тетрадь с растрепавшимися углами, желтыми веерами торчащими из-под зеленой обложки, достал из нагрудного кармана ручку и сложенный вчетверо листок, надписал в тетради сегодняшнее число и стал переносить показания уличного термометра. Он снимал показания трижды в день на протяжении двадцати двух лет. Раньше ему не приходилось записывать на листок — он легко удерживал их в памяти. Но два года назад Курочкин обнаружил, что если сразу же не фиксирует утреннюю температуру, то к обеду уже не может вспомнить. Как раз в те же дни, когда он сделал это неприятное открытие, Тоня собралась на операцию. Их разговор он глубоко запомнил, потому что и сам с восемнадцати лет носил очки. Теперь, когда старость примирила его с пожизненным очкарьством, новость о том, что можно сделать операцию и вернуть зрение школьных времен, показалась важным письмом, пришедшим с опозданием на двадцать лет. «Зачем тебе на старости лет, только деньги тратить», — сказал он тогда Тоне. Но вышло еще хуже — сначала слепота, а потом и вовсе... Выходит, в могилу себя загнала через эту операцию.

Курочкин сделал запись, пультом включил телевизор и впал в задумчивую полудрему. В последнее время его мучила бессонница и он не засыпал раньше четырех утра, а утром все равно надо было вставать — выпускать и кормить кур. И потом он весь день клевал носом. Но сегодня у него никак не получалось задремать из-за мыслей.

Курочкин невольно представлял себя на месте Тони. Как она совершенно одна лежит в голодной, непротопленной темноте, тело ее тяжело от слабости. Плохими зубами Тоня жует пустой воздух, полощет им рот, сама себя заборматывая. Временами ей страшно делается, и она зовет кого-то — умершую мать, вдвоем с которой прожила большую часть жизни, племянника, соседей. Курочкин слышит ее растрескавшийся голос, и он словно гвоздь входит ему в грудь. Несколько раз Тоня решается идти к соседям, но каждый раз ее что-то останавливает: то она представляет, как ей придется переходить площадь на ослабевших дрожащих ногах, и ее стреножит страх, то она вспоминает, как ее застыдила соседка, и убеждает себя, что идти никуда не надо, потому что с минуты на минуту придет племянник, надо тихонько подождать. «Да что же это! — ругается при этой мысли Курочкин, — хоть бы за калитку вышла, а там уж ее увидели бы. Нет, заховалась и сидела как дура!» И вот уже она и рада бы пойти, да не может двигать тяжелых ног, хочет встать, но не хватает сил согнать с груди что-

то тугое, тяжелое, что сидит там и давит, мешает дышать. А он, Курочкин, в это самое время в тридцати метрах от Тони у себя во дворе сытно ест борщ с белым хлебом и чесноком, дает собаке полный казан мясных костей с кашей, кидает курам подпорченные яблоки, целый ящик которых затерялся и пропал в сарае, и куры бросаются на яблоки как сумасшедшие, жадно бьют крыльями, лезут по головам друг друга. Как же это так вышло? — очередной раз приходит Курочкин к одному и тому же вопросу и останавливается на нем, не желая формулировать ответ.

Он знает, что это он виноват. Он пошел на поводу у жены, он не зашел к Тоне, когда вернулся тогда из Краснодара. Но что теперь сделаешь? Теперь ничего не исправить. Да и кто знал, что этот племянник неожиданно окажется алкоголиком и уйдет в запой. Мелькнула мысль позвонить и рассказать дочери, но Курочкин глянул на часы, понял, что она еще на работе, и не стал.

Он выключил телевизор и засобирался к знакомому, который достраивал дом и нанял его помочь с проводкой. Жена, узнав, что Курочкин уходит, задержала его: «У тебя рубашка не на те пуговицы застегнута. И кепку бы переменял, я же купила тебе новую». И она бережно расстегнула его рубашку в крупную светло-зеленую клетку и перестегнула по новой.

3.

Курочкин шел к знакомому, привычно чуть меньше нагружая больную левую ногу, чем правую, и размышлял. В детстве он думал, что мертвые уходят в землю и отлеживаются там перед длинным-длинным бессмертием. Потом он прочел, что люди родились из космических недр, сделались из звезд, а после смерти прорастают пролесками и другими кладбищенскими растениями. А дальше у Курочкина появилось слишком много дел и ему стало некогда думать о смерти. А когда дела были переделаны и на сберкнижку стала приходиться пенсия, оказалось, что он забыл, во что верил в молодости, как он разбирал и взвешивал разные теории, и теперь все они стали казаться ему отвлеченными, надуманными и чужими. Он знал только, что если во время цветения абрикоса ночью ударит заморозок, то нужно жечь костер, чтобы теплый дым пеленал дерево, иначе оно может погибнуть. Знал, как спасти от гибели и болезней помидоры, когда и чем лучше опрыскивать черешню, чтобы она не была червивой. Но все это было вокруг да около, и все не о том. Казалось, в его жизни что-то нарушилось, словно кирпич вывалился из стены и в образовавшуюся дыру засквозило чужим холодком. И, чтобы исправить это, надо было что-то сделать. Но что именно? Церковь? Соседка похвалялась Курочкину, что хоть и не любила Тоню при жизни, а поставила за нее свечку в церкви за двадцать рублей и заказала сорокоуст за сто пятьдесят. Но это смешно даже, все равно что вместо замков дверь молитвой запечатывать и ждать, что это остановит вора. А что еще? Никакого продолжения у Тони нет: ни детей, ни внуков, даже пса от себя не оставила. С этими мыслями Курочкин пришел к знакомому, они же крутились у него в голове на следующий день, пока он поливал огурцы, помидоры и перец. И в конце концов Курочкин нащупал действие, которое, как ему интуитивно казалось, ликвидирует образовавшуюся дыру. Живое и мертвое по разные стороны баррикад, и действие это, конечно, не могло ничего изменить, как и любые посмертные ритуалы. Курочкин вовсе не верил, что все эти украшения мертвецов и могил помогают ушедшим лучше устроиться в смерти, скорее, они способствуют спокойному течению жизни оставшихся.

4.

Курочкин шел на кладбище с белым пакетом-майкой и букетом лиловой сирени, которой он нарезал с жениного куста у калитки. Перед выходом на Курочкина напало необыкновенное для него торжественное настроение и, повинаясь ему, он аккуратно расчесал перед зеркалом остатки седых волос и передел рубашку. Выйдя на площадь, Курочкин разглядел возле кладбищенских ворот сгорбленную бабульку в пестрой косынке, у ног которой стояло полное ведро пионов. «Тоня!» — по привычке сверкнуло в первое мгновение, но тут же Курочкин осознал, что это уже появилась смена, новая торговка букетами, сама как цветок выросшая на месте зачахшего растения. Быстро у них...

Курочкин поравнялся с ней, и она вдруг заулыбалась и обратилась к нему по имени.

— Женя, ты смотри, цветы так не оставляй — украдут и завтра на базаре продадут. Обломай стебли коротко.

Курочкин всмотрелся в ее лицо, оно показалось знакомым. «Живет где-то тут рядом», — решил он и поздоровался.

— И еду если несешь, смотри, бомжи растащат, — продолжала бабулька, осмотрев пакет Курочкина. — Тут ходил один мужик, так он иголки в пирожках запекал. Но иголки — не по-христиански. Лучше известки накрошить или земли. Тут бомжей полно крутится. Только и выжидают.

Бомжи! Да и алкоголики, разные цыгане... Как же я не учел... Еще и накупил дорогого, как дурак... Но пока Курочкин дошел до могилы, которая была на самом краю кладбища, он решил, что не будет ничего сыпать в еду и упругих веток сирени, которые еще попробуй сломай, не обсыпав цветов, трогать не станет. Он чувствовал в этом какое-то отдаленное, неясное сходство с тем, чтобы отказаться помогать Тоне, потому что она наглеет. Ну и найдут бомжи, и будет у них пир, как у нормальных. А так бы вороны растащили. Это же все в память, символически. И Курочкин сел на теплое, освещенное вечерним солнцем дерево лавочки, вкопанной сбоку от свежего креста и, взглянув на фотографию, смутился. «Я вот тут...» — взявшись за пакет проговорился он, неожиданно для самого себя, вслух, и тут же заозирался — не слушает ли кто посторонний. Но кладбище было пусто, только птица отчаянно пела в кустах и время от времени напускался мягкий тихий ветер. Тогда Курочкин стал доставать из пакета продукты и аккуратно раскладывать их на краю лавки. И ему казалось, что кто-то присутствует при этом и наблюдает за ним тепло, без обиды, с благодарностью.

Саша Филипенко

Травля

фрагмент романа

***Соната** (итал. *sonare* — звучать) — жанр инструментальной музыки, а также музыкальная форма, называемая сонатной формой. Сочиняется для камерного состава инструментов и фортепиано. Как правило, соло или дуэта.*

Соната состоит из трех частей. Первая часть всегда быстрая, стремительная, вторая, наоборот, медленная и размеренная, ей на смену приходит заключительная часть, которая пишется в духе первой (то есть быстрая). От сюиты соната отличается тем, что все части связаны между собой.

ВСТУПЛЕНИЕ

Затакт. Мы бежим по платформе. Поезд вот-вот тронется. Я с виолончелью, Марк с чемоданами. Друг едва поспевает за мной. Марку тяжело. Еще в школе он получил прозвище Центнер.

— Лев, я больше не могу! Остановись! Я сейчас сдохну! Зачем мы вообще премя в Швейцарию, если через два дня у тебя концерт в Вероне?!

— Не будет никакого концерта...

— Что?!

Милан — Лугано — всего час пути. Выборочный паспортный контроль, кусочки Комо в окне. Первые двадцать минут Марк пытается отдышаться, затем изводит меня:

— Что ты имел в виду?

— Что слышал...

— Ты это все из-за вчерашнего концерта?

Первая доля. Я молчу. Говорить не хочется. Вместо слов я передаю другу iPad. Восемь открытых «окон». Столько же разгромных статей. Меня называют главным разочарованием 2014 года. Выступление, к которому я готовился несколько недель, провалено. Бедный Рахманинов. Все краски досады. Соната, которую и без того считают слишком эмоциональной, по мнению миланских критиков, исполнена вульгарно.

— Господи, и дело только в этом?! Ты так расстраиваешься из-за каких-то макаронников? Да ты посмотри, во что они превратили свой футбол! Я уже не говорю про театр!

— Марк, прошу тебя, заткнись!

— Я-то заткнусь! Я обязательно заткнусь! Я очень легко заткнусь, если ты пообещаешь мне, что мы вернемся в Верону!

— Мы не вернемся.

— Лев, ты хоть понимаешь, что говоришь? Все билеты проданы! Я даже представить себе не могу, какой будет скандал?!

— Ты же у нас импресарио. Придумай что-нибудь. Напиши, что у меня температура.

— Температура Рахманинову не помеха! Даже наоборот! К тому же все подумают, что после миланского провала ты просто зассал!

— Отец твой зассал! Значит, ты тоже считаешь, что это был провал?

— Нет, я так не считаю. Ну, перегнул ты немного с эмоциями, но с кем не бывает? Что ты так серьезно относишься к этим писулькам? Они же критики — они для того и существуют, чтобы что-то писать. Ответ лучше честно — это все из-за твоего брата, да?

Да. На перроне мы узнаем, что озеро вышло из берегов. Маленькие пирсы скрылись под водой. Выше обычного поднялись катамараны. Набережную затопило. Глядя на нашу обувь, сотрудник фуникулера советует спуститься в город на такси. Я против, но Марк говорит «sì». Путь от вокзала до гостиницы занимает полторы минуты. Таксист улыбается, Марк отсчитывает тридцать франков.

Номер оказывается просторным. Вид на озеро и горы. Это, безусловно, самый печальный пейзаж, который я когда-либо наблюдал. В моей голове «Лебедь» Сен-Санса. Обычно я исполняю его на бис. Всегда, но только не вчера. Вчера я сбежал со сцены. Мне страшно. Я ставлю виолончель на ребро и спускаюсь вниз.

Официант натирает бокалы. Над ликерами, в экране маленького телевизора, знаменитая актриса подходит к телефону: «Нам нужно поговорить — это важно!» — слышит она. Что правда, то правда, поговорить нам действительно важно. За этим я и приехал сюда. Более того, человек, ради которого я изменил маршрут, сидит всего в нескольких метрах от меня. На кофейном столике вибрирует его телефон. Человеку все равно. За окном, в вышедшем из берегов озере Лугано, утопает всё.

Я барахлю. За несколько недель я так и не смог подобрать нужных слов. Никаких идей. Во мне беспорядок. Зная всю историю от начала и до самого конца, я не решаюсь заговорить. За большим окном начинается дождь. По стеклу катятся первые капли. Некстати спускается Марк.

—А-а-а, решил пропустить рюмашечку? Вот это я понимаю! Вот это подход! Что будешь? Граппу? Негрони? Самбуку?

— Центнер, я тебя очень прошу, отвали!

— Дружище, да что с тобой?

— Ты слышишь, что я говорю? Оставь меня!

Центнер цокает. Я знаю, что он не обиделся. Марк никогда не обижается. Он очень любит меня. Марк уходит.

— Добрый день! — по-русски, довольно громко, начинаю я. Мужчина, который все это время смотрел в окно, не отвечает. Что ж, — была не была — я беру со стойки бокал вина и подхожу к его столику.

— Добрый день! Это я только что к вам обращался. Меня зовут Лев, Лев Смыслов. — Никакой реакции. Будто меня и нет вовсе. Точь-в-точь как после финального аккорда вчера. Великая тишина.

— Несколько недель назад мне позвонил Артур, мой старший брат. Признаться, я был немного удивлен, потому что мы никогда особенно не общались. Знаете, десять лет — слишком плохая разница. В последнее время Артур жил в Москве. Раз в год он приезжал на день рождения мамы, раз в месяц, пока мы в этом нуждались, переводил деньги. Я часто бывал с концертами в столице, но

Артур ни разу не посетил их. Я никогда не сердился. Такое бывает. Такие отношения. Я всегда понимал, что классическая музыка Артура мало интересует. Вряд ли он смог бы отличить Баха от Шостаковича, хотя, по словам мамы, в детстве обожал смотреть на похороны вождей. Вы наверняка помните все эти венки, штывы и лафеты. И, конечно же, траурную подложку: Альбинони, Шопен. Мама рассказывала, что Артур мог часами сидеть перед телевизором. Впрочем, я не об этом.

Брат позвонил в воскресенье. Я хорошо помню тот день, потому что как раз сел разбирать сонату Рахманинова. Я всегда мечтал исполнить это произведение, но все как-то не доводилось. «У тебя есть шенгенская виза?» — спросил он. «Есть», — ответил я. «Отлично, тогда прилетай в Прагу! Срочно! Я все объясню!»

Я ничего не понял, но подумал, что прилететь могу. Уже следующим утром я приземлился в Праге. В аэропорту, как и было оговорено, меня встретил водитель. Через два с лишним часа я вошел в ресторан гостиницы «Савой» в Карловых Варах.

Непрошедшее

из речей, произнесенных на церемониях вручения премий «Знамени»

Григорий Бакланов (1923–2009)

Лауреат 1994 года за большой личный вклад в деятельность журнала «Знамя»

Так называемые толстые журналы с большим усердием хоронят уже не первый год в различных статьях, в различных газетах, в том числе — в «Литературной газете». Отчего такая страсть? Давайте посмотрим: все лучшее, что нашло читателя, признано критикой, отмечено премиями «Букер», «Триумф» и т.д. и т.п., все это было напечатано в толстых журналах. И молодых, недавно еще никому не известных, а теперь известных и ценимых писателей, всех их за руку вывели к читателю толстые журналы. Так что, лучше, если бы всего этого не было? Журнал «Знамя», напечатавший в одном году роман Георгия Владимова «Генерал и его армия» и роман Владимира Войновича «Замысел», даже если бы ничего существенного на его страницах больше не появилось, уже может сказать, что год прожит не зря.

Издавать сегодня толстый журнал необычайно трудно. Издавать сегодня толстые журналы необходимо. Рухнули на глазах крупнейшие государственные издательства, а уж, казалось бы, как крепко стояли. Рухнула плановая система изданий. Хороша ли она была или плоха, но была. Издательства частные только-только собираются с силами. А книжные прилавки и лотки захлестнуло чтиво самое низкопробное.

Литература пока еще жива в толстых журналах. Да и что может заменить это привычное для россиян, для российской интеллигенции удовольствие и потребность: раз в месяц вынуть из почтового ящика журнал, это небольшое собрание сочинений, ранее нигде не печатавшихся? И — прочесть. Почему непременно надо и это отнять, когда столько уже отнято? Или все еще исповедуем принцип «до основания, а затем...». «До основания» у нас всегда неплохо получалось, хуже удавалось «а затем...».

Семь лет я редактировал журнал «Знамя», и ни один год из этих семи не был легким. Но именно этот опыт дает мне право сказать: толстые журналы не ожидают скорая кончина, если они в надежных руках.

Георгий Владимов (1931–2003)

Лауреат 1994 года за роман «Генерал и его армия» (№№ 4, 5)

Сегодня просвещенный патриотизм сводится к тому, чтобы не желать победы своей родине. Чем так провинились они перед нами, гордые чеченцы, что мы их все покоряем и покоряем, что старший брат все вымогает любовь младшего и добывается лишь законной ненависти? То, что творится вновь под небом воюющей России, показывает нам, в какое зыбкое время мы живем и как прост переход от мира к бойне. Боюсь, мы еще увидим, как вся страна пожелает мира, а война будет продолжаться, потому что так пожелает один, от которого все за-

висит, и те немногие, кто его окружает и кому это выгодно. А в основе непостижимого упрямства — даже не генеральская дурь, которая на самом деле есть разновидность русского ума, но особая обкомовская спесь, порождение семидесяти советских лет.

Получив слово, к кому обратиться, кроме вас, кто мое мнение и без того разделяет? Может быть, к женщине, которой надлежит быть началом умиротворяющим, но чьего влияния мы до сих пор не ощутили? А ведь Вы, Наина Иосифовна Ельцина, не только первая леди Российской Федерации, должна заботиться обо всех в ней живущих, Вы еще и жена главнокомандующего. Фельдмаршал Кутузов оценивал жену главнокомандующего в две дивизии, так высоко ставил ее роль в успехе или неуспехе кампании. Есть же в России традиция самостоятельного участия женщины, жены в политической жизни, зачастую не зависимо от позиции супруга. Так жены декабристов, не разделяя экстремизма своих мужей, едва ли зная об их замыслах, выиграли сражение, ими проигранное. Так великая княгиня Елизавета Федоровна вошла в камеру террориста и простила его, кто сделал ее вдовой. Так в недавние годы жена Сахарова ему нередко противоречила — и тем помогала найти решение. Я это наблюдал и свидетельствую. Супруг Ваш производит впечатление человека, уже не способного слушать никого, кроме своих, неведомых нам, информаторов; и разве только жена, которую он не заподозрит в интригах и в желании отобрать власть, сможет ему раскрыть глаза. Вас не видно в дорогих магазинах модной одежды и косметики, но не думаю, чтобы Вы остались равнодушны и бездеятельны к тому, что могли бы увидеть по телевизору. Или российское телевидение Вам не показывает то, что ужасает весь мир? Так попросите внуков настроить Ваш телевизор на любую русскую станцию. Вы услышите и поймете, что война уже проиграна морально — в тот час, когда не российский президент, а чеченец Дудаев, имеющий право и обязанный сопротивляться, призвал свои войска прекратить борьбу. Но можно, сделав ответный благородный шаг, все же сохранить большее, чем президентство, для некоторых большее, чем жизнь, сохранить — честь. Мы живем в стране, где покаяние всегда запаздывало, но никогда не оказывалось излишним.

Борис Дубин (1946–2014)

Лауреат 1994 года за статью «Идеология бесструктурности» (№ 11)

Большинство групп, сил, фигур в обществе перестали не только слушать друг друга, но и интересоваться друг другом, быть друг для друга хоть в каком-то отношении значимыми, важными, авторитетными. Однако общее равнодушие вряд ли может извинить тех, кто полагал себя «держателями культуры», «совестью народа», «солью земли». Интеллигенция проявляет здесь, с одной стороны, культурную неспособность и нежелание понимать другого, а с другой — простую некомпетентность, обычное невежество, неумение знать. Дело даже не в имперской позе по отношению «к другим по “пятой графе”». Дело в потере очень важного элемента интеллектуальной жизни — любопытства, увлеченности, живости социального воображения, которые не надо путать с впечатлительностью, оттачиваемой на сопереживании героям литературы. Чуть ли не общепринятой — в средствах массовой информации, на всевозможных заседаниях, «круглых столах» и т.п. — стала демонстрация показного равнодушия и наплевательства к точке зрения, к жизни другого с соответствующей интонацией, выбором не только выражений, но и прямых действий. При этом в образованном слое, в печати, на телевидении идут невротические поиски коллективного

«Мы», которое де в очередной «катастрофе» потеряли. Снова затмевающим все на свете становится наспех перекрашенное «прошлое». Роняются полные государственной озабоченности слова о «тяжком бремени державности», «целостности и неделимости России», «праве на насилие».

Слой людей, сам смысл существования которых долгие десятилетия связывался — в том числе ими самими — со смутным недовольством нарастающей в обществе стагнацией, с поисками цивилизованных путей развития, с надеждами на какое-то не звероподобное существование в мире, в стране, на улице, в семье, во многом первым же и обнаружил неспособность к переменам, ответили на них, на самые начальные их приметы нарастающей паникой, растерянностью, агрессией и консерватизмом. По последним данным наших опросов, образованные слои демонстрируют сегодня куда большие державность, ксенофобию и агрессию, чем население в среднем.

Петр Вайль (1949–2009)

Лауреат 1994 года за эссе «Великий город, окраина империи» (№ 10)

Каждый здесь представлен своим видом и жанром, которым, надо полагать, гордится — иначе не стал бы в нем выступать. В этом смысле человек, как-то отождествленный с «литературной критикой», испытывает некоторое смущение — неизбежное, по-моему. То, что привело меня в эту, повторяю, замечательную компанию, критикой, строго говоря, не является — если, конечно, не отбросить строгость и не счесть критикой всякое суждение вообще. Я тут примыкаю к армии литераторов, имеющих нахальство обнародовать взгляд и нечто. В идеале этого жанра — прямой и внятный авторский взгляд на выбранный предмет, по ходу распадающийся на множественные любопытные нечто. Иначе говоря — эссе.

И тут мы обнаруживаем то, о чем и так на самом деле знали. То, что русская литературная критика и была всегда, по сути, эссеистикой.

Вероятно, это свойство языка, отсутствие в нем лапидарности. Расползание в дебри причастных и деепричастных оборотов, углубление в чащи сложносочиненных и сложноподчиненных придаточных — не могло не привести к растеканию мысли по древу, хорошо еще, если познания. В этом сила и слава нашей литературной критики, в этом — ее явная слабость.

У нас считается презренным главный служебный жанр критики — рецензия. Между тем это единственный способ организации культурного процесса, превращения его из хаотической массы фактов в структуру, доступную наблюдению. Но мы все пишем эссе.

Этим же занимаются и армии литераторов на Западе. И расхожее представление о резком различии русского интеллигента и западного интеллектуала — миф. Легенда о целенаправленных профессионалах покоится в конечном счете на разнице в уровне жизни. Если хорошо живут — значит, все делают конкретное дело. Это верно лишь отчасти. Прожив семнадцать лет в самой профессионализированной стране мира, я знаю, что тут полно типичных интеллигентов российского пошиба, которым искренне есть дело до чего-то еще помимо работы и семьи: в том числе и до того, что не имеет немедленного прикладного значения.

Естественный жанр для человека такого мироощущения — эссе. Или, если угодно, литературная критика, — понимается как критический взгляд литератора на всякое нечто. По все стороны океана.

Другое дело, что, хорошо бы, рядом с эссеистами трудились профессионалы культурного процесса — рецензенты. И, конечно, полноценная литературная критика состоит из двух этих составляющих. У нас же, в силу множества известных обстоятельств, литература издавна рассчитывалась за все происходящее в обществе и оттого заняла высокую позицию, вдалеке от низин служебного жанра. Его нет, как нет среднего класса западного типа. Подозреваю — и не будет, во всяком случае, в таком виде и под таким именем. Средний для нас — не срединный, а посредственный.

Будет, как и во всем прочем, — свое. Русская культура, пережив захлеб свободы, порыв истерической любви к Западу и столь же неистовое его отрицание, начинает приобретать спокойное достойное самосознание. А с ним — и органичные его формы. Виды, стили, жанры — остаются и останутся свои, естественные, ненатужные: эпический роман, жизнеподобное кино, психологический театр, фигуративная живопись, городской романс. Литературно-критическое эссе. Взгляд и нечто.

Эмма Герштейн (1903–2002)

Лауреат 1995 года за публикацию «Анна Ахматова и Лев Гумилев: размышления свидетеля» (№ 9)

Годы и десятилетия я выслушивала в разных редакциях одни и те же разговоры о каком-то таинственном «нашем читателе». Он чего-то не поймет, он чего-то требует, он заранее знает, что для него нужно писать. Дома у меня не хватало в столе места для возвращенных рукописей, последняя полетела уже под стол. Это было в 1984 году, перед 170-летием со дня рождения Лермонтова. В одном толстом журнале мою статью «Петербургская легенда о Лермонтове в “Бесах”» сочли «неюбилейной». С тех пор утекло много воды. Мы пишем теперь без оглядки. В «Знамени» меня никто ничем не пугал. Разные читатели звонят мне по телефону и говорят добрые слова. Эта волна человеческой теплоты приглушает мое не проходящее чувство ужаса перед идущей на Кавказе войной с ее звериным ожесточением.

В. Кардин (1921–2008)

Лауреат премии 1995 года за статью «Страсти и пристрастия» (№ 9)

С благодарностью принимая эту премию и блюдя верность обряду, полагаю возможным упомянуть о некоторых символах веры. Они сопряжены с реалистической литературой, доказавшей свою жизнестойкость даже тогда, когда режим, став заложником собственной идеологии и демагогии, ради ее сокрушения шел на чудовищные преступления.

Не претендуя на абсолютность разграничения, замечу: реализм выстрадан, «другая литература» выдумана. В первом случае не гарантируется успех, во втором — не исключается удача. Пестрота мыльных пузырей способна улаживать глаз. К тому же, лопаясь, они не сулят гибели — в отличие от разрывающихся снарядов, под гул которых мы живем второй год и которые как-то мешают любоваться радужными переливами.

Для моего поколения, начавшего относительно сознательную жизнь под пушечный гул и медсанбатские стоны, роковая действительность неотторжима от реализма так или иначе противостоящей ей литературы.

Лев Лосев (1937–2009)

Лауреат 1996 года за организацию рубрики «Иосиф Бродский: труды и дни»

Не знаю, уместно ли это, но мне хотелось бы воспользоваться случаем и сказать несколько слов о том, как мне видится из моего далека журнальная ситуация в России. Толстые журналы, об упадке которых много говорится, никогда еще на моей памяти не были так интересны, как сейчас. И покойный Иосиф дивился тому, как много талантливых стихов стали писать, — какой журнал ни откроешь, обязательно попадется что-то интересное, подписанное незнакомым именем. В прозу он, по правде говоря, не часто заглядывал, но, на мой взгляд, и в журнальной прозе, и в эссеистике сейчас подъем, сравнимый по разнообразию, творческой свободе и культурному пафосу текстов разве что с пресловутым Серебряным веком. О былом веке напоминают и элитарно ограниченные тиражи «Знамени», «Звезды» или «Нового мира». Говорят иногда, что толстый ежемесячник, эта своеобразная русская институция, порожденная запросами провинциальной интеллигенции девятнадцатого века, становится анахронизмом. Это не лишено оснований: при нынешней оперативности книгоиздания, наверное, следует отказаться от печатания в журналах романов с продолжением. По-моему, в толстых журналах проза и поэзия вообще должны отойти на второй план, уступив центральное место форуму идей, эссеистике.

Говорят также, что на смену толстому журналу идет глянцевая иллюстрированная периодика. Я ничего не имею против русского «Плейбоя» или «Пентахауза». Всегда есть нужда в изданиях специального назначения, используемых подростками и одинокими мужчинами. Что вызывает отвращение — это лакейские претензии на эстетство. (На днях мне попался номер журнала, по названию которого я сначала решил, что он посвящен домоводству. Оказалось, что он весь посвящен судорожным восторгам по поводу изящной жизни аристократии, т.е. взгляд именно лакейский, из прихожей. При этом почему-то с гомосексуальным оттенком. У меня нет предрассудков против однополрой любви как таковой, но томный лакейский взгляд, брошенный украдкой на раздетого барина, омерзителен.) Высоколобая литературная периодика должна существовать, хотя бы для защиты культуры от разгулявшейся пошлости.

Татьяна Бек (1949–2005)

Лауреат 1997 года за цикл стихотворений «В произвольном порядке» (№ 9)

Стихосложение было и остается для меня доморощенным, знахарским видом самоврачеванья в строчках: я выговаривалась — так больному в старину «пускали кровь» — и лишь таким образом душевно выживала.

Да, лирика — не газетный очерк, не репортаж с места событий и не фельетон. Однако она — с ее доминантой вечного в акмеистических дырах и каплях сиюминутного — она-то, лирика, по моему убеждению, осуществляется именно «здесь и теперь». Некичливое пристрастие к повседневности есть свобода поэтики, живущей меж высью вечного и опорой вещного.

Стихи, по которым грядущий археолог не смог бы установить хронотоп их создания (а время и место отражены как в реальной предметности, так и в мистике ритма: совокупность и есть современная музыка поэтического слова), — такие стихи всегда представлялись мне спесивыми, искусственными и в конечном счете не вполне живыми. Изящной словесности не обойтись без видимого мира, без вещи, без лопухов и лебеды натурального бытия. «И каждый стих гоня сквозь про-

зу», современный лирик стремится выразить себя и мир вокруг адекватно, в счастливых случаях — небезразлично для собратьев по лирическому волнению.

Итак, кривой автопортрет на фоне кривой яви написан — и если оказывается, что выражает он нечто более универсальное, чем твое частное «я» и твой отдельный хаос, — это и есть награда, это и есть преодоление одиночества и чужести, это и есть твое творческое *не зря*.

Юрий Давыдов (1924–2002)

Лауреат 1998 года за первую книгу романа «Бестселлер» (№№ 11, 12)

Напомню анекдотец.

На Дальнем Севере спросили старика-кочевника, какие чувства им владели до революции? Ответил: холода и голода. Спросили: а после Октября? Ответил: голода и холода, однако и глубокой благодарности.

Сейчас и здесь я говорю с нажимом об этом чувстве. Я стал лауреатом премии «Аванс». Единственным. И мною открывается эпоха.

Когда-то Кукольник поднес России драму «Рука Всевышнего отечество спасла». Насмешник отозвался эпиграммой:

Рука Всевышнего

Поэту ход дала...

Наш брат призывно-ласково глядит на спонсоров. И повторяет:

— Рука дающего да не скудеет. Спасибо вам скажет русский народ. И ножкой шаркнет русскоязычный.

Давать авансы — значит обнадежить получением авизо.

Александр Агеев (1956–2008)

Лауреат 1999 года за статью «Город на “третьем пути”» (№ 9)

Сочиняя эту статью, я обрел некий личный опыт выхода из комфортного тупика под названием «Сделать ничего нельзя», как-то так глубоко рассердился на себя, современников и соотечественников, и это отразилось в статье. И вызвало — к моему немалому удивлению — отклик. Тешу себя надеждой, что мое настроение некоторым образом совпало с настроениями довольно большого числа людей из мировоззренчески близкого мне круга — статью читали, обсуждали, с ней полемизировали. Короче говоря, она упала не в болото, не в вату, а легла на некие ожидания, в ней было проговорено то, о чем многие думали.

И вот еще что пришло мне в голову в связи со всем этим: оказывается, классический жанр публицистической статьи (именно такую — жанрово классическую статью я и написал) вовсе не умер, как казалось совсем еще недавно. Оказывается, этот род оружия еще не совсем устарел. Хотя, может быть, дело в другом — в том, что у нас вновь сложилась ситуация настоящей, отнюдь не бумажной, идейной борьбы, ситуация нового ценностного самоопределения, результаты которой и которого не останутся фактом личной биографии, а прямо повлияют на общую жизнь.

Александр Чудаков (1938–2005)

Лауреат 2000 года за роман «Ложится мгла на старые ступени» (№ 10, 11)

Основная проблема — быстрота смены вещного окружения человека, у которого все смелее отбирают вещи привычные и любимые, заменяя их новыми,

которые надо осваивать. Раньше вилкой или тарелкой пользовались четыре поколения, а одноразовый пластиковый прибор находится в руках двадцать минут, после чего отправляется на свалку. Уже придуманы трансформирующаяся мебель, дома-башни с ячеями, где квартиры-кубики свободно вынимаются: неделю назад был квартал нормальных домов, а сегодня вы видите мачты-скелеты: хозяева уехали, забрав свои «блоки личной архитектуры». Предполагается устроить предметный мир меняющимся во всех его элементах — как если б человек всю жизнь куда-то ехал, глядя в окно вагона.

Мир стал ярким. Уже и у нас появились пламенно-оранжевые куртки не только на дорожных рабочих, но и на лыжниках, и бьют в глаза среди белого безмолвия. В Лос-Анджелесе я видел в витрине алую ванну; когда ее наполнили водой, я про себя обозвал ее «Мечта Шарлотты Корде».

Человек в конце концов ориентируется в постоянно перемещающихся секциях универмага, научится что-то улавливать в с бешеной скоростью меняющихся картинках клипов и угадывать время на часах, где стрелки движутся по циферблату, на котором всего две черточки или вообще ни одной. Человек может вынести все — даже двадцать лет одиночки или ГУЛАГа, или северную тюрьму-яму без крыши, как протопоп Аввакум. Но не лучше ли затратить эти огромные психические ресурсы на более духовные проблемы, чем на губительное для психики приспособление к самим же человеком изменяемому миру?

Какова была жизнь в нашей стране 50–60 лет назад, объяснять не надо. Предметный мир тоже был совершенно другим — я попробовал среди прочего показать это в своем сочинении, поняв постепенно, что пишу на самом деле исторический роман. Но этот скучный вещный мир не был враждебен человеку, не бил по его сетчатке, слуху, не насиловал память, оказываясь его союзником в борьбе с Системой, освобождая душевные силы для этой борьбы.

Запретить оранжевые куртки? Это уже — не у нас — было: все носили одинаковые, синие, с одним и тем же значком. Общество должно осознать тревожность ситуации само — и все в целом, и каждый человек в отдельности.

Инна Лиснянская (1928–2014)

Лауреат 2000 года за цикл стихотворений «Скворечник» (№ 6) и 2006 года за монороман «Хвастунья» (№№ 1, 2)

Люблю свои устные рассказы рассказывать, ибо ничего умного сказать не могу. Вот и начала я в конце 1999 года записывать устные рассказы, вставлять их, как и рассказывала, в беседы со своими близкими друзьями и знакомыми. А то и вовсе вспоминать о них и о разных жизненных ситуэишенах. И пошло-поехало. А пойти-поехать спровоцировал компьютер, подаренный мне к семидесятилетию Семеном Израилевичем. Сидишь перед экраном, а из него на тебя жизнь так и прет. И видишь ты себя и других ну прямо как в кино. И это писательство так тебя на воздуси возносит, что с утра до ночи строчишь. Еще бы не возноситься! Это — не стихи: напишешь — и все. Как будто из воздушного шара весь воздух вышел — и никакого тебе полета, никакого тебе продолжения... Разве что час-другой померещится, что написано неплохо, а там уже видишь, что не то, и вовсе скукоживаешься, охлаждаешься. Проза — дело иное. Вечером вылезаешь из-за компьютера со счастливым чувством, что завтра продолжится это самозабвенное блаженство. Но не очень-то — самозабвенное. Потому что с детства знаешь свою рассеянность и пишешь лишь то, что запомнено наизусть. Ведь не дай бог перепутать людей, если ты о существующих или о существовавших повествуешь.

Феликс Светов (1927–2002)

Лауреат 2001 года за роман «Мое открытие музея» (№ 4) и повесть «Чижик-пыжик» (№ 11)

Я пришел в редакцию нового «Знамени» после двадцатилетнего перерыва в общении с прессой, живущей, так сказать, «в законе». Начиная с 70-х по 90-й год я вообще ни в какой редакции двери не открывал. Да, я увидел другой журнал, других людей и вполне осязаемо ощутил то, что в то время красиво называли «воздухом перемен».

Вот и дедушка пришел, написал Хармс, очень старенький пришел, в туфлях дедушка пришел. Он зевнул и говорит: «Выпить, разве», — говорит... в моем случае не важно, в чем и зачем дедушка пришел в редакцию, а важно то, что он принес нечто, в чем сам до конца не разобрался. А в редакции это «нечто» разглядели, отнеслись к старому литератору с сочувствием и для начала предложили стакан. Не столь существенно, был ли это стакан чая из Хармсова «Самовара» или в нем оказался другой напиток. Но дедушка выпил и загулял — носит и носит в редакцию свои сочинения... вот за этот «стакан» вам особенная благодарность.

И последнее, о чем мне хотелось бы сказать. Н.Б. Иванова в посвященном мне сочинении, размышляя над жанром моей незатейливой прозы, назвала ее «мениппеей». Иванова критик весьма просвещенный, а я учился на медные деньги. Но так случилось, что в ранней своей молодости я был связан с классическим отделением университетского филфака узлами никак не научными, а совсем другими, но очень прочными. И по необходимости, чтобы быть на некоем уровне, читал все, что можно было из этой классики-античности в то время достать. Поэтому имя Мениппа оказалось для меня не совсем фантастическим. Я помнил, что жил он в III веке до н.э., и мениппея слыла жанром, вмещающим серьезное и комическое, драматическое и веселое, реальное и, говоря сегодняшним языком, виртуальное. Представляете? Пять тысячелетий назад жил такой чудак, не знавший ни Боккаччо и Данта, ни Сервантеса и Шекспира, ни Гоголя с Достоевским, ни Платонова с Булгаковым. И тем не менее, несмотря на свою «темноту»... Поразительная история. Но поскольку от Мениппа ничего, кроме имени и названия открытого им жанра, не осталось, а что сохранилось — спрятано у одной Наташи Ивановой, а она эти фрагменты никому ни за что не покажет, — то я совершенно спокойно, не боясь разоблачения, могу считать себя Мениппом наших лесов, возродившим в нашей сельской местности эту самую мениппею. Очень лестно.

Асар Эппель (1935–2012)

Лауреат 2001 года за рассказ «Дробленный сатана» (№ 10)

Один из рассказов моей новой книги (в которой премированный «Дробленный сатана» тоже) начинается словами: «Сейчас я убью воспоминание!».

Киллерская по отношению к собственному подсознанию писательская деятельность подмечена моими коллегами давно. Ничего нового я не открываю.

Но как оно выглядит на самом деле?

Авторское напряжение, усилие, жадность, безоглядность, недоверие к образу, ритму, знакам препинания, к достоверному воплощению в слова и буквы того, что в подробностях удержано памятью, и того, что оставило всего лишь легкую тень или вибрирующий эфир, необходимо посредством слов — этих негромких постояльцев словаря, а также с помощью ритмов и пауз зафиксировать, задокументировать, застенографировать «тиронскими значками» и оставить жить на бумаге. В высоком смысле — начертать вдохновенной (ну уж?) десницей (то есть правой рукой).

Чтобы таковое получилось, приходится выкликать всех демонов уловляемого тобой былого, а если их явится недостаточно, то и вовсе посторонних — в виде не присутствовавших при событии персонажей, предметов, состояний природы и т. п. То есть воспользоваться чем угодно, чего вообще не было, для того, чтобы показать сперва себе самому (а потом читателю), как оно все-таки было.

В результате на бумаге появляется то, что происходило или не так, или не совсем так, — писательский текст. Подлинное же воспоминание погублено, и в памяти его уже не восстановить. Былое в тебе наличествует теперь в других одеждах, помещено в другие обстоятельства, доукомплектовано новыми частностями.

Ты сиротеешь, пустеешь и вспоминаешь вместо собственной жизни собственные вымыслы. Между прочим, они стали постояльцами книг.

Что ж! Если так, то радуйся хотя бы лестной и завидной премии, погубитель воспоминаний!

Борис Иванов (1928–2015)

Лауреат 2004 года за рассказ «Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец» (№ 6)

Лицеизменение исторических перемен, вероятно, всегда пробуждает в прозаиках дух их предшественников — летописцев. В 1962 году я написал «Похороны будут во вторник» — рассказ о расставании с верой в нравственную природу советского коллективизма, в 1968-м — повесть «Подонки» о крахе надежд общества на либерализацию. (Разумеется, нечего было и думать об их публикации. Повесть получила хождение в самиздате).

Конфликт с властью лишил меня привычной работы газетчика и перспективы как литератора, дебютировавшего первой книжкой. Но, оказывается, помимо того социального мира, к которому я относился, существовал еще и другой — мир отважных честолобов, независимый, устремленный в другое будущее. Молодые поэты, художники, интеллектуалы обживали места в городе, где можно было общаться. В их среде складывался иной образ жизни, не зависящий от начальственного надзора и производственного коллективизма. Ночной сторож, кочегар котельной, матрос грузовой шаланды — были лучшие из испробованных работ. Но были и другие: дворник, кровельщик, разносчик телеграмм...

Я не был ни профессиональным философом, ни социологом, ни историком, но с воодушевлением углублялся в их изучение для того, чтобы уяснить для себя особенности переживаемого времени и осознать его перспективы. Это был тот круг главных проблем и интересов, который свойствен интеллигенции вообще. Но ИСТОРИЯ была бы неотличима от стихийных явлений, если бы ее силы не обретали черт человеческого лица — пусть такого, как у художника Корзухина, главного героя рассказа «Ночь длинна и тиха...».

Или такого, как у полузабытого сейчас прозаика и эссеиста Риды Грачева, он один из прототипов моей повести «Подонки». Или — Революта Пименова, математика, историка, политика-диссидента (его некоторые черты вобрал главный герой рассказа «На отъезд любимого брата»). Добавлю имена наших великих идеологов-реформаторов — Александра Солженицына и Андрея Сахарова...

Вокруг каждого из них возникало интегрирующее волевое поле, в то время как в целом по стране шел процесс полураспада, открывавшего наблюдателю тысячи проявлений абсурда, низости, трусости, клоунады...

Символом исторической неотвратимости независимого культурного движения стала знаменитая «бульдозерная выставка». В столкновении со стальными насекомыми победили художники. Поразительно, что в обстоятельствах

жизни, сходных с судьбой Олега Корзухина, движение развило широчайший спектр различных художественных направлений — от иконографии до авангарда. Неосимволизм, сюрреализм, метареализм, соцарт, концептуализм, неоэкспрессионизм, постмодернизм... — по существу, все ведущие направления западного искусства были экзистенциально и технически освоены в самобытных реализациях независимых художников, писателей, музыкантов. Спасение джаза, рождение и развитие рока, эксперименты альтернативного театра — это также заслуга корзухиных...

И несколько предположений относительно будущего той традиции творческого поведения, которая нам известна по истории независимого культурного движения 50–80-х годов.

Время сорвало погоны. Что стоят звания, должности, древние заслуги, привилегии, которыми власть наделяла приближенных из своей дворни! «Молодая литература» в свое время прекрасно справилась с дегероизацией человека — человека принудительного долга и внушенного мужества. Новая литература полагала (и полагает), что у автора нет другого способа заявить о своей независимости, кроме как через фигуры иронии и отрицания.

Эпоха искренности, включившая в свои рамки и «молодую» литературу, и «новую», заканчивается; бунты молодежной литературы свидетельствуют: будущее у нас может быть. Предполагаю, наступает время литературы исторических характеров и, следовательно, литературы духовной борьбы. Пресловутая национальная идеология явится на свет, когда станут известны фавориты в этой борьбе.

Елена Шварц (1948–2010)

Лауреат 2006 года за цикл стихотворений «Китайская игрушка» (№ 6)

Надо бы награждать за артистизм соловьев и воробьев, других птичек, сомнамбулически приветствующих весну этой сумасшедшей зимой. Но их за это никто не награждает и бытие их не милует. Только изредка сердобольные люди бросают им остатки хлеба. В данном случае журнал «Знамя» подобен добросердечной гражданке, бросающей зернышко птичке.

Аполлон Григорьев, будучи совсем маленьким, заступался за любимых крепостных, когда отец собирался их покарать за какие-то провинности. И вот когда малыш Аполлон в очередной раз спешил на помощь кучеру или няньке, взглянув в зеркало, он поймал себя на том, что проверяет — «достаточно ли вид у меня расстроен». Это развило в нем, по его словам, «...раннюю способность к подозреванию собственной чувствительности». Но парадокс в том, что эта отстраненность нисколько не уменьшает глубины чувств. Вот это и есть артистизм — полная искренность, но при этом — отстраненный взгляд со стороны, сам актер и сам себе режиссер. Когда люди искреннее всего, они подозревают себя в неискренности, и преодоление этого подозрения тоже есть артистизм. Но оно неисцелимо.

Артистизм, может быть, самая глубинная черта русского космоса. Не будем говорить о художниках. Но мало кто из правителей мира сего, исключая, может быть, Калигулу, Нерона и Христину Шведскую, был так артистичен, как Иван Грозный, — прообраз русского интеллигента. Неврастеник, мучающий других, а больше себя, отказывающийся притворно или искренне от желаемого.

Известный мудрец спросил бы — а не подозрителен ли в таком случае артистизм? Не связан ли всегда с жестокостью, порочностью и привлечением острых невзгод жизни? А вступивший с ним в спор возразил бы, что эти три свойства просто вообще неразлучны с человеком.

Юрий Карякин (1930–2011)

Лауреат 2007 года за главы из книги «Перемена убеждений» (№ 11)

Когда в 1992 году я побывал у Солженицына в Вермонте, записал такие его слова: «Беда той стране, в которой слово ДЕМОКРАТИЯ стало ругательным. Но и погибла та страна, в которой ругательным стало слово ПАТРИОТИЗМ». Вот его и мое кредо. Назначение литературы, культуры вообще — в единении этих принципов.

Сегодня кто только не произносит хулы ушедшим девяностым годам. Да, тогда начинался наш «дикий рынок». Но это был еще и дикий рынок идей, полемики. Тех, кто выступал за ДЕМОКРАТИЮ, обвиняли (а сегодня уже обвиняют особенно злобно) — в «западничестве», в предательстве интересов России. А идеи ПАТРИОТИЗМА были узурпированы коммунистами и националистами всех мастей. В их речах и писаниях слова «патриот», «патриотизм», «патриотический» встречались так часто, что просто налезали друг на друга. А вот в словнике Пушкина (я тогда специально посмотрел) — слова эти встречаются крайне редко, вроде Пушкин наш был вовсе и не патриотом... И кто же у нас в России большой патриот — тот, кто создал русский язык, или тот, кто, используя его (причем не очень грамотно), орудует словом «патриотизм» как инструментом в очередной личной сваре?

После семидесятилетнего коммунистического долгостроя Россия лежала как человек, потерпевший поражение. А, казалось, не было страны, более предупрежденной, чем Россия, предупрежденной ее художественными гениями, — об угрозе бесовщины и грядущего хама.

Как выпутываться человеку, потерпевшему поражение, и всей стране?

Искать причины в себе. Выкарабкиваться, а не кричать всем остальным, что я, мы всех вас лучше и всем вам укажем дорогу к счастью.

Россия уже начала, начинает выкарабкиваться, хотя порой страшусь — ее глухоты к предупреждениям своих гениев и неспособности извлечь уроки из собственной судьбы. Страшусь размножения новых псевдопатриотических, национал-социалистических и коммунистических «вождей» и идеологий, которые, во-первых, снимают с людей личную ответственность («я» как «я» ничто, а в составе большого «МЫ» — оказываюсь могучей силой) и, во-вторых, допускают снятие *ответственности с народа*. Народ несет свою ответственность, хотя нам по старой прогрессистской традиции кажется: народ всегда прав. Народ должен нести ответственность. Личную! Ведь народ — это большая личность (по Достоевскому).

Кому легче устремиться вперед — человеку свободному или освобождающемуся? Свободный идет вперед и удивляется несвободе. Освобождающийся добывает свободу, одолевая свою несвободу, сбрасывая путы на новом пути. Так и с народом, и со страной.

Путь к освобождению человека в нынешней России не может произойти без патриотизма. Без свободных людей нет творчества, а без творчества нет и великой страны. И еще: патриотизм истинный противоположен национализму, потому что для патриота все родное («любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»), кровное и общечеловеческое, гуманистическое — соединены в нечто целое. А для националиста быть патриотом *своей* родины и одновременно патриотом Земли, планеты — вещи противоположные.

Истина и Родина — в одном пространстве. Без истины нет родины, без родины нет истины.

Наши лауреаты

1993

- Марина **АСТИНА** поэтическая подборка «В темном зеркале» (№ 9)
 Белла **АХМАДУЛИНА** стихотворение «Вид снизу вверх» (№ 10)
 Юрий **ДАВЫДОВ** повести «Зоровавель» (№ 3), «Заговор сионистов» (№ 12)
 Анатолий **КУРЧАТКИН** роман «Стражница» (№№ 5, 6)
 Лазарь **ЛАЗАРЕВ** воспоминания «Шестой этаж» (№ 6)
 Марк **ЛИПОВЕЦКИЙ** статья «Современность тому назад» (№ 10)
 Александр **ПАНАРИН** статья «Проект для России: фундаментальный либерализм или либеральный фундаментализм» (№ 9)
 Виктор **ПЕЛЕВИН** роман «Жизнь насекомых» (№ 4)
 Григорий **ПОМЕРАНЦ** «Записки гадкого утенка» (№№ 7, 8)
 Генрих **САПГИР** «Очень короткие рассказы» (№ 10) и элегии «Новый вес и объем» (№ 4)
 Евгений **СТАРИКОВ** статьи «Другие русские» (№ 2), «Базар — не рынок» (№ 6), «Антиподы» (№ 12)
 Мария **СТЕПАНОВА** поэтическая подборка «Вертоград» (№ 3)
 Александр **ХУРГИН** повесть «Страна Австралия» (№ 7)
 Михаил **ШИШКИН** рассказ «Урок каллиграфии» (№ 1) и роман «Всех ожидает одна ночь» (№№ 7, 8)

1994

- Соломон **АПТ** переводы произведений К. Ясперса (№ 1) и Г. Гессе (№ 5)
 Григорий **БАКЛАНОВ** премия за большой личный вклад в деятельность журнала «Знамя»
 Петр **ВАЙЛЬ** эссе «Великий город, окраина империи» (№ 10)
 Анатолий **ВИШНЕВСКИЙ** статья «Неизбежно ли возвращение?» (№ 1)
 Георгий **ВЛАДИМОВ** роман «Генерал и его армия» (№№ 4, 5)
 Владимир **ВОЙНОВИЧ** роман «Замысел» (№№ 10, 11)
 Эргали **ГЕР** рассказ «Казюкас» (№ 10)
 Лев **ГУДКОВ** статья «Идеология бесструктурности» (№ 11)
 Борис **ДУБИН** статья «Идеология бесструктурности» (№ 11)
 Денис **ДРАГУНСКИЙ** статья «По ту сторону государства и права» (№ 5)
 Тимур **КИБИРОВ** цикл стихотворений «Мы просто гибнем и живем» (№ 10)
 Анатолий **КОРОЛЕВ** роман «Эрон» (№№ 7, 8)
 Михаил **КУРАЕВ** праздничная повесть «Блок-ада» (№ 7)
 Сергей **ЛАРИН** перевод книги Р. Капуциньского «Империя» (№ 2)
 Олег **ЛУКЬЯНЧЕНКО** эссе «Островки в океане базара» (№ 10)
 Валерий **ПОПОВ** ноу-хау «Ванька-встанька» (№ 7)
 Екатерина **САДУР** повесть «Из тени в свет перелетая» (№ 8)
 Андрей **САЛОМАТОВ** повесть «Синдром Кандинского» (№ 4)
 Димитрий **ЭСАКИА** «В поисках утраченного пространства» (№ 1)
 Леонид **ЮЗЕФОВИЧ** рассказы «Бабочка. 1989» (№ 5) и «Колокольчик. 1990» (№ 11)

1995

- Чабуа **АМИРЭДЖИБИ** роман «Гора Мборгали» (№№ 7, 8)
 Юрий **БУЙДА** рассказ «Лета» (№ 12)
 Николай **БУНИН** перевод рассказа Г. Бёлля «Годен, чтобы умереть» (№ 5)
 Юрий **ВОЛКОВ** повесть «Вирсавия» (№ 5)
 Николай **ВОРОНЦОВ** эссе «Россия строится» (№ 1) и статья «Войны, революции, застой – эволюционные последствия» (№ 7)
 Сергей **ГАНДЛЕВСКИЙ** повесть «Трепанация черепа» (№ 1)
 Эмма **ГЕРШТЕЙН** «Анна Ахматова и Лев Гумилев: размышления свидетеля» (№ 9)
 Маша **ГЕССЕН** эссе «Поколение «Х»» (№ 10)
 Андрей **ДМИТРИЕВ** повесть «Поворот реки» (№ 8)
 Олег **ЕРМАКОВ** «Последний рассказ о войне» (№ 8)
 Андрей **ИЛЛАРИОНОВ** статья «Уроки российских реформ» (№ 3)
В. КАРДИН статья «Страсти и пристрастия» (№ 9)
 Светлана **КЕКОВА** цикл стихотворений «Деревьям, детям, иноверцам» (№ 3)
 Новелла **МАТВЕЕВА** цикл стихотворений «Реченька» (№ 1)
 Владимир **НОВИКОВ** статья «Заскок» (№ 10)
 Карен **СТЕПАНЯН** эссе «Армения: конец XX века, весна 1995-го. Пост» (№ 7)
 Лев **ТИМОФЕЕВ** статья «Апология коррупции» (№ 5)

1996

- Дмитрий **БАКИН** рассказ «Стражник лжи» (№ 1)
 Юрий **БУЙДА** роман «Ермо» (№ 8)
 Петр **ВАЙЛЬ** организация рубрики «Иосиф Бродский: труды и дни»
 Марина **ВИШНЕВЕЦКАЯ** рассказ «Увидеть дерево» (№ 9)
 Андрей **ВОЛОС** повесть «Жестяная дудка» (№ 7)
 Алена **ЗЛОБИНА** статья «Оранжерея нарциссов» (№ 10)
 Лев **ЛОСЕВ** организация рубрики «Иосиф Бродский: труды и дни»
 Виктор **ПЕЛЕВИН** роман «Чапаев и Пустота» (№№ 4, 5)
 Людмила **ПЕТРУШЕВСКАЯ** цикл рассказов «Дом девушек» (№ 11)
 Вячеслав **ПЬЕЦУХ** повесть «Государственное дитя» (№ 7)
 Евгений **РЕЙН** цикл стихотворений «Гул» (№ 3)
 Геннадий **РУСАКОВ** цикл стихотворений «Разговоры с богом» (№№ 2, 9)
 Дмитрий **ТРЕНИН** статья «Российская оборонная политика и ближнее зарубежье» (№ 9)
 Григорий **ЧХАРТИШВИЛИ** эссе «Образ японца в русской литературе» (№ 9)

1997

- Татьяна **БЕК** цикл стихотворений «В произвольном порядке» (№ 9)
 Анастасия **ГОСТЕВА** по-весть «Дочь самурая» (№ 9)
 Фазиль **ИСКАНДЕР** диалог «Думающий о России и американец» (№ 9)
 Евгений **ПАСТЕРНАК** переписка Бориса Пастернака с Элен Пельтье-Замойской (№ 1)
 Елена **ПАСТЕРНАК** переписка Бориса Пастернака с Элен Пельтье-Замойской (№ 1)
 Нина **САДУР** роман «Немец» (№ 6)
 Михаил **СИНЕЛЬНИКОВ** стихотворение «Ваганьковское армянское кладбище» (№ 8)
 Семен **ФАЙБИСОВИЧ** повесть «Дядя Адик / Uncle Dick» (№ 2) и эссе «Москва как поле боя истории и мифа» (№ 8)
 Николай **ШМЕЛЕВ** «Curriculum vitae» (№ 8)
 Александр **ЭТКИНД** статья «The American Connection, или Что делал Рахметов, пока не стал Шатовым» (№ 1)

1998

- Шамшад **АБДУЛЛАЕВ** цикл стихотворений «Запах южных рек» (№ 2) и эссе «Поэзия и Фергана» (№ 1)
- Ольга **АРЕФЬЕВА** цикл стихотворений «Где собачонька моя?» (№ 8)
- Владимир **БЕРЕЗИН** роман «Свидетель» (№ 7)
- Юрий **ДАВИДОВ** роман «Бестселлер», первая книга (№№ 11, 12)
- Андрей **ЗУБОВ** статья «Единство и разделения современного русского общества: вера, экзистенциальные ценности и политические цели» (№ 11)
- Владимир **МАКАНИН** роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» (№№ 1–4)
- Игорь **МИЛОСЛАВСКИЙ** статья «Низкие истины об унижающем обмане» (№ 8)
- Евгений **ПОПОВ** роман-комментарий «Подлинная история «Зеленых музыкантов» (№ 6)
- Владимир **ШАРОВ** роман «Старая девочка» (№№ 8, 9)
- Сергей **ЮРСКИЙ** рассказ «СЕЮКИ» (№ 11)

1999

- Александр **АГЕЕВ** статья «Город на “третьем пути”» (№ 9)
- Юрий **АРАБОВ** цикл стихотворений «Цезариада» (№ 9)
- Александра **ВАСИЛЬЕВА** повесть «Моя Марусечка» (№ 4)
- Андрей **ДМИТРИЕВ** роман «Закрытая книга» (№ 4)
- Сергей **ИЛЬИН** эссе «Моя жизнь с Набоковым» (№ 4)
- Александр **КАБАКОВ** рассказ «Зал прилета» (№ 5)
- Александр **КАСЫМОВ** рецензии в разделе «Наблюдатель» (№№ 4, 5, 10, 11)
- Михаил **ШИШКИН** роман «Взятие Измаила» (№№ 10–12)

2000

- Юрий **БУРТИН** публикация «Рабочих тетрадей» А.Т. Твардовского (посмертно) (№№ 6, 7, 9, 11, 12)
- Инна **ЛИСНЯНСКАЯ** цикл стихотворений «Скворечник» (№ 6)
- Владимир **МАКАНИН** повесть «Удавшийся рассказ о любви» (№ 5)
- Николай **РАБОТНОВ** очерк «Сороковка» (№ 7)
- Дмитрий **РАГОЗИН** повесть «Поле боя» (№ 9)
- Джон **РОБЕРТС** «Сцены театральной жизни» (№ 12)
- Валентина **ТВАРДОВСКАЯ** публикация «Рабочих тетрадей» А.Т. Твардовского 60-х годов (№№ 6, 7, 9, 11, 12)
- Ольга **ТВАРДОВСКАЯ** публикация «Рабочих тетрадей» А.Т. Твардовского 60-х годов (№№ 6, 7, 9, 11, 12)
- Андрей **ТУРКОВ** «Я не ранен. Я — убит» (№ 1)
- Александр **ЧУДАКОВ** роман «Ложится мгла на старые ступени» (№№ 10, 11)

2001

- Михаил **АЙЗЕНБЕРГ** цикл стихотворений «Тайные рычаги» (№ 5) и повествование «Ваня, Витя, Владимир Владимирович» (№ 8)
- Леонид **ЗОРИН** романы «Трезвенник» (№ 2), «Кнут» (№ 9)
- Наталья **ИВАНОВА** цикл статей «Борис Пастернак и другие» (№№ 9, 10, 11)
- Владимир **РЕЦЕПТЕР** гастрольный роман «Ностальгия по Японии» (№№ 3, 4)
- Феликс **СВЕТОВ** роман «Мое открытие музея» (№ 4) и повесть «Чижик-пыжик» (№ 11)
- Роман **СЕНЧИН** повесть «Минус» (№ 8)
- Светлана **ХАЗАГЕРОВА** статья «У них там были забавные представления о писательстве...» (№ 9)
- Асар **ЭППЕЛЬ** рассказ «Дробленный сатана» (№ 10)

2002

- Марина **ВИШНЕВЕЦКАЯ** повести «О.Ф.Н. Опыт истолкования» (№ 5) и «А.К.С. Опыт любви» (№ 11)
 Сергей **ГАНДЛЕВСКИЙ** роман <НРЗБ> (№ 1)
 Нина **ГОРЛАНОВА** роман-монолог «Нельзя. Можно. Нельзя» (№ 6)
 Евгения **КАЦЕВА** воспоминания «Мой личный военный трофей» (№№ 1, 3)
 Илья **КОЧЕРГИН** повесть «Помощник китайца» (№ 11)
 Олег **ЧУХОНЦЕВ** стихотворение «— Кыё! Кыё! По колена стоя в воде...» (№ 5)
 Владимир **ШАРОВ** роман «Воскрешение Лазаря» (№№ 8, 9)
 Николай **РАБОТНОВ** «Колдун Ерофей и переросток Савенко» (№ 1); «Гимн Языку» (№ 6);
 «Иосиф Виссарионович меняет профессию» (№ 8); «Демо*ра*ия
 и Демо*ра*ия» (№ 9) и цикл стихотворений «Концерт для глухих» (№ 11).
 Ольга **ВСЕСВЯТСКАЯ** специальная премия журнала за осуществление арт-проекта —
 Галерея «Знамя»

2003

- Андрей **ВОЗНЕСЕНСКИЙ** циклы стихотворений «Автореквием» (№ 2) и «Читая пророка
 Исаяю» (№ 5)
 Евгений **ДАНИЛЕНКО** роман «Дикополь» (№ 11)
 Марина **КУРСАНОВА** эссе «Птенцы летят следом...» (№ 6)
 Галина **МЕДВЕДЕВА** публикации из творческого наследия Давида Самойлова
 (Самойлова) (№№ 5–7, 10)
 Олеся **НИКОЛАЕВА** конспект романа «Мене, текел, фарес» (№ 5)
 Елена **ЧУКОВСКАЯ** публикации из творческого наследия Лидии Чуковской (№№ 1, 5–7)

2004

- Борис **ИВАНОВ** рассказ «Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец» (№ 6)
 Валерий **КАЛНЫНЫШ** специальная премия за разработку нового дизайна журнала «Знамя»
 Анатолий **КОРОЛЕВ** роман «Быть Босхом» (№ 2)
 Анатолий **КУРЧАТКИН** роман «Солнце сияло» (№№ 4, 5)
 Майя **КУЧЕРСКАЯ** «Чтение для впавших в уныние» (№ 1) и рассказ «Игра в снежки» (№ 11)
 Дмитрий **ОРЕШКИН** статья «Деньги, биг-маки, социальная справедливость» (№ 12)
 Михаил **ПОЗДНЯЕВ** цикл стихотворений «Фотоувеличение» (№ 5)
 Алексей **СЛАПОВСКИЙ** книга «Качество жизни» (№ 3)
 Ревекка **ФРУМКИНА** статья и эссе, опубликованные в течение года (№№ 7, 10, 11, 12)

2006

- Александр **АРХАНГЕЛЬСКИЙ** повествование «1962. Послание к Тимофею» (№ 7)
 Инна **ЛИСНЯНСКАЯ** монороман «Хвастунья» (№№ 1, 2)
 Дарья **МАРКОВА** статьи «Царство Азефа» (№ 3) и «Новый-преновый реализм,
 или Опять двадцать пять» (№ 6)
 Мариэтта **ЧУДАКОВА** статья «Был Август или только еще будет?» (№ 8)
 Елена **ШВАРЦ** цикл стихотворений «Китайская игрушка» (№ 6)

2007

- Сергей **ГАНДЛЕВСКИЙ** стихи (№№ 1, 5, 7)
 Андрей **ДМИТРИЕВ** роман «Бухта Радости» (№ 4)
 Юрий **КАРЯКИН** главы из книги «Перемена убеждений» (№ 11)
 Максим **ОСИПОВ** очерки «В родном краю» (№ 5) и «Грех жаловаться» (№ 12)
 Ольга **СЛАВНИКОВА** рассказ «Басилевс» (№ 1)
 Маргарита **ХЕМЛИН** повести «Про Бертю» (№ 1) и «Про Иосифа» (№ 10)
 Светлана
ШИШКОВА-ШИПУНОВА статьи «Югославская тетрадь» (№ 2), «Философия негативизма» (№ 4) и «Код Даниэля Штайна, или Добрый человек из Хайфы» (№ 9)

2008

- Всеволод **БЕНИГСЕН** роман «ГенАцид» (№ 7)
 Руслан **КИРЕЕВ** автобиографическая книга «Пятьдесят лет в раю» (2006, №№ 3, 10; 2007, №№ 5, 6; 2008, № 3)
 Анна **КУЗНЕЦОВА** статья «Три взгляда на русскую литературу из 2008 года» (№ 3) и ежемесячная рубрика «Ни дня без книги»
 Мария **РЫБАКОВА** роман «Острый нож для мягкого сердца» (№ 4)
 Елена **ФАНАЙЛОВА** поэтический цикл «Балтийский дневник» (№ 7) и перевод новых стихов Сергея Жадана (№ 9)
 Владимир **ШАРОВ** роман «Будьте как дети» (№№ 1, 2)

Редакцией учрежден орден «Знамени»

за постоянное и плодотворное сотрудничество с журналом.

- Леонид **ЗОРИН** кавалер ордена «Знамени»
 Владимир **МАКАНИН** кавалер ордена «Знамени»

2009

- Эргали **ГЕР** повесть «Кома» (№ 9)
 Андрей **ГРИШАЕВ** подборка стихотворений «Порядок вещей» (№ 9)
 Владимир **НАЙДИН** семейная сага «П-т-т, санагория, чать!» (№ 6)
 Олег **ПАВЛОВ** роман «Асистолия» (№№ 11–12)
 Владимир **ТУЧКОВ** цикл «Русский И Цзин» (№ 6)
 Людмила **УЛИЦКАЯ** «Диалоги» (№ 10)
 Михаил **ХОДОРКОВСКИЙ** «Диалоги» (№ 10)
 Александр **КАБАКОВ** кавалер ордена «Знамени»
 Андрей **ТУРКОВ** кавалер ордена «Знамени»

2010

- Максим **АМЕЛИН** циклы стихотворений «Простыми словами» (№ 7), «Проникновенный свет» (№ 12)
 Стефано **ГАРДЗОНИО** «Страницы из потерянной тетради в клетку» (№ 1)
 Тимур **КИБИРОВ** роман «Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой любви» (№ 6)
 Лев **ОБОРИН** статья «О Григории Бакланове» (№ 5)
 Герман **САДУЛАЕВ** роман «Шалинский рейд» (№№ 1, 2)
 Сергей **САМСОНОВ** повесть «Зараза» (№ 4)
 Ольга **СЛАВНИКОВА** роман «Легкая голова» (№№ 9, 10)
 Анатолий **КУРЧАТКИН** кавалер ордена «Знамени»
 Михаил **ШИШКИН** кавалер ордена «Знамени»

2011

- Ольга **БУГОСЛАВСКАЯ** статьи, эссе и рецензии (№№ 1, 3, 10, 11, 12)
 Юрий **БУЙДА** роман «Синяя кровь» (№ 3)
 Александр **ИЛИЧЕВСКИЙ** роман «Математик» (№№ 4, 5)
 Ирина **КАРЕНИНА** стихи «Мы ехали читинским, в прицепном» (№ 12)
 Борис **МЕССЕРЕР** книга «Промельк Беллы» (№№ 9–12)
 Ольга **СЕДАКОВА** «Opus incertum» (№ 7)
 Мария **СТЕПАНОВА** цикл стихотворений «Девушки поют» (№ 1)
 Ольга **ТРУНОВА** за помощь в подготовке и редактирование книги Бориса Мессерера «Промельк Беллы» (№№ 9–12)
 Ирина **ЯСИНА** «История болезни» (№ 5)

2012

- Евгений **БУНИМОВИЧ** «Девятый класс. Вторая школа» (№ 12)
 Наталья **ГРОМОВА** архивный роман «Ключ» (№ 11)
 Георгий **ДАВЫДОВ** роман «Крысолов» (№№ 1–2)
 Майя **КУЧЕРСКАЯ** роман «Тетя Мотя» (№№ 7–8)
 Марк **ЛИПОВЕЦКИЙ** статья «Политическая моторика Захара Прилепина» (№ 10)
 Алексей **МАКУШИНСКИЙ** роман «Город в долине» (№№ 5–6)
 Олег **ЧУХОНЦЕВ** стихи «Общее фото» (№ 10) и повествование «В сторону Слуцкого. Восемь подаренных книг» (№ 1)
 Максим **ЩЕРБАКОВ** цикл стихотворений «один из сервисной компании» (№ 3)
 Юрий **БУЙДА** кавалер ордена «Знамени»
 Сергей **ГАНДЛЕВСКИЙ** кавалер ордена «Знамени»

2013

- Максим **АМЕЛИН** эссе «В декабре на Капри» (№ 6)
 Игорь **ГОЛОМШТОК** «Воспоминания старого пессимиста» (№№ 2, 4, 2011);
 «Эмиграция» (№№ 6, 7, 2013)
 Денис **ДРАГУНСКИЙ** повесть «Архитектор и монах» (№ 1)
 Алексей **КОНАКОВ** статьи «Хорошо конспирированный кумир» (№ 2); «Чтение медленное и не очень» (№ 12)
 Олеся **НИКОЛАЕВА** цикл стихотворений «Читается нараспашку и на лету» (№ 7)
 Александр **ПОДРАБИНЕК** документальный роман «Диссиденты» (№№ 11, 12)
 Сергей **БОРОВИКОВ** кавалер ордена «Знамени»
 Владимир **ШАРОВ** кавалер ордена «Знамени»

2014

- Александр **КАБАКОВ** эссе «Частное слово» (№ 4)
 Григорий **КРУЖКОВ** стихи «Кружащийся дервиш» (№ 9)
 Екатерина **КЮНЕ** рассказ «Итальянская шерсть» (№ 9)
 Владимир **ОРЛОВ** «Чудаков. Анатомия. Физиология. Гигиена» (№№ 10, 11)
 Саша **ФИЛИПЕНКО** роман «Замыслы» (№ 12)
 Сергей **ЧУПРИНИН** «Вот жизнь моя» (№№ 11, 12)
 Олег **ЧУХОНЦЕВ** кавалер ордена «Знамени»
 Майя **КУЧЕРСКАЯ** кавалер ордена «Знамени»

Сергей ЧУПРИНИН

главный редактор
(495) 699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА

первый заместитель главного редактора
(495) 699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГорова

ответственный секретарь
(495) 699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН

отдел прозы
(495) 699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА

отдел поэзии
(495) 699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА

отдел библиографии
отдел публицистики
(495) 699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Карен СТЕПАНИН

отдел критики
(495) 699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА

отдел прозы
(495) 699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА

корректор

Евгения БИРЮКОВА

допечатная подготовка, производство,
распространение
(495) 699 80 67, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ

художник

Людмила БАЛОВА

исполнительный директор
(495) 699-48-98

Марина ГАСЬ

бухгалтер
(495) 699-48-98

Наталья РОГОЖИНА

компьютерный набор
(495) 699-48-71

Марина СОТНИКОВА

заведующая редакцией
info@znamlit.ru
(495) 699-52-83

**Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства по делам
печати и массовых коммуникаций**

Электронная версия журнала:

<http://magazines.russ.ru/znamia/>

адрес редакции:

123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив
редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.02.2015.
Подписано к печати 20.03.2015.
Формат 70х108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Заказ № 357-2015

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.38
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 941-31-62
www.redstarph.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru

**Журнал «Знамя» благодарит фонд
«Содействие», который выписал
и направляет часть тиража
в библиотеки экономического профиля**

**СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ»
И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО
ПРИБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ**

Метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46,
вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

*Присланные рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Редакция не имеет
возможности вступать в переговоры
и переписку по их поводу, а только извещает
авторов о своем решении.*

*Материалы, поступившие по e-mail, а также
рукописи объемом более 10 авторских листов
(400 000 знаков) не рассматриваются.*

Василий АКСЕНОВ. Из архива
Анна БЕРДИЧЕВСКАЯ. КРУК
Александр БОРИН. «Уходят, уходят,
уходят друзья...»
Валерий БОЧКОВ. Черви-козыри
Инна БУЛКИНА. Московская элегия
Эргали ГЕР. Теоретический тупик
Александр ГЛАДКОВ. Дневники 1970-х гг.
Леонид ЗОРИН. Ностальгическая
диалогия
Леонид КАРАСЕВ. Понять Чехова
Инга КАРЕТНИКОВА. Портреты
разного размера
Александр КИРОВ. Другие лошади
Роман КОЖУХАРОВ. Кана
Владимир КОЗЛОВ. Пассажир
Алексей КОНАКОВ. На полях домашнего
хозяйства
Геннадий КРАСУХИН. Воспоминания

Григорий КРУЖКОВ. Три заметки
о Мандельштаме
Анна МАТВЕЕВА. Красный директор
Борис ПИЛЬНЯК. Письма
Геннадий ПРАШКЕВИЧ. ЗК-5
Валерия ПУСТОВАЯ. Сердитый
памятник нерукотворный
Роман СЕНЧИН. Помощь
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место
Андрей СТОЛЯРОВ Ярче тысячи солнц
Ирина СУРАТ. Два воспоминания
на границах искусства
Григорий ФРЕЙДИН. Сидели два
нищих...
Марк ХАРИТОНОВ. Три эссе
Михаил ШЕВЕЛЕВ. Последовательность
событий
Евгений ШКЛОВСКИЙ. Альберт и Вики
Сергей ЭРЛИХ. Свидетельство о смерти

новая проза

Владимира БЕРЕЗИНА,
Юрия БУЙДЫ,
Алексея ВИНОКУРОВА,
Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ,
Дениса ДРАГУНСКОГО,
Алексея КОЗЛАЧКОВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Владимира МАКАНИНА,

Дмитрия НОВИКОВА,
Максима ОСИПОВА,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Михаила ТЯЖЕВА,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ

НОВЫЕ СТИХИ

Николая БАЙТОВА,
Изабеллы БОЧКАРЁВОЙ,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Дмитрия ГАРИЧЕВА,
Александра КАЛУЖСКОГО,
Ирины КАРЕНИНОЙ,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Тимура КИБИРОВА,
Ивана КИМА,
Евгении КОРОБКОВОЙ,
Бориса КОЧЕЙШВИЛИ,
Константина КРАВЦОВА,

Сергея КРУГЛОВА,
Александра КУШНЕРА,
Александра ЛЕВИНА,
Родиона МАРИНИЧЕВА,
Марии МАРКОВОЙ,
Ирины МАШИНСКОЙ,
Григория МЕДВЕДЕВА,
Сергея НИКОЛАЕВА,
Евгения РЕЙНА,
Серафимы САПРЫКИНОЙ,
Ксении ТОЛОКОННИКОВОЙ,
Олега ЧУХОНЦЕВА

адрес редакции:

123001, Москва

ул. Большая Садовая, 2/46

телефон/факс: 495 699 52 83

email: info@znamlit.ru